

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д Е В Я Т А Я

С Е Н Т Я Б Р Ь

М О С К В А
1 . 9 . 2 . 8

Москва. Главлит № 19 421.

25.000 экз.

Типография „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“, Страстная площ., Б. Путинковский пер., 5.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Э. БАГРИЦКИЙ. — Веселые нищие, поэма	5
2. Максим ГОРЬКИЙ. — Жизнь Клима Самгина, роман, окончание	12
3. Иосиф УТКИН. — Лучшему другу, из второй книги стихов	62
4. Михаил ГОЛОДНЫЙ. — Ответственная дама, стихотворение	63
5. Бор. ПИЛЬНЯК. — Немецкая история, рассказ	64
6. Анна КАРАВАЕВА. — Дымная межа, рассказ	76
7. Илья СЕЛЬВИНСКИЙ. — Лирическое отступление, из романа «Пушторг»	101
8. Мих. ДАНИЛОВ. — Негр Джим, стихотворение	103
9. Лев НИТОБУРГ. — Семья Замковых, главы из романа «Возмездие»	104
10. А. ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой, воспоминания	154

О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

11. П. С. КОГАН. — Л. Н. Толстой	185
12. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ. — Проблема войны и революции в произведениях Л. Н. Толстого	192

Из воспоминаний о Толстом

13. П. Е. ЩЕГОЛЕВ. — Встречи с Толстым	209
14. П. ПЕРЦОВ. — Поездка к Толстому	213
15. И. ТАЙГИН. — Японский империализм и Китай, окончание	221

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

16. А. СТАРЧАКОВ. — Неизданный Толстой	232
17. Е. РАММ. — Рекордная книга	237
18. Як. БЕННИ. — О романах Т. Дрейзера	240
19. Г. САНДОМИРСКИЙ. — Старик из Дронеро	242
20. Е. СТРЕШНЕВ. — Обмен любезностями	250

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стр

А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ. — К. С. Еремеев «Пламя»	253
П. АЛГАСОВ. — Д. Крутиков «Люди конные»	254
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — М. Комиссарова «Первопуток»	255
В. НЕВСКИЙ. — «Рабочее движение в 1917 году»	255
М. КЛЕВЕНСКИЙ. — Н. М. Федоровский (Степан) «Борьба за Свеаборг в 1906 г.»	256

Веселые нищие

(Р. Бёрнс)

Э. БАГРИЦКИЙ

Листва набегом ржавых звезд
Летит на землю, — норд-ост
Свистит и стонет меж стволами,
Траву задела седина,
Морозных полдней вышина
Встает над сизыми лесами...
Кто в эту пору изнемог
От грязи нищенских дорог,
Кому проклятья шлют деревни:
Он задремал у очага,
Где бычья варится нога,
В дорожной воровской харчевне;
Здесь Нэнси нищенский приют,
Где пиво за тряпье дают...
Здесь краж проверяется опыт
В горячем чаду ночников...
Харчевня трещит: это топот
Обрушенных в пол башмаков...
К огню очага придвигается ближе
Безрукий солдат, горбоносый и рыжий,
В клочки изодрался багровый мундир...
Своей одинокой рукою
Он гладит красотку, добытую с бою,
И что ему холодом пахнувший мир...
Красотка не очень красива,
Но хмелем по горло полна,
Как кружку прокисшего пива,
Свой рот подставляет она...
И, словно удары хлыста,
Смыкаются дружно уста...
Смыкаются и размыкаются громко,
Прыщавые лбы освещает очаг...
Меж тем, под столом отдыхает котомка,—
Знак Ордена Нищих,
Знак Братства Бродяг...
И кружку подняв над собою,
Как знамя, готовое к бою,
Солодом жарким об'ят,
Так запекает солдат:

— Ах! Я Марсом порожден, в перестрелках окрещен,
 Поцарапано лицо, шрам над верхнюю губую,
 Оцарапан — страсти знак, — этот шрам врубил тесак
 В час, как бил я в барабан перед французскою толпою.
 В первый раз услышал я заклинание ружья,
 Где упал наш генерал в тень Абрамского кургана,
 А когда военный рог пел о гибели Моро,
 Служба кончилась моя под раскаты барабана...
 Куртис вел меня с собой к батареям над водой,
 Где рука и где нога? Только смерч огня и пыли!
 Но безрукого вперед в бой уводит Эллиот,
 Я пошел, а впереди барабаны битву били...
 Пусть погибла жизнь моя, пусть костыль взамен ружья,
 Ветер гнезда свил свои, ветер дует по карманам,
 Но любовь верна всегда — путеводная звезда,
 Будто снова я спешу за веселым барабаном...
 Рви, метель, и, ветер, бей... Волос мой снегов белей.
 Разворачивайся, путь! Вой утроба океана!
 Я доволен — я хлебнул! Пусть выводит Вельзевул
 На меня полки чертей под раскаты барабана!

Охрип или слов не достало,
 И сызнова топот и гам,
 И крысы, покрытые салом,
 Скрываются по тайникам...
 И та, что сидела с солдатом,
 Над сборищем встала проклятым:
 — Encore, — восклицает скрипач...
 Косматый вздымается волос;
 Скажи мне: то женский ли голос,
 Шипение пива, иль плач:

— И я была девушкой юной,
 Сама не припомню когда;
 Я—дочь молодого драгуна,
 И этим родством я горда...
 Трубили горнисты беспечно,
 И лошади строились в ряд,
 И мне полюбился, конечно,
 С барсучьим султаном солдат...
 И первым любовным туманом
 Меня он покрыл, как плащом,
 Недаром он шел с барабаном
 Пред целым драгунским полком:
 Мундир полыхает пожаром,
 Усы палашами торчат...
 Недаром, недаром, недаром
 Тебя я любила, солдат...
 Но прежнего счастья не жалко,
 Не стоит о нем вспоминать,
 И мне барабанную палку

На рясу пришлось променять...
Я телом рискнула,— а душу
Священник пустил напрокат...
Ну что же! Я клятву нарушу,
Тебе изменю я, солдат!
Что может, что может быть хуже
Слюнявого рта старика!
Мой норв с военщиной дружен,—
Я стала женою полка!
Мне все равно: юный иль старый,
Командует, трубит ли в лад,
Играла бы струя пожаром,
Кивал бы султаном солдат...
Но миром кончаются войны,
И по миру я побрела...
Голодная, с дрожью запойной,
В харчевне под лавкой спала...
На рынке, у самой дороги,
Где нищие рядом сидят,
С тобой я столкнулась, безногий,
Безрукий и рыжий солдат...
Я вольных годов не считала,
Любовь раздавая свою;
За рюмкой, за кружкой удалой
Я прежние песни пою.
Пока еще глотка глотает,
Пока еще зубы скрипят,
Мой голос тебя прославляет,
С барсучьим султаном солдат!

И снова женщина встает,
Знакомы ей туман и лед,
В горах случайные дороги,
Косуля, тетерев и лис,
Игла сосны и дуба лист,
Разбойничий двупалый свист,
Непроходимые берлоги...
Ее приятель горцем был,
Он пиво пил, он в рог трубил,
Норд-ост трепал его отрепья,
Он чуял ветер неудач,
Но вот его пеньковой цепью
Почетно обвязал палач...
И нынче пьяная подруга
Над пивом вспоминает друга.

— Под елью Шотландии горец рожден...
Да здравствует клан! Да погибнет закон!
Он знает равнину и камень, и лог,
Мой Джон легконогий, мой горный стрелок...
В тартановом пледе, расшитом пестро,

На шалке болотного гуся перо,
 Рука на кинжале, и взведен курок,
 Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
 Мы шли по дороге от Твида до Спей,
 Под выдох волынки, под пляску ветвей,
 Мы пели вдвоем, мы не чуяли ног,
 Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!
 Его осудили — и выгнали вон,
 Но вереск цветет — появляется он;
 Рука на кинжале, и взведен курок,
 Мой Джон легконогий, мой горный стрелок...
 Погоня! Погоня! Исполнился день ---
 Захвачен Шотландии вольный олень.
 Палач. И веревка намылена в срок.
 Мой Джон легконогий, мой горный стрелок...
 Прощайте веселые реки мои,
 Волынка, попутчица нашей любви,

За ветер, за песни последний глоток!
 Мой Джон легконогий, мой горный стрелок!

Х О Р

Надо выпить за Джона!
 Надо выпить за Джона!
 Нет на земле шотландца
 Доблестней горца Джона!

Перед шотландскою красоткой
 Огромной, рыжей, как кумач,
 Стоит влюбившийся скрипач,
 Разбитый временем и водкой.
 Не достигая до плеча,
 Он ей бормочет сгоряча:
 — Я джентльмен, и должен я, мой друг, утешить тебя
 Ты можешь очень весело жить, лишь скрипача любя,

Я в жертву тебе принести готов и музыку, и себя,
 На остальное плевать!
 По свадьбам начнем мы ходить с тобой, — что может
 быть веселей,
 О, пляски на фермерском дворе среди золотых полей,
 Когда скрипач кричит жениху: — Жених! наливай
 полней!

На остальное плевать!
 И солнце покажется нам тогда, как донце кружки
 пивной,
 И ветер подушкой будет нам, покрывалом — июль-
 ский зной,
 Любовь и музыка по бокам, котомка — за спиной!
 На остальное плевать!

Довольно. И скрипку пунцовым платком
С веселою нежностью кутает гном;
Глаза подымает — и видит старик
Огромной возлюбленной пламенный лик...
Но к чорту ломаются стулья и стол,
Кузнец подымается, груб и тяжел,
Моргая глазами, сопя и ворча,
Он в зубы, по правилам, бьет скрипача.
Огромен кузнец. Огневой, кровяной,
Шибает в лицо ему выпивки зной;
Свои бакенбарды из шерсти овечьей
Кладет он шотландке на жирные плечи.
Любви музыканта приходит конец;
Как два монумента — она и кузнец.
Он щиплет ее, запевая спьяна,
И в лад его песне икает она.

— Из Лондона в Глазго стучат мои шаги,
Паяльник мой шипит и молоток стрекочет,
Распорот мой жилет и в дырках сапоги,
Но коль кузнец влюблен — он пляшет и хохочет...
В солдаты я иду, когда работы нет:
Бесплатная жратва и пиво даровое.
Но деньги получив, я заметаю след;
Паяльник мой в руках, жаровня за спиною...

Х О Р

— О, что тебе, скрипач, — он жертва неудач!
Сыграет иль споет — и песня позабыта...
Твой новый господин — железа властелин:
Он подкует любви веселые копыта!
Пускай горят сердца во славу кузнеца!
Назавтра снова путь, работа спозаранку...
Гремят среди лугов две пары каблуков:
Друг под руку ведет веселую шотландку.

Скрипач не зеваает. Долой кузнеца!
Жена хороша у бродяги-певца,
Подобно коту, подошедшему к пище,
Скрипач осторожно мурлычет и свищет,
Нечаянно ногу коленкой прижмет,
Нечаянно плечи рукой эбоймет,
Покуда певец неуклюже, без правил,
Его не побил и под стол не отправил.
Совсем неудачная ночь!

Как дрозд веселится бродяга-певец.
Дорогам и песням не скоро конец.
Он пышет румянцем, зубами блестит,
Деревьям смеется и птицам свистит.

Для брэнного ж тела он должен иметь
Литровую кружку и добрую снедь.
И в ночь запеваёт певец!

— Веселого певца
Не услышать вельможам,
Не даром я пою
В лесах, по бездорожьям...
Уродлив посох мой,
Кафтан мой в прахе сером,
Но пчел веселый рой,
Крутясь, летит за мной,
Как прежде за Гомером.

Увы! Кастальский ключ
Не вычерпать стаканом.
От греческой воды
Не быть вовеки пьяным.
В передвечерний час
Меня приносят ноги
К тебе в приют нестрогий,
Мой нищенский Парнас,
Открытый при дороге.

Дыхание любви
Нежней, чем ветер с юга.
Зови меня, зови,
Бездомная подруга.
Цветет ночная высь,
Травую пруд волнуем,
Чтоб мы, внимая струям,
Сошлись и разошлись
С веселым поцелуем.

Встречайте ж день за днем
Свободой и вином...

Над языками фитилей
Кружится сажа жирным пухом,
И нищие единым духом
Вопят: — Давай! Прими! Налей!
И черной жаждою полно
Их сердце. Едкое вино
Не утоляет их, а дразнит...
Ах, скоро ли настанет праздник,
И воздух горечью сухой
Их напоит? И с головой
Они нырнут в траву поляны,
З цветочный мир, в пчелиный гуд,
Где, на кирку склоняясь, Труд
Схоит в рубахе полотняной

И отирает лоб... Но вот
Столкнулись кружки, и фাগот
Заверещал. И черной жадной
Пылает и томится каждый.
И в исступленном свете свеч
Они тряпье срывают с плеч;
Густая сажа жирным пухом
Плывет над пьяною толпой...
И нищие единым духом
Орут. — Еще, приятель, пой!
И в крик, и в запах дрожжевой
Певец бросает голос свой:

--- Плещет жижей пивною
В щеки выпивки зной!
Начинайте за мною,
Запевайте за мной!
Королевским законам
Нам голов не свернуть.
По равнинам зеленым
Залегает наш путь...
Мы проходим в безлюдьи
С крепкой палкой в руках
Мимо чопорных судей
В завитых париках;
Мимо пасторов чинных,
Наводящих тоску!
Мимо... Мимо...
В равнинах
Воронье начеку.
Мы довольны! Вельможе
Не придется заснуть,
Если в ночь, в бездорожье
Залегает наш путь.
И ханже не придется
Похвалиться собой,
Если ночь раздается
Перед нашей клюкой...
Встанет полдень суровый
Над раздольями тьмы,
Горечь пива иного
Уж попробуем мы!..
Братья! Звезды погасли,
Что им в небе торчат?
Надо в теплые ясли
Завалиться — и спать.
Но и пьяным, и сонным
Затверди, не забудь:
--- Королевским законам
Нам голов не свернуть!

Жизнь Клима Самгина

Вторая часть трилогии „Сорок лет“

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Окончание ¹⁾)

Прошло несколько минут, две или двадцать, трудно было различить. За дверью слышался шорох, звякнула чайная ложка о стекло.

— Да неси! — прошептал кто-то, дверь отворилась, и Самгин почувствовал, что у кровати стоит Варвара.

— Вы спите?

— Нет, не сплю, но мне совестно, — сказал он, открыв глаза.

Он не думал сказать это и удивился, что слова сказались мальчишески виновато, тогда как следовало бы вести себя развязно, ведь ничего особенного не случилось, и не по своей воле попал он в эту комнату.

Но Варвара, должно быть, не расслышав его слов, ласково и весело говорила:

— Какой вы смешной пьяненький! Такой трогательный. Ничего, что я вас привезла к себе? Мне неудобно было ехать к вам с вами в четыре часа утра. Вы спали почти 12 часов, Вы не вставайте! Я сейчас принесу вам кофе...

Самгин сел, помотал головой, надел очки, но тотчас же снял их.

— Сейчас все это и произойдет, — подумал он, не совсем уверенно, а как бы спрашивая себя. Анфимьевна отворила дверь. Варвара внесла поднос, шла она закусив губу, глядя на синий огонь спиртовки под кофейником. Когда она подавала чашку, Клим заметил, что рука ее дрожит, а грудь дышит неровно.

Лицо бледное, с густыми тенями вокруг глаз. Она смотрит, беспокойно мигая, и, взглянув в лицо его, тотчас отводит глаза в сторону.

— А Любаша еще не пришла, — рассказывала она. — Там, ведь, после того, как вы себя почувствовали плохо, ад крошечный был. Этот баритон — о, какой удивительный голос! — он оказался веселым человеком, и втроем с Гогиным, с Алиной они бог знает что делали!

¹⁾ См. «Новый Мир», кн. 5, 6, 7 и 8 с. г.

Еще?—спросила она, когда Клим, выпив, протянул ей чашку,—но чашка соскользнула с блюдца и, упав на пол, раскололась на мелкие куски.

— Ой, — тихонько вскричала Варвара, а Самгин, улыбаясь, сказал:

— Хорошая примета.

Он сбросил с себя одеяло, спустил ноги с постели и, прежде чем девушка успела отшатнуться, крепко обнял ее.

— Не надо... Не смейте, — шептала она, вырываясь. — Ведь вы не любите...

И вдруг, обняв его за шею, она почти крикнула:

— Пожалей, о, пожалей меня, пощади!

Клим честно молчал, опрокидывая ее.

Через месяц Клим Самгин мог думать, что театральные слова эти были заключительными словами роли, которая надоела Варваре и от которой она отказалась, чтоб играть новую роль—чуткой подруги, образцовой жены. Не впервые наблюдал он, как неузнаваемо меняются люди, эту ловкую их игру он считал нечестной, и Варвара, утверждая его недоверие к людям, усиливала презрение к ним. Себя он видел неспособным притворяться и фальшивить, но не мог не испытывать зависти к уменью людей казаться такими, как они хотят.

Варвара прежде всего удивила его тем, что она оказалась девушкой, чего он не ожидал, да и не хотел. А все-таки это значило, что она берегла себя для него, и это было приятно ему. Затем он очень обрадовался, когда Варвара сказала, что она не хочет ребенка и вообще ничем не хочет стеснять его; она сказала это очень просто и решительно. Она показывала себя совершенно довольной тем, что стала женщиной, она, видимо, даже гордилась новой ролью,—это можно было заключить по тому, как покровительственно и снисходительно начала она относиться к Любаше и Татьяне. Несколько подозрительна была быстрота, с которой она отказалась от наигранных жестов, театральных поз и привычки к патетическим возгласам. Она даже ходить стала более плавно, свободно, и каблук ее уже не стучали так вызывающе, как раньше. Всего более удивляло Климса чувство меры, которое она обнаруживала в отношении к нему; она даже в ласках не теряла это чувство, хотя и не была скупа на ласки. Тело у нее было красивое, ловкое, но Клим находил, что кожа ног ее груба, шершава и ждал удобного случая сказать ей это. Наслаждалась она молча и лишь однажды, лежа на коленях Самгина, прошептала, закрыв глаза:

— Я, конечно, попытаюсь вообразить, как это чувствуется. Но тут действительность выше воображаемого.

— Небогато у тебя воображение, — подумал Клим.

Подсчитав все маленькие достоинства Варвары, он не внес в свое отношение к ней ничего нового, но чувство недоверия заставило его присматриваться к ней более внимательно, и скоро он убедился, что это испытующее внимание она оценивает, как любовь. Авторитетным тоном, небрежно, как раньше, он говорил ей маленькие дерзости, бес-

перемонно высмеивая ее вкусы, симпатии, мнения; он даже пробовал ласкать ее в моменты, когда она не хотела этого или когда это было физиологически неудобно ей. Но и в этих случаях Варвара покорно подчинялась его выдумкам, нередко унижительным для нее, а он, испытывая после этого пренебрежение к ней, думал:

— Вот как надобно жить с ними.

Изредка он замечал, что в зеленоватых глазах ее светится печаль и недоумевающее ожидание. Он догадывался: это она ждет слова, которое еще не сказано им, но он, по совести, не мог сказать это слово и счел нужным предупредить ее:

— Я не играю словом — любовь.

В общем все шло неплохо, даже интересно, и уже раза два-три являлся любопытный вопрос: где предел покорности Варвары?

— Вероятно, скоро спросит, обвенчаюсь ли я с нею. Интересно, что подумает Лидия об этом?

Вспоминать о Лидии он запрещал себе, воспоминания о ней раздражали его. Как-то, в ласковый час, он почувствовал желание подробно рассказать Варваре свой роман; он испугался, поняв, что этот рассказ может унижить его в ее глазах, затем рассердился на себя и заодно на Варвару.

— А ты совершенно забыла о Маракуеве, — сказал он ей, усмехаясь.

К его изумлению глаза Варвары вдруг наполнились слезами, и она почему-то шопотом спросила:

— Ты упрекаешь, ты? Но, ведь, из-за тебя же...

Она бросилась на грудь ему, обняла и возмущенно говорила:

— Зачем ты сказал? Не будь жестоким, родной мой!

Самгин посадил ее на колени себе, тихонько посмеиваясь. Он был уверен, что Варвара немножко играет, ведь, ничего обидного он ей не сказал, и нет причин для этих слез, вздохов, для пылких ласк.

«Она ласкается об меня», — подумал он и с тех минут так и определял ее ласки.

— Хорошо, приятно глядеть на вас, — говорила Анфимьевна, туго улыбаясь, сложив руки на животе. — Нехорошо только, что на разных квартирах живете: и дорого это, да и не закон, будто! Переехали бы вы, Клим Иванович, в Любашину комнату.

Варвара молчала, но по глазам ее Самгин видел, что она была бы счастлива, если б он сделал это. И, заставив ее раза два повторить предложение Анфимьевны, Клим поселился в комнате Лидии и Любашаши, оклеенной для него новыми обоями, уютно обставленной старинной мебелью дяди Хрисанфа.

Любашу все-таки выслали из Москвы. Уезжая, она возложила часть своей работы по «Красному Кресту» на Варвару. Самгину это не очень понравилось, но он не возразил, он хотел знать все, что делается в Москве. Затем Любаша нашла нужным познакомиться Варвару с Марьей Ивановной Никоновой, предупредив Клима:

— Это очень милый, скромный человек.

Против этого знакомства Климу ничего не имел, хотя был убежден, что скромный человек, наверное, живет по чужому паспорту. Она оказалась старой знакомой Лютова. Самгин увидел Никонову человеком типа Тани Куликовой, одним из тех людей, которые механически делают какое-нибудь маленькое дело, делают, потому что бездарны, слабовольны и не могут свернуть с тропинки, куда их толкнули сильные люди или неудачно сложившиеся обстоятельства. То, что рассказала о Никоновой Любаша, утвердило оценку Самгина: Никонова—действительно Никонова, дочь крупного помещика, от семьи откололась еще в юности, несколько месяцев сидела в тюрьме, а теперь, уже более трех лет, служит конторщицей в издательстве дешевых книг для народа. Самгин решил, что это так и есть: именно вот такие люди, с незаметными лицами, скромненькие и должны работать в издательстве для народа.

В темном, гладком платье она казалась вдовою, недавно потерявшей мужа и еще подавленной горем. Черты ее лица правильны, и оно было бы, пожалуй, миловидно, не будь таким натянутым и неподвижным. Она—ниже среднего роста, но когда сидит, то кажется выше. Покатые плечи, невысокая грудь, красиво очерченные бедра, стройные ноги в черных чулках и очень узкие ступни. Ее насильственные улыбки, краткие ответы не возбуждали желания беседовать с нею. И затем было в ней что-то напомнившее Самгину Мишу Зуева, скорбного человека, который, бывало, посещал субботы дяди Хрисанфа и рассказывал об арестах. Но все-таки было в ней что-то раздражавшее любопытство Клима.

— Расскажи, что такое она?—попросил он Сомову.

— Хороший человек.

— А подробнее?

— Очень хороший человек.

— Тебе нечего сказать?

Сомова, уезжая, была сердито настроена, она заклохгала, как раздраженная курица:

— Надоели мне твои расспросы! Ты расспрашиваешь всегда, точно репортер для некрологов.

Варвара осторожно посмеялась и осторожно заметила:

— По-моему, это—человек несчастный по ремеслу.

Вопросительный взгляд Самгина заставил ее объяснить:

— Мне кажется, есть люди, для которых... которые почувствовали себя чем-то только тогда, когда испытали несчастье, и с той поры держатся за него, как за свое отличие от других.

— Не плохо сказано,—одобрил Самгин и благосклонно улыбнулся; он уже находил, что Варвара, сойдясь с ним, быстро умнеет. Вот она перестала собирать портреты знаменитостей.

— Что это? Надоели герои?—спросил он.

— Их стало так много,—сказала Варвара.—Это—странно, мальчишки отрицают героизм, а сами усиленно геройствуют. Их—бьют, а они восхваляют «Нагаечку».

— Да, она умнеет,—еще раз подумал Самгин и приласкал ее. Сознание своего превосходства над людьми иногда возвышалось у Клима до желания быть великодушным с ними. В такие минуты он стал говорить с Никоновой ласково, даже пытался вызвать ее на откровенность; хотя это желание разбудила в нем Варвара,—она стала относиться к новой знакомой очень приветливо, но как бы испытующе. На вопрос Клима—почему?—она ответила:

— Интересно! Есть в ней что-то темненькое, бережно хранимое только для себя. Искорки в глазах есть.

Да, искорки были, Самгин обнаружил их, заговорив с Никоновой о своих встречах с нею.

— А, ведь, мы давно знакомы,—сказал он.

Никонова взглянула на него молча и вопросительно; белки глаз ее были сероватые, как будто чуть-чуть припудрены пеплом, и это несколько обесцвечивало голубой блеск зрачков.

— Не помните?

Он перечислил: первая встреча—на дачах, куда она приезжала сообщить Лютову об арестах «народоправцев».

— Ах, да,—сказала она, кивнув головою,—я тогда была еще совсем девчонкой. Вскоре меня тоже арестовали.

Клим напомнил ей обед у Лютова в день приезда царя, ресторан, где она читала письмо.

— Я не заметила вас,—сказала она безразличным тоном, взяв книгу и перелистывая ее.

Самгин подумал, что это не очень вежливо с ее стороны.

— Вы несколько раз не замечали меня, это, вероятно, из конспиративных соображений?

Взглянув на него через книгу, она улыбнулась неохотно, как всегда.

— Но вы, ведь, узнали меня, когда я шел с жандармом,—помните?

В эту минуту он заметил, что глаза ее, потемнев, как будто вздрогнули, стали шире и в зрачках остро блеснули голубые огоньки.

— Позвольте,—воскликнула она оживленно и похорошев,—это было где?

Клим назвал переулок и, усмехаясь, напомнил:

— Было часа четыре, и вас провожал мужчина...

— Нет!—сказала она, тоже улыбаясь, прикрыв нижнюю часть лица книгой так, что Самгин видел только глаза ее, очень блестящие. Сидела она в такой напряженной позе, как будто уже решила встать.

— Ну, как же — нет? Я слышал...

— Что?

— Как он просил вас поторопиться...

Никонова бросила книгу на диван и, вздохнув, пожала плечами.

— Не провожал, а открыл дверь, — поправила она. — Да, я это помню. Я ночевала у знакомых, и мне было нужно рано встать. Это— мои друзья,— сказала она, облизав губы.— К сожалению, они переехали в провинцию. Так это вас вели? Я не узнала. Вижу — ведут студента, это довольно обычный случай...

— А мне показалось — узнали, — настаивал Самгин.

— Нет, — равнодушно сказала она. — У меня плохая память на лица. И я была расстроена.

Глаза ее погасли, она снова взяла книгу и наклонилась над нею скучное лицо свое. Самгин, барабанив пальцами, подумал:

— Варвара права: в ней есть что-то...

Но неприятное впечатление, вызванное этой сценой, скоро исчезло, да и времени не было думать о Никоновой. Разрасталось студенческое движение, и нужно было держаться очень осторожно, чтоб не попасть в какую-нибудь глупую историю. Репутация солидности не только не спасала, а вела к тому, что организаторы движения настойчиво пытались привлечь Самгина к «живому и необходимому делу воспитания гражданских чувств в будущих чиновниках», как убеждал его знакомый еще по Петербургу рябой, заикавшийся Попов; он, видимо, совершенно посвятил себя этому делу. Самгину приходилось говорить, что студенческое движение буржуазно, чуждо интересам рабочего класса и отвлекает молодежь в сторону от задач времени: идти на помощь рабочему движению.

— Н-но н-нельзя же, ч'орт возьми, т'ребовать, ч'чтоб в'все студенчество шло н-на ф-фабрики! — сорванным голосом выдувал Попов слова обиды, удивления.

Но это было не так важно. Попов являлся в Москву на день, на два, затем, пофыркав, покричав, исчезал. Гораздо важнее для Самгина было поведение Варвары. Он уже привык жить с нею, она и Анфимьевна заботливо ухаживали за ним. Самгин чувствовал себя устроившимся очень уютно и ценил это. Но вот уже несколько дней Варвара настроена нервно и стала непохожа на себя. Она как-то поблекла, и у нее явилась рассеянность, несвойственная ей. Можно было думать, что она решает какой-то очень трудный вопрос, этим объясняются припадки ее странной задумчивости, когда она сидит или полулежит на диване, прикрыв глаза и как бы молча прислушиваясь к чему-то. И в ласках она стала скупа, осторожна, даже как-то механична. Неожиданно она уходила куда-то и, раньше такая аккуратная, опаздывала к обеду, к вечернему чаю. Спросить, что с нею, Самгин не решался, смутно опасаясь услышать в ответ нечто необыкновенное и неприятное. Он опасался спрашивать ее еще и потому, что она, выгодно отличаясь от Лидии, никогда не философствовала на сексуальные темы, а теперь он подозревал, что у нее возникло желание «словесных интимностей». Вообще не любя «разговоров по душе», о «душе», Самгин находил их особенно неуместными с Варварой, будучи почти

уверен, что хотя связь с нею и приятна, но не может быть ни длительной, ни прочной. И уж если он когда-либо почувствует желание рассказать себя, он расскажет это не ей, а женщине более умной, чем она, интересной и тонко чувствующей. Он не сомневался, что в будущем, конечно, встретит необыкновенную женщину и с нею испытает любовь, о которой мечтал до романа с Лидией.

— Ведь не затеяла же она новый роман, — размышлял он, наблюдая за Варварой, чувствуя, что ее настроение все более тревожит его, и уже пытаюсь представить, какие неудобства для него повлечет за собой разрыв с нею.

Но вдруг все это кончилось совершенно удивительно. Холодным днем апреля, возвратясь из университета, обиженный скучной лекцией, дождем и ветром, Самгин, раздеваясь, услышал в столовой гулкий бас Дьякона.

— Их там девять человек; один непонятные стихи сочиняет, вихрастый, на беса похож и в роде полуумного...

Клим шагнул в дверь; Варвара, окутанная пледом, полулежа на диване, взглянула на него, как сквозь сон, беззвучно пошевелив губами; Дьякон, не вставая, тоже молча подал руку. Он был одет в толстую драповую куртку, подпоясан ремнем; это и сапоги с голенищами по колена делали его похожим на охотника. Он сильно поседел, снова отрастил три бороды и длинные волосы; похудевшее лицо его снова стало лицом множества русских, сурдальских людей. Сидел он, засунув длинные ноги в грязных сапогах под стул, и казалось, что он не сидит, а стоит на коленях.

— Откуда? — спросил Самгин.

Неохотно и даже как будто недружелюбно Дьякон ответил:

— Вот, пришел....

— Работаете на стеклянном заводе?

— Не годен. Сумасшедший я оказался, — угрюмо ответил Дьякон.

— Как хорошо говорили вы, — сказала Варвара, вздохнув.

— Хорошо говорить многие умеют, а надо говорить правильно, — отозвался Дьякон и, надув щеки, фыркнул так, что у него ощетинились усы. — Они, там, вовлекли меня в разногласия свои и смутили. А «яко алчба богатства растлеваает плоть, тако же богатество словесми душу растлеваает». Я, ведь, в социалисты пошел по вере моей во Христа без чудес, с единым токмо чудом его любви к человекам.

Стекла окна кропил дождь, капли его стучали по стеклам, как дитя пальцами. Ветер гудел в трубе. Самгин хотел есть. Слушать бас Дьякона было скучно, а он говорил, глядя под стол:

— Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоша любить нам друг друга не за что, однако ж — любим! И уже многие умеют любить самоотреченно и прекрасно.

Он закашлялся, вынул из карман серый комок платка, плюнул в него и, зажав платок в кулаке, ударил кулаком по колену.

— А они от Христа отрицаются, нашу, говорят, любовь утверждает наука, и это, дескать, крепче. Не широко это у них и не ясно.

— Вы — про кого? — спросил Самгин.

— Про вас, — сказал Дьякон, не взглянув на него. — Про мудрствующих лукаво. Разошелся я духовно с вами и своим путем пойду, по людям благовестя о Христе и законе его...

— Вы не хотите чаю? — спросил Самгин.

Дьякон недоуменно взглянул на него:

— Чего это?

— Чаю хотите?

— Нет, — сердито ответил Дьякон и, с трудом вытащив ноги из-под стула, встал, пошатнулся. — Так вы, значит, напишите Любовь Дмитриевне остороженько, — обратился он к Варваре. — В мае, в первых числах, дойду я до нее.

Вам денег не надо ли на дорогу? — спросила Варвара, вставая.

— Не надо. И относительно молодого человека не забудьте.

— Да, конечно! Кумов?

— Павел Кумов. Прощайте.

Он поклонился и, не подав руки ни ей, ни Самгину, ушел, покачиваясь.

— Как неловко ты предложил чаю, — мягким тоном заметила Варвара.

Самгин, не ответив, пошел в кухню и спросил у Анфимьевны чего-нибудь закусить, а когда он возвратился в столовую, Варвара, сидя в углу дивана, упираясь подбородком в колени, сказала:

— Удивительно говорил он о любви.

Сказала тихонько, задумчиво, но ему послышалось в словах ее что-то похожее на упрек или вызов. Стоя у окна спиной к ней, он ответил учительным тоном:

— Да, разговоры на эту тему удивительны...

Сделал паузу, постучал по стеклу ногтями и закончил:

— Своей ненужностью.

На дворе шумел и посвистывал, подсказывая злые слова, ветер, эдакий обессиленный потомок сердитых вьюг зимы.

— Говорят об этом вот такие, как Дьякон, люди с вывихнутыми мозгами, говорят лицемеры и люди трусливые, у которых нехватает сил признать, что в мире, где все основано на соперничестве и борьбе, сказкам и сентиментальностям места нет.

— Нет, — повторила Варвара. Самгин подумал: спрашивает она или протестует? За спиной его гремели тарелки, ножи, сотрясала пол тяжелая поступь Анфимьевны, но он уже не чувствовал аппетита. Он говорил не торопясь, складывая слова, точно каменщик кирпичи, любясь, как плотно ложатся они одно к другому.

— Выдуманная утопистами, примиряющая непримиримое, любовь к человеку, так же, как измышленная стыдливими романтиками фантастическая любовь к женщине, одинаково смешны там, где...

Он слышал, что Варвара встала с дивана, был уверен, что она отошла к столу и, ожидая, когда она позовет обедать, продолжал говорить до поры, пока Анфимьевна не спросила веселым голосом:

— Да вы с кем говорите?

Самгин обернулся: Варвары в комнате не было. Он подошел к столу, сел, подождал, хмурясь, нетерпеливо постукивая вилкой.

— Что она капризничает?

Подойдя к двери ее комнаты, он сказал:

— Обед подан.

— Я не хочу,—откликнулась Варвара.

— Тебе нездоровится?

— Немножко.

Пообедав, он ушел в свою комнату, лег, взял книжку стихов Брюсова, поэта, которого он вслух порицал за его антисоциальность, но втайне любовался холодной остротой его стиха. Почитал, подремал, затем пошел посмотреть, что делает Варвара; оказалось, что она вышла из дому.

— Глупо, — решил он, глядя, как ветер осыпает стекла окон мелким бисером дождевых капель. В доме было холодно, он попросил Анфимьевну затопить печь в его комнате, сел к столу и углубился в неприятную ему книгу Сергеевича о «Земских соборах», неприятную тем, что в ней автор отрицал самобытность государственного строя Московского государства. Шумел ветер, трещали дрова в печи, доказательства юриста-историка представлялись не особенно вескими, было очень уютно, но вдруг потревожила мысль, что, может быть, скоро нужно будет проститься с этим уютом, переехать снова в меблированные комнаты. Самгин встал, поставил стул перед печкой и, сняв очки, раскачивая их на пальце, пощипывая бородку, задумался.

— Пожалуй, я слишком холоден и педантичен с нею. А, ведь, она легче Лидии.

Огонь превращал дерево в розовые и алые цветы углей, угли покрывались сероватым плюшем пепла. Рядом с думами о Варваре, память в тон порывам ветра и треску огня подсказывала мотив песенки Гогина:

Да, для пустой души
Необходим груз веры!
Ночью -- все кошки серы,
Женщины — все хороши.

Если б Варвара была дома, — хорошо бы позволить ей приласкаться. Забавно она вздрагивает, когда целуешь груди ее. И стоит, как ребенок во сне. А этот Гогин — остроумная шельма: «для пустой души необходим груз веры» — не плохо! Варвара, вероятно, пошла к Гогиным. Что заставляет таких людей, как Гогин, помогать революционерам? Игра, азарт, скука жизни? Писатель Катин охотился, потому что охотились Тургенев, Некрасов. Наверное, Гогин пользуется успехом у модернизированных барышень, как парикмахер у швеек.

— Уж не ревную ли? — спросил себя Самгин, сердито взглянув на стенные часы. Шел восьмой час, а Варвара ушла в четвертом. Он вспомнил, что в каком-то английском романе герой, добродушный человек, зная, что жена изменяет ему, вот так же сидел пред камином, разгребая угли кочергой, и мучился, представляя, как стыдно, неловко будет ему, когда придет жена и как трудно будет скрыть от нее, что он все знает, но когда жена, счастливая, пришла, он выгнал ее. Самгин вздохнул и вышел в столовую, постоял в темноте, зажег лампу и пошел в комнату Варвары; может быть, она оставила там письмо, в котором объясняет свое поведение? Письма не оказалось. Со стен смотрели на Самгина лица m-elle Клерон, Марс, Жюдик и еще многих женщин, он освещал их, держа лампу в руке, и сегодня они казались более порочными, чем всегда. Вот любовница королей Диана Пуатье, а вот любовница талантливых людей Аврора Дюдеван.

Самгин возвратился в столовую, прилег на диван, прислушался: дождь перестал, ветер тихо гладил стекла окна, шумел город, часы пробили восемь. Час до девяти был необычно растянут, чудовищно вместителен, в пустоту его уложились воспоминания о всем, что пережил Самгин, и все это еще раз напоминало ему, что он — человек своеобразный, исключительный и потому обречен на одиночество. Но эта самооценка, которой он гордился, сегодня была только воспоминанием и даже, как будто, ненужным сегодня.

Варвара явилась после одиннадцати часов. Он услышал ее шаги на лестнице и сам отпер дверь пред нею, а когда она, не раздеваясь, не сказав ни слова, прошла в свою комнату, он, видя, как неверно она шагает, как ее руки ловят воздух, с минуту стоял в прихожей, чувствуя себя оскорбленным.

— Пьяная, — думал он. — И, значит...

Несколько минут он расхаживал по столовой, возмущенно топая, сжимая кулаки в карманах, ходил и подбирал слова, которые сейчас скажет Варваре.

— Нет, — завтра скажу, сегодня она ничего не поймет.

В комнате Варвары было совершенно тихо и темно.

Даже огня не может зажечь. А станет зажигать, сделает пожар.

Самгин взял лампу и, нахмуясь, отворил дверь, свет лампы упал на зеркало, и в нем он увидел почти незнакомое, уродливо длинное, серое лицо, с двумя темными пятнами на месте глаз, открытый, беззвучно кричавший рот был третьим пятном. Сидела Варвара, подняв руки, держась за спинку стула, вскинув голову, и было видно, что подбородок ее трясется.

— Что это с тобой? — спросил Самгин, ставя ее лампу на туалетный стол. Она ответила тихо всхрапывающим голосом:

— Помоги раздеться. Закрой дверь... дверь.

Смотрела она так, как смотрят, вслушиваясь в необыкновенное, непонятное, глаза у нее были огромные и странно посветлели, обес-

цветились, губы казались измятыми. Снимая с нее шубку, шляпу, Самгин спрашивал с тревогой и досадой:

— Что это значит?

— Знобит,—сказала она, встав, шагая к постели так осторожно и согнувшись, точно ее ударили по животу.

— Упала? Ушиблась?—допрашивал Клим, чувствуя, что его охватывает страх.

— Достань порошки... в кармане пальто,—говорила она, стуча зубами, легла на постель, вытянув руки вдоль тела, сжав кулаки.— И—воды. Запри дверь.—Вздохнув, она простонала:

— О, Господи...

— Послушай, — бормотал Клим, встряхивая пальто, висевшее на руке его. — Какие порошки? Надо позвать доктора... Ты отравилась чем-нибудь?

— Тише! Это — спорынья, — шептала она, закрыв глаза. — Я сделала аборт. Запри же дверь! Чтобы не знала Анфимьевна, — мне будет стыдно перед нею...

Самгин ошеломленно опустил руки, пальто упало на пол, путаясь в нем ногами, он налил в стакан воды, подал ей порошок, наклонился над ее лицом.

— Зачем же ты... не сказав мне? Ведь это опасно, можно умереть! Подумай, что же было бы? Это — ужас!

Он уже понимал, что говорит не те слова, какие надо бы сказать. Варвара схватила его руку, прижалась к ней горячей щекой.

— Уйди, милый! Не бойся... на третьем месяце... не опасно, — шептала она, стуча зубами. — Мне нужно раздеться. Принеси воды... самовар принеси. Только не буди Анфимьевну... ужасно стыдно, если она...

На руке своей Клим ощутил слезы. Глаза Варвары неестественно дрожали, казалось — они выпрыгнут из глазниц. Лучше бы она закрыла их. Самгин вышел в темную столовую, взял с буфета еще не совсем остывший самовар, поставил его у кровати Варвары и, не взглянув на нее, снова ушел в столовую, сел у двери.

— Зачем она сделала это? Если она умрет, — на меня... возмутительно!

Но он понял, что о себе думает по привычке, механически. Ему было страшно, и его угнетало сознание своей беспомощности. Он был вырван из обычного, понятного ему, но, не понимая мотивов поступка Варвары, уже инстинктивно одобрял его.

— Нужна смелость, чтоб решиться на это, — думал он, ощущая, что в нем возникает новое чувство к Варваре.

Он слышал, как она сняла ботинки, как осторожно двигается по комнате, казалось, что все вещи тоже двигаются вместе с нею.

Скрипнул ящик комода, щелкнули ножницы, разорвалась какая-то ткань, отскочил стул, и полилась вода из крана самовара. Клим стал крутить пуговицу тужурки, быстро оторвал ее и сунул в карман. Вынул

платок, помахал им, как флагом, вытер лицо, в чем оно не нуждалось. В комнате было темно, а за окном еще темнее, и казалось, что та внешняя тьма может, выдавив стекла, хлынуть в комнату холодным потоком.

— Как глупо, как отчаянно глупо! — почти вслух пробормотал он, согнувшись, схватив голову руками и раскачиваясь.

— Что же будет?

Варвара, приоткрыв дверь, шепнула:

— Иди.

Он вошел не сразу, Варвара успела лечь в постель, лежала она вверх лицом, щеки ее опали, нос заострился; за несколько минут до этого она была согнутая, жалкая и маленькая, а теперь неестественно вытянулась, плоская, и лицо у нее пугающе строго. Самгин сел на стул у кровати и, глядя ее руку от плеча к локтю, зашептал слова, которые казались ему чужими:

— Это ужасно! Нужно было сказать мне. Ведь я не.. идиот! Что ж такое — ребенок?.. Рисковать жизнью, здоровьем...

Обидное сознание бессилия возрастало, к нему примешивалось сознание виновности пред этой женщиной, как будто незнакомой. Он искоса, опасливо поглядывал на ее встрепанную голову, вспотевший лоб и горячие глаза глубоко под ним,— глаза напоминали угасающие угольки, над которыми еще колеблется чуть заметно синеватое пламя.

— Доктора надо, Варя. Я боюсь. Какое безумие, — шептал он и, слыша, как жалобно звучат его слова, вдруг всхлипнул.

— Безумие,— повторил он. — Зачем осложнять...

Слезы текли скупно из его глаз, но все-таки он ослеп от них, снял очки и спрятал лицо в одеяло у ног Варвары. Он впервые плакал после дней детства и, хотя это было постыдно, а— хорошо: под слезами обнажался человек, каким Самгин не знал себя, и росло новое чувство близости к этой знакомой и незнакомой женщине. Ее горячая рука гладила затылок, шею ему, он слышал прерывистый шопот:

— Спасибо, милый! Как это хорошо, — твои слезы. Ты не бойся, это не опасно...

Пальцы ее все глубже зарывались в его волосы, крепче гладили кожу шеи, щеки.

— Я не хотела стеснять тебя. Ты — большой человек... необыкновенный. Женщина-мать эгоистичнее, чем просто женщина. Ты понимаешь?

— Не говори, — попросил Клим. — Тебе очень больно?

— Нет... Но я — устала. Родной мой, все ничтожно, если ты меня любишь. А я теперь знаю — любишь, да?

— Да.

— Ты не позволил бы аборт, если бы я спросила?

— Конечно, — сказал Клим, подняв голову. — Разумеется, не позволил бы. Такой риск! И— что же, ребенок? Это... естественно.

Он говорил шопотом, — казалось, что так лучше слышишь настоящего себя, а если заговоришь громко...

Варвара глубоко вздохнула.

— Покрой мне ноги еще чем-нибудь. Ты скажешь Анфимьевне, что я упала, ушиблась. И ей, и Гогиной, когда придет. Белье в крови я попрошу взять акушерку, она завтра придет...

Она, как будто, начинала бредить. Потом вдруг замолкла. Это было так странно, точно она вышла из комнаты, и Самгин снова почувствовал холод испуга. Посидев несколько минут, глядя в заостренное лицо ее, послушав дыхание, он удалился в столовую, оставив дверь открытой.

В раме окна серпик луны, точно вышитый на голубоватом бархате. Самгин стоя, держа руку на весу, смотрел на него и, вслушиваясь в трепет новых чувствований, уже с недоверием спрашивал себя:

— Так ли все это?

И снова понял, что это — недоверие механическое, по привычке, а настоящие его мысли этой ночи — хорошие, радостные.

— Она меня серьезно любит, это — ясно. Я был несправедлив к ней. Но мог ли я думать, что она способна на такой риск? Несомненно, что существует чувство... праздничное. Тогда, на даче, стоя пред Лидией на коленях, я не ошибался, ничего не выдумал. И Лидия вовсе не опустошила меня, не исчерпала.

Рука, взвешенная в воздухе, устала, он сунул ее в карман и сел у стола.

— Благодаря Варваре я вижу себя с новой стороны. Это надо оценить.

Неловко было вспомнить о том, что он плакал.

— Конечно, ребенок стеснил бы ее. Она любит удовольствие, независимость. Она легко принимает жизнь. Хорошая...

Облокотясь о стол, он задремал и был разбужен Анфимьевной.

— Тише, Варя нездорова!

— Ой, что это? — наклонясь к нему, спросила домоправительница испуганным шопотом. — Не выкидыш ли, храни бог?

Клим встал, надел очки, посмотрел в маленькие умные глазки на заржавевшем лице, в округленный рот, как бы готовый закричать.

— Ну, что за глупости! Почему...

— А — кровью пахнет? — шевеля ноздрями сказала Анфимьевна, и прежде, чем он успел остановить ее, мягко, как перина, ввалилась в дверь к Варваре. Она вышла оттуда тотчас же и так же бесшумно, до локтей ее руки были прижаты к бокам, а от локтей подняты, как на иконе знаменья абалацкой богоматери, короткие железные пальцы шевелились, губы ее дрожали, она шипела:

— Ну, уж если это ты посоветовал ей... так я уж и не знаю, что сказать, — извини!

Так, с поднятыми руками, она и проплыла в кухню. Самгин, испуганный ее шипением, оскорбленный тем, что она заговорила с ним

на ты, постоял минуту и пошел за нею в кухню. Она, особенно огромная в сумраке рассвета, сидела среди кухни на стуле, упиравшись в колени, и по бурому, тугому лицу ее текли маленькие слезы.

— Я ничего не знал, она сама решила, — тихонько, торопливо говорил Самгин, глядя в мокрое лицо, в недоверчивые глазки, из которых на мешки ее полуобнаженных грудей капали эти необыкновенные маленькие слезинки.

— Ой, глупая, ой, модница! А я-то думала, вот, мол, дитя будет, мне возиться с ним. Кухню-то бросила бы. Эх, Клим Иванович, милый! Незаконно вы все живете... И люблю я вас, а незаконно!

И—как всегда заботливо, спрашивая:

— Не спал ночь-то?

Клим схватил ее руку.

— Я хочу, — пробормотал он, внезапно охмелев от волнения, — руку пожать вам, уважаю я вас...

— Что уж, руку-то, — вздохнула Анфимьевна и, обняв его пудовыми руками, притянула ко грудям своим, пробормотав:

— Эх, дети вы, дети... Чужого бога дети!

Умываясь у себя в комнате, Самгин смущенно усмехнулся:

— Веду я себя смешно.

И чувствовал себя в радости оттого, что, вот, умеет вести себя смешно, как никто не умеет.

Наступили удивительные дни. Все стало необыкновенно приятно, и необыкновенно приятен был сам себе лирически взволнованный человек Клим Самгин. Его одолевало желание говорить с людьми как-то по-новому мягко, ласково. Даже с Татьяной Гогиной, антипатичной ему, он не мог уже держаться осторожно и недружелюбно. Вот она сидит у постели Варвары, положив ногу на ногу, покачивая ногой, и задорным голосом говорит о Сулове.

— Не выношу ригористов, чиновников и вообще кубически обтепанных людей. Он вчера убеждал меня, что Якубовичу-Мельшину, революционеру и каторжанину, не следовало переводить Бодлэра, а он должен был переводить ямбы Поль-Луи Курье. Ужас!

— Узость, — любезно поправил Клим. — Проповедник обязан быть узким...

— Не знаю, — сказала Гогина. — Но я много видела и вижу этих ветеранов революции. Романтизм у них выхолощен, и осталась на месте его мелкая, личная злость. Посмотрите, как они не хотят понять молодых марксистов, именно — не хотят.

Варвара утомленно закрыла глаза, а когда она закрывала их, ее бескровное лицо становилось жутким. Самгин тихонько дотронулся до руки Татьяны и, мигнув ей на дверь, встал. В столовой девушка начала расспрашивать, как это и откуда упала Варвара, был ли доктор и что сказал. Вопросы ее следовали один за другим, и, прежде чем Самгин мог ответить, Варвара окликнула его. Он вошел, затворив за собой

дверь, тогда она, взяв руку его, улыбаясь обескровленными губами, спросила тихонько:

— Можно мне покапризничать?

Он кивнул головою, тоже улыбаясь.

— Не говори с Таней много, она — хитрая.

— Не буду, — обещал он, подняв руку, как для присяги, и, глядя волосы ее, сообщил:

— Каприз, по-латыни, если не ошибаюсь, — прыгать, подпрыгивать. Капра — коза.

Подождав, не скажет ли она еще что-нибудь, он спросил:

— О чем думаешь?

— О справедливости, — сказала Варвара, вздохнув. — **Что** есть только одна справедливость — любовь.

Клим Самгин заговорил с внезапной решимостью:

— Сдам экзамены и поедем к моей матери. Если хочешь, обвенчаемся там. Хочешь?

Лежа неподвижно, она промолчала; но Клим видел, что сквозь ее длинные ресницы сияют тонкие лучики. И, увлекаясь своим великодушием, он продолжал:

— Потом — поедем по Оке, по Волге. В Крым — хорошо?

Болезненно охнув, Варвара приподнялась, охватила его руку и, прижав ее ко груди своей, сказала:

— Все равно, — пойми!

— Не волнуйся, — попросил он, снова гордясь тем, **что** вызвал такое чувство.

Недели через три он думал:

— Вот мой медовый месяц.

Он имел право думать так не только потому, что Варвара, оправясь и весело похорошев, загорелась нежной и жадной, но все-таки не отягчающей его страстью, но и потому еще, что в ее отношении явилось еще более заботливости о нем, заботливости настолько трогательной, что он даже сказал:

— А, ведь, ты, Варя, могла бы быть удивительно нежной матерью.

Была середина мая. Стаи галок носились над Петровским парком, зеркало пруда отражало голубое небо и облака, похожие на взбитые сливки; теплый ветер помогал солнцу зажигать на листьях деревьев зеленые огоньки. И такие же огоньки светились в глазах Варвары.

— Идем домой, пора, — сказала она, вставая со скамьи. — Ты говорил, что тебе надо прочитать к завтраму сорок шесть страниц. Я так рада, что ты кончаешь университет. Эти бесплодные волнения...

Не кончив фразу, она глубоко вздохнула.

— Как это прелестно у Лермонтова: «ликующий день».

Самгин вел ее берегом пруда и видел, как по воде, голубоватой точно отшлифованная сталь, плывет, умеренно кокетливо покачиваясь, ее стройная фигура в синем жакете, в изящной шляпке.

— Мне кажется, — нигде не бывает такой милой весны, как в Москве, — говорила она. — Впрочем, я, ведь, нигде и не была. И — предств! — не хочется. Как будто я боюсь увидеть что-то лучше Москвы и перестану любить ее так, как люблю.

— Ребячество, — сказал Самгин солидно, однако — ласково, ему нравилось говорить с нею ласково, это позволяло ему видеть себя в новом свете.

— Ребячество, конечно, — согласилась она, но, помолчав, спросила:

— Разве тебе не кажется, что любовь требует осторожности... бережливости?

— Но не слепоты, — сказал Самгин.

Через несколько недель Клим Самгин, элегантный кандидат на судебные должности, сидел дома против Варавки и слушал его осипший голос.

— Итак — адвокат? Прокурор? Не одобряю. Будущее принадлежит инженерам.

Его лицо, надутое, как воздушный пузырь, казалось освещенным изнутри красным огнем, а уши были лиловые, точно у пьяницы; глаза, узенькие, как два тире, изучали Варвару. С нелепой быстротой он бросал в рот себе бисквиты, сверкал чинеными золотом зубами ипил содовую воду, подливая в нее херес. Мать, похожая на чопорную гувернантку из англичанок, занимала Варвару, рассказывая:

— Благодаря энергии Тимофея Степановича, у нас будет электрическое освещение...

Держа в руках чашку чая, Варвара слушала ее почтительно и с тем напряжением, которое является на лице человека, когда он и хочет, но не может попасть в тон собеседника.

— Очень милый город, — не совсем уверенно сказала она. Варавка тотчас опроверг ее:

— Идиотский город, восемьдесят пять процентов жителей идиоты, десять — жулики, процента три — могли бы работать, если б им не мешала администрация, затем идут страшно умные, а потому ни к чорту не годные мечтатели...

Он махнул рукою и снова обратился к Самгину:

— Я хочу дать работу тебе, Клим...

Самгин слушал его и, наблюдая за Варварой, видел, что ей тяжело с матерью; Вера Петровна встретила ее с той деланной любезностью, как встречают человека, знакомство с которым неизбежно, но не обещает ничего приятного.

— А ты писал, что у нее зеленые глаза! — упрекнула она Клима. — Я очень удивилась: зеленые глаза бывают только в сказках.

И тотчас же сообщила:

— А у нас во флигеле умирает человек.

И стала рассказывать о Спиваке; голос ее звучал брезгливо, после каждой фразы она поджимала увядшие губы; в ней чувствовалась

неизлечимая усталость и злая досада на всех за эту усталость. Но говорила она тоном, требующим внимания, и Варвара слушала ее, как гимназистка, которой нелюбимый ею учитель читает нотацию.

— Дико ей здесь, — подумал Самгин. На этот раз он чувствовал себя чужим в доме, как никогда раньше.

Варавка кричал в ухо ему:

— Заработаешь сотню—полторы в месяц...

Вошел доктор Любомудров с часами в руках, посмотрел на настенные часы и заявил:

— Ваши отстали на восемь минут.

С Климом он поздоровался так, как будто вчера видел его и вообще Клим давно уже надоел ему. Варваре поклонился церемонно и почему-то закрыв глаза. Сел к столу, подвинул Вере Петровне пустой стакан; она вопросительно взглянула в измятое лицо доктора.

— К ночи должен умереть, — сказал он. — Случай любопытнейшей живучести. Легких у него — нет, а, так, слякоть. Противозащитно дышит.

— Он был человек не талантливый, но знающий, — сказала Самгина Варваре.

— Он еще есть, — поправил доктор, размешивая сахар в стакане. — Он есть, да! Нас, докторов, не удивишь, но этот умирает... корректно, так сказать. Как будто собирается переехать на другую квартиру и — только. У него должны бы мозговые явления начаться, а он, ничего, рассуждает, как... как не надо.

Доктор недоуменно посмотрел на всех поочередно и, видимо, заметив, что рассказ его удручает людей, крикнул, затем спросил Клима:

— Ну, что — бунтуете? Мы тоже в свое время бунтовали. Толку из этого не вышло, но для России потеряны замечательные люди.

Вера Петровна посоветовала сыну:

— Ты бы заглянул к Лизе... до этого.

Клим был рад уйти.

— Как неловко и брезгливо сказала мать: «до этого», — подумал он, выходя на двор и рассматривая флигель; показалось, что флигель отяжелел, стал ниже, крыша старчески свисла к земле. Стены его излучали тепло, точно нагретый уют. Клим прошел в сад, где все было празднично и пышно, щебетали птицы, на клумбах хвастливо пестрели цветы. А солнца так много, как будто именно этот сад был любимым его садом на земле.

В окне флигеля показалась Спивак, одетая в белый халат, она вылиwała воду из бутылки. Клим тихо спросил:

— Можно к вам?

— Разумеется, — ответила она громко.

Она встретила его, держа у груди, как ребенка, две бутылки, завернутые в салфетку, бутылки, должно быть, жгли грудь, лицо ее болезненно морщилось.

— Хотите пройти к нему? — спросила она, осматривая Самгина невидящим взглядом. Видеть умирающего Клим не хотел, но молча пошел за нею.

Музыкант полулежал в кровати, поставленной так, что изголовье ее приходилось против открытого окна, по грудь он был прикрыт пледом в чернобелую клетку, а на груди рубаха расстегнута, и солнце неприятно подробно освещало серую кожу, и черненькие развившиеся колечки волос на ней. Под кожей, судорожно натягивая ее, вздымались детские тонкие ребра, и было странно видеть, что одна из глубоких ям за ключицами освещена, а в другой лежит тень. Казалось, что Спивак по всем измерениям стал меньше на треть, и это было так жутко, что Клим не сразу решился взглянуть в его лицо. А он говорил, всхрипывая:

— О, это вы? А я, вот, видите... И—в такой день. Жалко день.

Жена, нагнувшись, подкладывала к ногам его бутылки с горячей водой. Самгин видел на белом фоне подушки черноволосую, растрепанную голову, потный лоб, изумленные глаза, щеки, густо заросшие черной щетиной, и полуоткрытый рот, обнаживший мелкие, желтые зубы:

— Смерти я не боюсь, но устал умирать, — хрипел Спивак; тоненькая шея вытягивалась из ключиц, а голова как будто хотела оторваться. Каждое его слово требовало вдоха, и Самгин видел, как жадно губы его всасывают солнечный воздух. Страшен был этот сосущий трепет губ и еще страшнее полубезумная и жалобная улыбка темных, глубоко провалившихся глаз.

Елизавета Львовна стояла, скрестив руки на груди. Ее застывший взгляд остановился на лице мужа, как бы вспоминая что-то; Клим подумал, что лицо ее не печально, а только озабочено, и что хотя отец умирал тоже страшно, но как-то более естественно, более понятно.

— Я, конечно, не верю, что весь умру, — говорил Спивак.— Это — погружение в тишину, где царит совершенная музыка. Земному слуху не доступна. Чьи это стихи... земному слуху не доступна?

Самгин, слушая, заставлял себя улыбаться, это было очень трудно, от улыбки деревянело лицо, и он знал, что улыбка так же глупа, как неуместна. Он все-таки сказал:

— Вы преувеличиваете, с вашей болезнью живут долго...

— С нею долго умирают,—возразил Спивак, но тотчас, выгнув кадык, захрипел: — Я бы еще мог... доканал этот город. Пыль и ветер. Пыль. И — всегда звонят колокола. Ужасно много... звонят! Колокола—если жизнь торжественна...

— Мы утомляем его,—заметила Елизавета Львовна.

— До свиданья, — сказал Клим и быстро отступил, боясь, что умирающий протянет ему руку. Он впервые видел, как смерть душит человека, он чувствовал себя стиснутым страхом и отвращением. Но это надо было скрыть от женщины, и, выйдя с нею в гостиную, он сказал:

— С какой жестокостью солнце...

Но Спивак, глядя за плечо его, отмахнулась рукою и не дала ему кончить фразу.

— В этих случаях принято говорить что-нибудь философическое. А — не надо. Говорить тут нечего.

Ее взгляд, усталый и ожидающий, возбуждал у Самгина желание обернуться, узнать, что она видит за плечом его.

Идя садом, он увидел в окне своей комнаты Варвару, она поглаживала пальцами листья цветка. Он подошел к стене и сказал тихонько, виновато:

— Неудачно мы попали.

— Он — скоро? — спросила Варвара тихонько и оглянувшись назад.

Самгин кивнул головою и предложил:

— Иди сюда.

Когда она, стройная, в шелковом платье жемчужного цвета шла к нему по дорожке среди мелколистного кустарника, Самгин определенно почувствовал себя виноватым перед нею. Он ласково провел ее в отдаленный уголок сада; усадил на скамью, под густой навес вишен, и, глядя руку ее, вздохнул:

— Скверная штука.

Она живо откликнулась:

— Да!

И быстро, — как бы отвечая учителю хорошо выученный урок, — рассказала вполголоса:

— По Арбатской площади шел прилично одетый человек и, подходя к стае голубей, споткнулся, упал; голуби разлетелись, подбежали люди, положили упавшего в пролетку извозчика; полицейский увез его, все разошлись, и снова прилетели голуби. Я видела это и подумала, что он вывихнул ногу, а на другой день читаю в газете: скоропостижно скончался.

Рассказывая, она смотрела в угол сада, где между зеленью был виден кусок крыши флигеля с закоптевшей трубой; из трубы поднимался голубоватый дымок, такой легкий и прозрачный, как будто это и не дым, а гретый воздух. Следя за взглядом Варвары, Самгин тоже наблюдал, как струится этот дымок и чувствовал потребность говорить о чем-нибудь очень простом, житейском, но не находил о чем; говорила Варвара:

— А когда мне было лет тринадцать, напротив нас чинили крышу, я сидела у окна, — меня в тот день наказали, — и мальчишка-кровельщик делал мне гримасы. Потом другой кровельщик запел песню, мальчишка тоже стал петь, и — так хорошо выходило у них. Но вдруг песня кончилась криком, коротеньким таким и резким, тотчас же шлепнулось, как подушка, — это упал на землю старший кровельщик, а мальчишка лег животом на железо и распластался, точно не человек, а — рисунок...

Она вздохнула и закончила:

— Когда умирают внезапно, — это не страшно.

— Не стоит говорить об этом, — сказал Клим. — Тебе нравится город?

— Но, ведь, я еще не видела его, — напомнила она.

Странно было слышать, что она говорит точно гимназистка, как-то наивно, даже неправильно, не своей речью и будто бы жалуясь. Самгин начал рассказывать о городе то, что узнал от старика Козлова, но она, отмахиваясь платком от пчелы, спросила:

— Зачем они топят печь?

— Вероятно греют воду, — неохотно ответил Самгин и подвинулся ближе к ней, тоже глядя на дымок.

— А, может быть, это — прислуга. Есть такое суеверие: когда женщина трудно родит, — открывают в церкви царские врата. Это, пожалуй, не глупо, как символ, что ли. А когда человек трудно умирает, — зажигают дрова в печи, лучину на шестке, чтоб душа видела дорогу в небо: «огонек на исход души».

Заметив, что Варвара подозрительно часто мигает, он пошутил:

— Тут уж невозможно догадаться: почему душа должна вылетать в трубу, как банкрот?

Варвара не улыбнулась; опустив голову, комкая пальцами платок, она сказала:

— Знаешь, тогда, у акушерки, была минута, когда мне показалось, — от меня оторвали кусок жизни.

Самгин взял ее руку, поцеловал и спросил:

— Мать не понравилась тебе?

— Не знаю, — ответила Варвара, глядя в лицо его. — Она почти с первого слова начала об этом...

Варвара указала глазами на крышу флигеля; там, под покрасневшей в лучах заката трубою едва заметно курчавились какие-то серебряные струйки. Самгин сердился на себя за то, что не умеет отвлечь внимание в сторону от этой дурацкой трубы. И — не следовало спрашивать о матери. Он, вообще, был недоволен собою, не узнавал себя и даже как бы не верил себе. Мог ли он несколько месяцев тому назад представить, что для него окажется возможным и приятным такое чувство к Варваре, которое он испытывает сейчас?

— Какой... бесподобный этот Тимофей Степанович, — сказала Варвара и, отмахнув рукой от лица что-то невидимое, предложила пройтись по городу. На улице она оживилась; Самгин находил оживление это искусственным, но ему нравилось, что она пытается шутить. Она говорила, что город очень удобен для стариков, старых дев, инвалидов.

— Право, было бы не плохо, если б существовали города для отживших людей.

— Жестоко, — сказал Самгин, улыбаясь.

Оглянувшись назад, она помолчала минуту, потом задумчиво проговорила:

— Нехорошо делать из... умирания что-то обязывающее меня думать о том, чего я не хочу.

Раздосадованный тем, что она снова вернулась к этой теме, Самгин сухо сказал:

— Не могу же я уехать отсюда завтра, например! Это обидело бы мать.

— Конечно, — быстро откликнулась она.

Домой воротились, когда уже стемнело; Варавка, сидя в столовой, мычал, раскладывая сложнейший пасьянс, доктор против него перелистывал толстый ежемесячник.

— Ночью будет дождь — сообщил доктор, посмотрев на Варвару одним глазом, прищутив другой, и пообещал:—Дождь и прикончит его.

— Надоели вы, доктор, этим вашим покойником,—проворчал Варавка; доктор поправил его:

— Не покойником, а — больным.

— Ведь не знаменитость умирает, — напомнил Варавка, почесывая картой нос.

Варвара, сказав, что она устала, скрылась в комнату, отведенную ей; Самгин тоже ушел к себе и долго стоял у окна, ни о чем не думая, глядя, как черные клочья облаков нерешительно гасят звезды. Ночью дождя не было, а была тяжкая духота, она мешала спать, вливаясь в открытое окно бесцветным, жарким дымом, вызывая испарину. И была какая-то необычно густая тишина, внушавшая тревогу. Она заставляла ожидать чьих-то криков, но город безгласно притаился, он весь точно перестал жить в эту ночь, даже собаки не лаяли, только ежечасно и уныло отбивал часы сторожевой колокол церкви Михаила архангела, патрона полиции.

Клим лежал, закрыв глаза, и думал, что Варвара уже внесла в его жизнь неизмеримо больше того, что внесли Нехаева и Лидия. А Нехаева — права: жизнь, в сущности, не дает ни одной капли меда, не сдобренной горечью. И следует жить проще, да...

Дождь хлынул около семи часов утра. Его не было недели три, он явился с молниями, громом, воющим ветром и повел себя, как запоздавший гость, который, чувствуя свою вину, торопится быть любезным со всеми и сразу обнаруживает все лучшее свое. Он усердно мыл железные крыши флигеля и дома, мыл запыленные деревья, заставляя их шелково шуметь, обильно поливал иссохшую землю и вдруг освободил небо для великолепного солнца.

Клим первым вышел в столовую к чаю, в доме было тихо, все, очевидно, спали, только наверху, у Варавки, где жил доктор Любо-мудров, кто-то возился. Через две-три минуты в столовую заглянула Варвара, уже одетая, причесанная.

— Я тоже не могла уснуть, — начала она рассказывать. — Я никогда не слышала такой мертвой тишины. Ночью по саду ходила женщина из флигеля, вся в белом, заломив руки за голову. Потом

вышла в сад Вера Петровна, тоже в белом, и они долго стояли на одном месте... как Парки.

— Парки? Их — три, — напомнил Клим.

— Я знаю. Тот человек — жив еще?

Утомленный бессонницей, Клим хотел ответить ей сердито, но вошел доктор, отирая платком лицо, и сказал, широко улыбаясь:

— Доброе утро! А больной-то живехонек! Это феноменально!

Клим перенес свое раздражение на него:

— Ошиблись вы в надежде на дождь...

— Случай исключительный, — сказал доктор, открывая окна, затем подошел к столу, налил стакан кофе, походил по комнате, держа стакан в руках, и, присев к столу, пожаловался:

— Скучное у меня ремесло. Сожалею, что не акушер.

Явилась Вера Петровна и предложила Варваре с'ездить с нею в школу, а Самгин пошел в редакцию получить гонорар за свою рецензию. Город, чисто вымытый дождем, празднично сиял, солнце усердно распаривало землю садов, запахи свежей зелени насыщали неподвижный воздух. Люди тоже казались чисто вымытыми, шагали уверенно, легко.

— Да, все-таки жить надобно в провинции, — подумал Клим.

На чугунной лестнице редакции его встретил Дронов, стремительно бежавший вниз.

— Ба! Когда приехал? Спивак — помер? А я думал: ты похоронное об'явление несешь. Я хотел сбегать к жене его за справочкой для некролога.

Пропустив Самгина мимо себя, он одобрительно сказал:

— Цивильный костюм больше к лицу тебе, чем студенческая форма.

Сам он был одет щеголевато, жиденькие волосы его смазаны каким-то жиром и форсисто причесаны на косо́й пробор. Его новенькие ботинки не громко и вежливо скрипели. В нем вообще явилось что-то вежливенькое и благодушное. Он сел напротив Самгина за стол, выгнув грудь, обтянутую клетчатым жилетом, и на лице его явилось выражение готовности все сказать и все сделать. Играя золотым карандашиком, он рассказывал, подскакивая на стуле, точно ему было горячо сидеть:

— Как живем? Да, — все так же. Редактор — плачет, потому что ни люди, ни события не хотят считаться с ним. Робинзон уходит от нас, бунтует, говорит, что газета глупая и пошлая и что ежедневно под заголовком надобно печатать крупным шрифтом: «Долой самодержавие». Он тоже, должно быть, скоро умрет...

Проницательные глазки Дронова пытливо прилепились к лицу Самгина. Клим снял очки, ему показалось, что стекла вдруг помутнели.

— Редактор морщится и от твоих заметок, находит, что ты слишком мягок с декадентами, символистами — как их, там?

Карандашик выскочил из его рук и подкатился к ногам Самгина. Дронов несколько секунд смотрел на карандаш, точно ожидая, что он сам прыгнет с пола в руку ему. Поняв, чего он ждет, Самгин откинулся на спинку стула и стал протирать очки. Тогда Дронов поднял карандаш и покати́л его Самгину.

— Это мне одна актриса подарила, я, ведь, теперь и отдел театра веду. Правдин об'явился марксистом, и редактор выжил его. Камень—настоящий сапфирчик. Ну, а ты—как?

Появление редактора избавило Самгина от необходимости отвечать.

— Здравствуйте! — сказал редактор, сняв шляпу, и сообщил:— Жарко!

Он мог бы не говорить этого: череп его блестел, как тыква, окропленная росой. В кабинете редактор вытер лысину, утомленно сел за стол, вздохнув, открыл средний ящик стола и положил перед Самгиным пачку его рукописей,— все это, все его жесты Клим видел уже не раз.

— Извините, что я тороплюсь, но мне нужно к цензору.

Говорил он жалобно и смотрел на Самгина безнадежно.

— Не могу согласиться с вашим отношением к молодым поэтам,—куда они зовут? Подсматривать, как женщины купаются. Тогда как наши лучшие писатели и поэты...

Говорил он долго, точно забыв, что ему нужно к цензору, а кончил тем, что, ткнув пальцем в рукописи Самгина крепко, так что палец налился кровью, прижал их к столу.

— Нет, с ними нужно беспощадно бороться.

Он встал, подобрал губу.

— Не могу печатать. Это — проповедь грубейшей чувственности и бегства от жизни, от действительности, а вы — поощряете.

Самгин, сделав равнодушное лицо, молча злился, возражать редактору он не хотел, считая это ниже своего достоинства. На улицу вышли вместе, там редактор, протянув руку Самгину, сказал:

— Очень сожалею, но...

— Старый дурак,—выругался Самгин, переходя на теневую сторону улицы. Обидно было сознаться, что отказ редактора печатать рецензии огорчил его.

— Чего она сто́ит, действительность, которую тебе показывает Иван Дронов? — сердито думал он, шагая мимо уютных домиков, и вспомнил умильные речи Козлова.

Через сотню быстрых шагов он догнал двух людей, один был в дворянской фуражке, а другой—в панаме. Широкоплечие фигуры их заполнили всю панель, и, чтоб опередить их, нужно было сойти в грязь не просохшей мостовой. Он пошел сзади, посматривая на красные, жирные шеи. Левый, в панаме, сиповато, басом говорил:

— Во сне сколько не ешь — сыт не будешь, а ты — во сне онучи жуешь. Какие мы хозяева на земле? Мой сын, студент

второго курса, в хозяйстве понимает больше нас. Теперь, брат, живут по жидовской науке политической экономии, ее даже девчонки учат. Продавай все и — едем! Там деньги сделать можно; а здесь — жида, Варавки чорт знает что! Продавай...

Самгин сошел на мостовую, обогнал этих людей, и ленивый тенорок сказал вслед ему:

— Ну, что ж, продавать, — так продавать, на Восток, — так на Восток!

Самгин хотел взглянуть какое лицо у тенора. Но поленился обернуться: сказывалась бессонная ночь, душистый воздух охмелял, даже думать лень было. Однако он подумал, что вот таких разговоров на улице память его поймала и хранит много, но все они — точно мушинные пятна на зеркале и годятся только для сочинения анекдотов. Затем он сознался, что плохо понимает, чего хотят поэты-символисты, но ему приятно, что они не воспевают страданий народа, не кричат «Вперед без страха и сомненья» и о заре «святого возрожденья».

Домой он пришел с желанием лечь и уснуть, но в его комнате у окна стояла Варвара, выглядывая в сад из-за косяка.

— Тише! — предупредила она шопотом. — Смотри.

В саду, на зеленой скамье, под яблоней сидела Елизавета Спивак, упиравшись руками о скамью, неподвижная, как статуя; она смотрела прямо перед собой, глаза ее казались неестественно выпуклыми и гневными, а лицо, в мелких пятнах света и тени, как будто горело и таяло.

— Красиво сидит, — шептала Варвара. — Знаешь, кого я встретила в школе? Дунаева, рабочий, такой веселый, помнишь? Он там сторож или что-то в этом роде. Не узнал меня, но это он нарочно.

Она шептала так оживленно, что Самгин догадался о причине оживления и спросил:

— Умер?

— Кажется. Ты узнай.

Самгин вышел в столовую, там сидел доктор Любомудров, писал что-то и дымил на бумагу дымом папирасы.

— Что — как больной?

— Больного нет, — сказал доктор, не поднимая головы и как-то неумело скрипя по бумаге пером. — Вот, пишу для полиции бумажку о том, что человек законно и воистину помер.

Повинуясь странному любопытству и точно не веря доктору, Самгин вышел в сад, заглянул в окно флигеля, — маленький пианист лежал на постели у окна, почти упиравшись подбородком в грудь; казалось, что он, прищурив глаза, утонувшие в темных ямах, непонятливо смотрит на ладони свои, сложенные ковшичками. Мебель из комнаты вынесли, и пустота ее очень убедительно показывала совершенное одиночество музыканта. Мухи ползали по лицу его.

Самгин снова почувствовал, что этот хуже, страшнее, чем отец; в этом есть что-то жуткое, от чего горло сжимает судорога. Он быстро ушел, заботясь, чтоб Елизавета Львовна не заметила его.

— Что? — спросила Варвара.

Он утвердительно кивнул головой.

— Я догадалась об этом, — сказала она, легко вздохнув, сидя на краю стола и покачивая ногою в розоватом чулке. Самгин подошел, положил руки на плечи ее, хотел что-то сказать, но слова вспоминались постыдно стертые, глупые. Лучше бы она заговорила о каких-нибудь пустяках.

— Ты опрокинешь меня! — сказала она, обняв его ноги своими.

Он положил голову на плечо ее, тогда она, шепнув:— Подожди!— оттолкнула его, тихо закрыла окно, потом, заперев дверь, села на постель:

— Иди ко мне! Тебе — не хорошо? — тревожно и ласково спросила она, обнимая его, через несколько минут Самгин благодарно шептал ей.

— Ты у меня — чуткая... умная.

А затем дни наполнились множеством мелких, но необходимых делишек и пошли быстрее. Пианиста одели в сюртучек, аккуратно уложили в хороший гроб, с фестончиками по краям, обильно украсили цветами, и зеленоватое лицо законно умершего человека как будто утратило смутившее Самгина жуткое выражение непонятливости. На дворе, под окном флигеля, отлично пели панихиду «любители хорового пения», хором управлял Корвин с красным, в форме римской пятерки, шрамом на лбу; шрам этот, несколько приподняв левую бровь Корвина, придавал его туповатой физиономии нечто героическое. Когда Корвин желал, чтоб нарядные барышни хора пели более минорно, он, давящим жестом спускал руку к земле, и конец тяжелого носа его тоже опускался в ложбинку между могучими усами. Клим вспомнил Инокова и тихонько спросил мать, где он. Крестя опавшую грудь, Вера Петровна молитвенно прошептала:

— Его нанял и увез этот инженер... который писал о гимназистах, студентах.

Из окон флигеля выплывал дым кадила, запах тубероз; на дворе стояла толпа благочестивых зрителей и слушателей; у решетки сада прижался Иван Дронов, задумчиво почесывая щеку краем соломенной шляпы.

В день похорон с утра подул сильный ветер и как раз на восток, в направлении кладбища. Он толкал людей в спины, мешал шагать женщинам, поддувая юбки, путал прически мужчин, забрасывая волосы с затылков на лбы и щеки. Пение хора он относил вперед процессии, и Самгин, ведя Варвару под руку, шагая сзади Спивак и матери, слышал только приглушенный крик:

— А-а-а...

Люди, выгибая спины, держась за головы, упирались ногами в землю, толкая друг друга, тихонько извинялись, но, покорствуя силе ветра, шагали все быстрее, точно стремясь догнать улетающее пение:

— А-а-а...

Все это угнетало, навевая Самгину неприятные мысли о тленности жизни, тем более неприятные, что они облекались в чужие слова;

...дар случайный —
Жизнь, зачем ты мне дана?

вспоминал он, а оттолкнув эти слова, вспоминал другие:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая...

Хотелось затиснуть жизнь в свои слова, и было обидно убедиться, что все грустное, что можно сказать о жизни, было уже сказано и очень хорошо сказано.

Толчки ветра и людей раздражали его. Варвара мешала, нагибаясь, поправляя юбку, она сбивалась с ноги, потом, подпрыгивая, чтоб итти в ногу с ним, снова путалась в юбке. Клим находил, что Спивак идет деревянно, как солдат, и слишком высоко держит голову, точно она гордится тем, что у нее умер муж. И шагала она, как по канату, заботливо или опасливо соблюдая прямую линию. Айно шла за гробом, тоже не склоняя голову, но она шла лучше.

— Странная женщина, — думал Самгин, глядя на черную фигуру Спивак. — Революционерка. Вероятно, обучает Дунаева. И, наверное, все это из боязни прожить жизнь, как Таня Куликова.

Потом он должен был стоять более часа на кладбище, у могилы, вырытой в рыжей земле; один бок могилы узорно осыпался и напоминал беззубую челюсть нищей старухи. Адвокат Правдин сказал речь, смело доказывая закономерность явлений природы, поп говорил о царе Давиде, гусях его и о кроткой мудрости бога. Ветер неутомимо летал, посвистывая среди крестов и деревьев; над головами людей бесстрашно и молниеносно мелькали стрижи; за церковью под горой серdito фыркала парootводная труба водокачки.

Зато, как приятно стало через день, когда Клим, стоя на палубе маленького парохода, белого, как лебедь, смотрел на город, окутанный пышной массой багряных туч. Военный оркестр в городском саду играл попурри из опереток, и корнет-а-пистон точно писал на воздухе забавнейшие мелодии Оффенбаха, Планкета, Эрве. Чем ниже по реке сползал бойкий пароход, тем более мило-игрушечным становился город, раскрашенный мягкими красками заката, тем ярче сверкала золотая луковица собора, а маленькие домики, еще умаляясь, прижимались плотнее к зубчатой стене и башням кремля. Потом пароход круто повернул за пригорок, ошетиленный елями, и город исчез, точно стертый с земли мохнатой, черной лапой. Было тепло, тихо, только колеса весело расплескивали красноватую воду неширокой реки; посылая к берегам вспененные волны, они делали пароход еще более похожим на птицу с огромными крыльями.

Самгин и Варвара стояли у борта, испытывая сладость «одиночества вдвоем». Когда стемнело и пароход стали догонять черные обрывки туч, омрачая тенями воду и землю, — встретился другой

пароход, ярко освещенный. Он был окрашен в коричневый цвет, казался железным, а отражения его огней вонзались в реку, точно зубья бороны, и было чудесно видеть, что эти огненные зубья, бороздя воду, не гаснут в ней. А с левой стороны, из-за холмов выкатилась большая, оранжевая луна, тогда как с правой двигалась туча, мохнатая, точно шкура медведя, ее встряхивали молнии, но грома не было слышно, и молнии были не страшны. Варвара детски восхищалась, хватала Самгина за руку, прижималась к нему, вскрикивая:

— Ой, смотри, смотри! Видел?

— Неплохо, — снисходительно соглашался он. — Природа любит похвастаться.

Но он тоже невольно поддавался очарованию летней ночи и плавного движения сквозь теплую тьму к покою. Им овладевала приятная, безмысленная задумчивость. Он смотрел, как во тьме, сотрясаемой голубой дрожью, медленно уходят куда-то назад темные массы берегов, и было приятно знать, что прожитые дни не воротятся.

Остановились в Нижнем-Новгороде, посмотреть только что открытое и еще не разыгравшееся всероссийское торжище. Было очень забавно наблюдать изумление Варвары перед суетливой вознею людей, которые, разгружая бесчисленные воза, вспарывая тюки, открывая ящики, набивали глубокие пасти лавок, украшали витрины множеством соблазнительных вещей.

— Боже мой, сколько всего! — повторяла она, взмахивая ресницами, жадно расширяя глаза.

Самгин, усмехаясь, вспомнил цитату Макарова из статьи Федорова.

— Все — для вас! — сказал он. — Все это вызвано «не тяжелым, но губительным господством женщин», — гордись!

Но она не обратила внимания на эти слова. Опьяняемая непрерывностью движения, обилием и разнообразием людей, криками, треском колес по булыжнику мостовой, грохотом железа, скрипом дерева, она сама говорила фразы, не совсем обыкновенные в ее устах. Нашла, что город только красивая обложка книги, содержание которой — ярмарка, и что жизнь становится величественной, когда видишь, как работают тысячи людей.

Это она сказала на Сибирской пристани, где муравьиные вереницы широкоплечих грузчиков опустошали трюмы барок и пароходов, складывали на берегу высокие горы хлопка, кож, сушеной рыбы, штучного железа, мешков риса, изюма, катили бочки цемента, селедков, вина, керосина, машинных масел. Тут шум работы был еще более разнообразен и оглушитель, но преобладал над ним все-таки командующий голос человека.

— Какие силачи, — удивлялась Варвара, глядя на работу грузчиков. — Слышишь? Поют. Подойдем ближе.

Самгин охотно пошел; он впервые услышал, что унылую «Дубинушку» можно петь в таком бойком, задорном темпе. Пела ее артель,

выгружавшая из трюма баржи соду «Любимова и Сольвэ». На палубе в два ряда стояло десять человек, они быстро перебирали в руках две веревки, спущенные в трюм, а из трюма легко, точно пустые, выкатывались бочки; что они были тяжелы, об этом говорило напряжение, с которым двое грузчиков, подхватив бочку и согнувшись, катили ее по палубе к сходням, на берег.

Запевали «Дубинушку» двое: один — коренастый, в красной, пропотевшей, изорванной рубахе без пояса, в растоптанных лаптях, с голыми выше локтей руками, точно покрытыми железной ржавчиной. Он пел высочайшим, резким тенором и, удивительно фокусно подсвистывая среди слов, притопывал ногою, играл всем телом, а железными руками играл на тугой веревке, точно на гусях, а пел, не стесняясь выбором слов:

Эх, ребята, знай — кати...

Варвара спряталась за спину Самгина и смотрела через плечо его.

— Эх, дубинушка, ухнем! — согласно и весело подхватывали грузчики частым говорком, но раньше, чем они успевали допеть, другой запевала, высокий, лысый, с черной бородой, в жилете, но без рубахи, гулким басом заглушал припев, командуя:

Эй, ребята, дергай ловко,
Чтоб не ёрзала веревка...
Эх, дубинушка...

Это было гораздо более похоже на игру, чем на работу, и хотя в пыльном воздухе, как бы состязаясь силою, хлестали волны разнообразнейших звуков, бодрое пение грузчиков, вторгаясь в хаотический шум, вносило в него свой, задорный ритм. Еще недавно, на постройке железной дороги, Клим слышал «Дубинушку»; там ее пели лениво, унывно, для отдыха, а здесь бодрый ритм звучит, властно командуя, знакомые слова кажутся новыми и, почему-то, возбуждают тревожное чувство. Задумавшись над этим, Самгин вдруг вспомнил Дьякона, его цитату из Лактанция и утешительно сообразил:

— Те же слова, но иначе произнесены. И—только. Слова не могут ничего изменить.

За баржею распласталась под жарким солнцем синеватая Волга, дальше — золотисто блестела песчаная отмель, река оглаживала ее; зеленел кустарник, наклоняясь к ласковой воде, а люди на палубе точно играли в двадцать рук на двух туго натянутых струнах, чудесно богатыми звуками.

— Шабаш-аш! — заревел кто-то с берега.

Грузчики выпустили веревки из рук, несколько человек по звериному мягко свалилось на палубу, другие пошли на берег. Высокий, скуластый парень с длинными волосами, подвязанными мочалом, поровнялся с Климом, непочтительно осмотрел его с головы до ног и спросил:

— Папироску, барин, дашь, что ли?

Черными пальцами он взял из портсигара две папиросы, одну сунул в рот, другую — за ухо, но рядом с ним встал тенористый запевало и оттолкнул его движением плеча.

— Папиросу выклянчил? — спросил он и, ловко вытащив папиросу из-за уха парня, сунул ее под свои рыжие усы, в угол рта; поддернул штаны, шитые из мешка, уперся ладонями в бедра и, стоя фертом, стал рассматривать Самгина, неестественно выкатив белесые насмешливые глаза. Лицо у него было грубое, солдатское, ворот рубахи надорван и, распахнувшись, она обнажала его грудь, такую же полосатую от пыли и пота, как лицо его.

Самгин догадался, что перед ним человек, который любит пошутить, шутит он, конечно, грубо, даже—зло, и вот сейчас скажет или сделает что-нибудь нехорошее. Догадка подтверждалась тем, что грузчики, торопливо окружая запевалу, ожидающе, с улыбками заглядывали в его усатое лицо, а он, видимо, придумывая что-то, мял папиросу губами, шаркал по земле мохнатым лаптем и пылил на ботинки Самгина. Но тяжело подошел чернобородый лысый и сказал строгим басом:

— Опять, Михайло, озорничать норовишь? Опять скандалу захотелось?

Запевало в красной рубахе ловко и высоко подплюнул папиросу, поймал ее на ладонь и пошел прочь, вслед чернобородому, за ними гуськом двинулись все остальные, кто-то сказал с сожалением:

— Помиловал... эх!

Вся эта сцена заняла минуту, но Самгин уже знал, что она останется в памяти его надолго. Он со стыдом чувствовал, что испугался человека в красной рубахе, смотрел в лицо его, глупо улыбаясь, и вообще вел себя недостойно. Варвара, разумеется, заметила это. И, ведя ее под руку сквозь трудовую суету, слыша крики: «Берегись!», ныряя под морды усталых лошадей, Самгин бормотал:

— Что общего между мною...

— Берегись!

— Между нами, — поправился он, — и этими? За нами — несколько поколений людей, воспитанных всею сложностью культурной жизни...

Он во время понял, что слова его звучат и виновато, и озлобленно, понял, что они способны вызвать еще более озлобленные слова.

— Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями...

Нет, говорилось все не то, что нужно было сказать для Варвары.

— Общество, построенное на таких культурно различных единицах, не может быть прочным. Десять миллионов негров Северной Америки рано из поздно дадут себя знать.

Тут Варвара выручила его:

— Страшно хочу пить, — сказала она, — идем скорее!

И через несколько шагов снова начала восхищаться:

— Как удивительно они пели! И — какая ловкость, сила...

Самгин ласково и почти с благодарностью к ней заметил:

— Вот видишь: труд грузчиков вовсе не так уж тяжел, как об этом принято думать.

Утром сели на пароход, удобный, как гостиница, и поплыли встречу караванам барж, обгоняя парусные рыжие «косоуши», распугивая увертливые лодки рыбаков. С берегов, из богатых сел доплывали звуки гармоника, пестрые группы баб любовались парходом, кричали дети, прыгая в воде на отмелях. В третьем классе, на корме парохода тоже играли, пели. Варвара нашла, что Волга действительно красива и не даром воспета она в сотнях песен, а Самгин рассказывал ей, как отец учил его читать:

Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой?

— Но, как видишь, не стонут, а — играют на гармониках, грызут семечки подсолнухов, одеты ярко.

— Сегодня воскресенье, — напомнила Варвара, но сейчас же и торопливо сказала: — Разумеется, — я согласна: страдания народа преувеличены Некрасовым.

В торопливости ее слов было что-то подозрительное, как будто скрывалась боязнь не согласиться или невозможность согласиться. С непонятной улыбкой в широко открытых глазах, она говорила:

— Я, ведь, никогда не чувствовала, что есть Россия, кроме Москвы. Конечно, учила географию, но — что же география? Каталог вещей, ненужных мне. А теперь, вот, вижу, что существует огромная Россия, и ты прав: плохое в ней преувеличивают нарочно, из соображений политических.

Самгин не помнил, говорил ли он это, но ласково улыбнулся ей.

— Даже художники — Левитан, Нестеров — пишут ее не такой яркой и цветистой, как она есть.

— Да, это мои мысли, — подумал Самгин. Он тоже чувствовал, что обогащается; дни и ночи награждали его невиданным, неизведанным, многое удивляло, и все вместе требовало порядка, все нужно было прибрать и уложить в «систему фраз», так, чтоб оно не беспокоило. Казалось, что Варвара удачно помогает ему в этом.

И всего более удивительно было то, что Варвара, такая покорная, умеренная во всем, любящая серьезно, но не навязчиво, становится для него милее с каждым днем. Милее не только потому, что с нею удобно; но уже до того милее, что она возбуждает в нем желание быть приятным ей, нежным с нею. Он вспоминал, что Лидия ни на минуту не будила в нем таких желаний.

Ему уже хотелось сказать Варваре какое-то необыкновенное и решительное слово, которое еще более и окончательно приблизило бы ее к нему. Такого слова Самгин не находил. Может быть, оно было близко, но не светилось, засыпанное множеством других слов.

— Это и есть «Девять фут».

Взяв рупор, он закричал на берег.

— Эй, казак! Беги скоро на кордон, скажи, «Ловца» гнали бы, Трифонов просит.

— И без рупора слышно, — ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором:

— А ты, беги, знай!

— Сколько дашь?—спросил казак, откусив хлеба.

— Целковый.

— Четвертную, — сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз.

— Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь.—Это он двадцать пять рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу! Вот как!

И снова, приставив рупор ко рту, он точно выстрелил:

— Три!

— Не пойду, — сказал человек, воткнув нож в арбуз.

— И — не пойдет!—подтвердил Трифонов вполголоса. — Казак, они тут все воры, дешево живут, рыбу воруют из чужих сетей. Пять!—крикнул он.

— Не пойду, — повторил казак и, раскромсав арбуз на две половинки, сунул голые ноги в море, как под стол.

— Народ здесь, я вам скажу, чорт его знает какой,—объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор.—Бритолобые азиаты работать не умеют, наши—не хотят. Эй, казак! Трифонов я,— не узнал?

— Ну, кто тебя не знает, Василь Васильич, — ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот.

Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака, рулевой добродушно улыбался, вертя колесом; он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его; в машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные, стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки.

Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как эта ослепительно блестящая пустота, в которой все казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно несхожи. Но казалось, что астраханец любит упрямым казаком так же, как москвич восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сома.

— Что ж ты, зверячья морда, не идешь? — уже почти дружелюбно спрашивал он.

— Не охота угодить тебе, Василь Васильич, — равнодушно ответил казак, швырнул опустошенную половину арбуза в море, сполз

к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою, точно скатертью.

— Варвара хорошо заметила: он над морем, как за столом,— соображал Самгин. — И, конечно, вот на таких, как этот, как мужик, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик Сибирской пристани,— именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще на людей, которые стали петь печальную «Дубинушку» в новом, задорном темпе.

Трифонов, поставив клетчатую ножку на борт, все еще препирался с казаком:

— Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть!

Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил:

— Ивана Калмыкова ищи, это я и буду.

— Не боится, — объяснил Трифонов Варваре. — Они, тут, никого не боятся.

Из-за пологого мыса, красиво облегая его, вывернулась ярко-зеленая паровая лодка.

— Вот она, «Казачка», — радостно закричал Трифонов и объявил: — А, уж на промысел ко мне — опоздали!

В ночь, когда паровая шкуна вышла в Каспий, и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле,—Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синем и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый ущербленной луны. Море серебристо-зеленого цвета так же пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шкуна плыла по неширокой, серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая ее в бесконечную мглу. Был слышен глуховатый, равномерный звук, это, разумеется, винт взбалтывает воду, но можно было думать, что шкуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище.

Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый, страшок, и его тревожат наивные, детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важными. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти, и что шкуна не двигается, а взвешена в пустоте и только дрожит.

Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался, хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг — дно воздушного мешка; по бортам темной шкуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью—небо, не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудное звездами. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем.

— Это и есть «Девять фут».

Взяв рупор, он закричал на берег.

— Эй, казак! Беги скоро на кордон, скажи, «Ловца» гнали бы, Трифонов просит.

— И без рупора слышно, — ответил человек, держа в руке ломоть хлеба и наблюдая, как течение подбивает баркас ближе к нему. Трифонов грозно взмахнул рупором:

— А ты, беги, знай!

— Сколько дашь?—спросил казак, откусив хлеба.

— Целковый.

— Четвертную, — сказал человек, не повышая голоса, и начал жевать, держа в одной руке нож, другой подкатывая к себе арбуз.

— Слышали? — спросил Трифонов, подмигивая Варваре и усмехаясь.—Это он двадцать пять рублей желает, а кордон тут, за холмами, версты полторы ходу! Вот как!

И снова, приставив рупор ко рту, он точно выстрелил:

— Три!

— Не пойду, — сказал человек, воткнув нож в арбуз.

— И — не пойдет!—подтвердил Трифонов вполголоса. — Казак, они тут все воры, дешево живут, рыбу воруют из чужих сетей. Пять!—крикнул он.

— Не пойду, — повторил казак и, раскромсав арбуз на две половинки, сунул голые ноги в море, как под стол.

— Народ здесь, я вам скажу, чорт его знает какой,—объяснял Трифонов, счастливо улыбаясь, крутя в руке рупор.—Бритолобые азиаты работать не умеют, наши—не хотят. Эй, казак! Трифонов я,— не узнал?

— Ну, кто тебя не знает, Василь Васильич, — ответил казак, выковыривая ножом куски арбуза и вкладывая их в свой волосатый рот.

Варвара сидела на борту, заинтересованно разглядывая казака, рулевой добродушно улыбался, вертя колесом; он уже поставил баркас носом на мель и заботился, чтоб течение не сорвало его; в машине ругались два голоса, стучали молотки, шипел и фыркал пар. На взморье, гладко отшлифованном солнцем и тишиною, точно нарисованные, стояли баржи, сновали, как жуки, мелкие суда, мухами по стеклу ползали лодки.

Клим Самгин, разморенный жарою и чувствуя, как эта ослепительно блестящая пустота, в которой все казалось маленьким, ничтожным, наполняет его безволием, лениво думал, что в кругленьком, неунывающем Трифонове есть что-то общее с изломанным Лютовым, хотя внешне они совершенно несхожи. Но казалось, что астраханец любит упрямым казаком так же, как москвич восхищался жуликоватым ловцом несуществующего сома.

— Что ж ты, зверячья морда, не идешь? — уже почти дружелюбно спрашивал он.

— Не охота угодить тебе, Василь Васильич, — равнодушно ответил казак, швырнул опустошенную половину арбуза в море, сполз

к воде, наклонился, зачерпнул горстями и вытер бородатое лицо свое водою, точно скатертью.

— Варвара хорошо заметила: он над морем, как за столом,— соображал Самгин. — И, конечно, вот на таких, как этот, как мужик, который необыкновенно грыз орехи, и грузчик Сибирской пристани,— именно на таких рассчитывают революционеры. И вообще на людей, которые стали петь печальную «Дубинушку» в новом, задорном темпе.

Трифонов, поставив клетчатую ножку на борт, все еще препирался с казаком:

— Я тебя, мужчина, узнаю, кто ты есть!

Доедая вторую половину арбуза, казак равнодушно ответил:

— Ивана Калмыкова ищи, это я и буду.

— Не боится, — объяснил Трифонов Варваре. — Они, тут, никого не боятся.

Из-за пологого мыса, красиво облегая его, вывернулась ярко-зеленая паровая лодка.

— Вот она, «Казачка», — радостно закричал Трифонов и объявил: — А, уж на промысел ко мне — опоздали!

В ночь, когда паровая шкуна вышла в Каспий, и пологие берега калмыцкой степи растаяли в лунной мгле,— Самгин почувствовал себя необыкновенно взволнованным. Окружающее было сказочно грустно, исполнено необыкновенной серьезности. В небе, очень густо синем и почти без звезд, неподвижно стоял слишком светлый диск ущербленной луны. Море серебристо-зеленого цвета так же пустынно, незыблемо и беззвучно, как небо, и можно было думать, что оно уже достигло совершенного покоя, к чему и стремились все его бури. Шкуна плыла по неширокой, серебряной тропе, но казалось, что она стоит, потому что тропа двигалась вместе с нею, увлекая ее в бесконечную мглу. Был слышен глуховатый, равномерный звук, это, разумеется, винт взбалтывает воду, но можно было думать, что шкуну преследует и настигает, прячась под водою, какое-то чудовище.

Было стыдно сознаться, но Самгин чувствовал, что им овладевает детский, давно забытый, страшок, и его тревожат наивные, детские вопросы, которые вдруг стали необыкновенно важными. Представлялось, что он попал в какой-то прозрачный мешок, откуда никогда уже не сможет вылезти; и что шкуна не движется, а взвешена в пустоте и только дрожит.

Самгин, снимая и надевая очки, оглядывался, хотелось увидеть пароход, судно рыбаков, лодку или хотя бы птицу, вообще что-нибудь от земли. Но был только совершенно гладкий, серебристо-зеленый круг — дно воздушного мешка; по бортам темной шкуны сверкала светлая полоса, и над этой огромной плоскостью — небо, не так глубоко вогнутое, как над землею, и скудное звездами. Самгин ощутил необходимость заговорить, заполнить словами пустоту, развернувшуюся вокруг него и в нем.

Варвара сидела у борта, держась руками за перила, упираясь на руки подбородком, голова ее дрожала мелкой дрожью, непокрытые волосы шевелились. Клим стоял рядом с нею, вполголоса вспоминая стихи о море, говорить громко было неловко, хотя все пассажиры давно уже пошли спать. Стихов он знал немного, они скоро иссякли, пришлось говорить прозой.

— Неверно, что природа не терпит пустоты, существует безвоздушное пространство...

Стихи Варвара выслушала молча, но тут, не шевелясь, попросила тихонько:

— Ой, Клим, — пожалуйста, не надо ничего... умного!

Лицо ее, освещенное луною, было неестественно бледно, а глаза фосфорически и неприятно, точно у кошки, блестели. Самгин замолчал, несколько обиженный, но через минуту предложил:

— А — не пора спать?

— Нет, — сказала она, умоляюще взглянув на него. — Я, право, не могу уйти отсюда. Так безумно хорошо.

— Устанешь.

— Сядь рядом со мною.

Он исполнил ее желание, обнял ее талию, спросил шопотом:

— О чем ты думаешь?

Так же шопотом она ответила:

— Я не думаю.

— Дремлешь?

— И не дремлю.

Она не желала говорить. Пощипывая бородку, Самгин смотрел на ее профиль, четко выветренный луною, и у него разгорались мысли, враждебные ей.

— Я стал слишком мягок с нею, и вот она уже небрежна со мною. Необходимо быть строже. Необходимо овладеть ею с такою полнотою, чтобы всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать все, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину так, чтоб все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему.

Эта мысль очень понравилась Самгину, он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острой в те минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жестки, но приятно холодные, точно шелк. На виске, около уха, содрогалась узорная жилка; днем голубая, она в сумраке ночи темнела, и думалось, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновиденья, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна, ссертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу, спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что полуоткрытые

губы ее улыбаются хитровато, и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порою лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить:

— Что ты думаешь?

Его вслывал вопрос: почему он не может испытать ощущений Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины, радость, которой он же насытил ее. Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре:

— Любовь была бы совершенней, богаче, если б мужчина чувствовал одновременно и за себя и за женщину, если б то, что он дает женщине, отражалось в нем.

— Не отражается?

Но он видел, что слова его не поняты, и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара — слишком сдержанна и осторожна, даже, пожалуй, туповата.

— А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся, но...

Через день он снова спросил:

— Скажи, ты хотела бы чувствовать то, что чувствую я?

— О, разумеется,—ответила она очень быстро, уверенно, но он ей не поверил, подробно разъяснил, о чем говорит, и это удивило Варвару, она даже как-то выпрямилась, вытянулась.

— Но, ведь, я тебя чувствую! — тихо воскликнула она, и ему показалось, что она сконфузилась.

— Но — как, что чувствуешь?

— Я не умею сказать. Я думаю, что так... как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это. Но тут есть такие минуты... не физиологические.

И уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила:

— Пожалуйста, не говори об этом, милый! Тут я боюсь слов.

Клим приласкал ее. Но он был огорчен; нет, Варвара все-таки не поняла его.

— И как нелепо сказала она: «будто рожаю!».

Вскоре после того Клим едва не поссорился с нею. Они сошли на берег в Петровске и ехали на лошадях из Владикавказа в Тифлис Дарьяльским ущельем. Поднимались на Гудаур, высшую точку перевала через горный хребет, но и горы тоже поднимались все выше и выше. Создавалось впечатление мрачного обмана, как будто лошади тяжело шагали не вверх, а вниз, в бесконечно глубокую щель между гор, наполненную мглой, синеватой, как дым. Из этой щели, все более узкой и мрачной, в небо, стиснутое вершинами гор, вздымалась ночь. Небо — капризно изогнутая полоса голубоватого воздуха; воздух, темнея, густеет, и в густоте его разгораются незнакомые звезды. Сзади,

с правой стороны, возвышалась белая чалма Казбека, и оттуда в затылок Клима веяло сыроватой свежестью, сгущенным безмолвием. Каменную тишину почти не нарушал дробный стук лошадиных копыт и угрюмая воркотня возницы татарина. Глубоко внизу зловеще бормотал Терек, это был звук странный, как будто мощные камни, сжимаемая ущелье, терлись друг о друга и скрипели.

Величественно безобразные нагромождения камня раздражали Самгина своей ненужностью, бесстыдным хвастовством, бесплодной силою своей.

— Встряхнуть бы все это, чтоб рассыпалось в пыль, — бормотал он, глядя в ощеренные пасти камней, в трещины отвесной горы.

Варвара подавленно замолчала тотчас же, как только от'ехали от станции Коби. Она сидела, спрятав голову в плечи, лицо ее, вытянувшись, стало более острым. Она как-будто постарела, думает о страшном и с таким напряжением, с каким вспоминают давно забытое, но такое, что необходимо сейчас же вспомнить. Клим ловил ее взгляд и видел в потемневших глазах сосредоточенный, сердитый блеск, а было бы естественней видеть испуг или изумление.

— Помнишь Гончарова? — спросил он. — «Фрегат Палладу»?

— Да.

— Там есть место: Гончаров вышел на палубу, посмотрел на взволнованное море и нашел его бессмысленным, безобразным. Помнишь?

— Да, — сказала Варвара. — Впрочем, нет. Я не читал эту книгу. Как ты можешь вспоминать здесь Гончарова?

— Хороший писатель.

— Я его не люблю, — резко сказала Варвара. — И страшное никогда не безобразно, это неверно.

Клим обрадовался, что она говорит, но был удивлен ее тоном. Помолчав, он продолжал уже с намерением раздражить ее, оторвать от непонятных ему дум.

— Какая-то дорога в ад. Это должен был видеть Данте. Ты замечаешь, что мы, поднимаясь, как-будто опускаемся?

— Да, да, — откликнулась она с непонятной торопливостью. — Но — хочется молчать. Что тут скажешь? — спросила она, оглядываясь и вздрогнув. — Поэты говорили... но и они тоже, ведь, ничего не могли сказать.

— Именно, — согласился Клим. — У Лермонтова даже смешно:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор, —

как Тарас, а?

Варвара, опустив голову, отодвинулась от него, а он продолжал, усмехаясь:

— Странно действует природа на тебя. Вероятно, вот так подчинялся ей первобытный человек. Что ты думаешь?

— Право — не знаю, — тихо и виновато ответила она. — Я — без слов.

— Без слов, без форм нельзя думать.

— Я просто — дышу, — сказала Варвара. — Дышу. Кажется, что я никогда еще не дышала так глубоко. Ты очень... странно сказал: поднимаясь, мы спускаемся. Так... зло!

Темнота, уже черная, дышала неживым холодком, лишенным запахов. Самгин сердито заметил:

— У нас в России даже снег пахнет.

— Соленьким, — прибавила Варвара, точно сквозь сон.

Поднялись на Гудаур, молча ели шашлык, пили густое лиловое вино. Потом в комнате, отведенной им, Варвара, полураздевшись, устало села на постель и сказала, глядя в черное окно:

— Я видела все это. Не помню когда, наверное — маленькой и во сне. Я шла вверх, и все поднималось вверх, но — быстрее меня, и я чувствовала, что опускаюсь, падаю. Это был такой горький ужас, Клим, право же, милый... так ужасно. И вот, сегодня...

Она неожиданно и громко всхлипнула.

— А ты — сердисься!

Когда Самгин начал утешать ее, она шептала, стирая слезы с лица быстрыми жестами кошки.

— Я — понимаю: ты умный, тебя раздражает, что я не умею рассказывать. Но — не могу я! Нет же таких слов! Мне теперь кажется, что я видела этот сон не один раз, а — часто. Еще до рождения видела, — сказала она, уже улыбаясь. — Даже до потопа.

И, обняв его, спросила:

— Ты никогда не чувствовал себя допотопным?

— Нет еще, — сказал Самгин, великодушно лаская ее. — А вот устала ты. И начиталась декадентских стишков.

Помирились, и Самгину показалось, что эта сцена плотнее приблизила Варвару к нему, а на другой день, рано утром, спускаясь в долину Арагвы, пышно одетую зеленью, Клим даже нашел нужным сказать Варваре:

— Вчера я вел себя несколько капризно.

Но тотчас почувствовал, что говорить не следует. Варвара, прижавшись, держась за плечо его, изумленно смотрела вниз, на золотую реку, на мягкие горы, одетые густейшей зеленой овчиной, на стадо овец, серыми шариками катившихся по горе.

— Какая красота, — восторженно шептала она. — Какая милая красота! Можно ли было ждать после вчера? Смотри: женщина с ребенком на осле, и человек ведет осла, — но, ведь это — богоматерь, Иосиф! Клим, дорогой мой, это удивительно!

Он усмехался, слушая наивные восторги, и опасливо смотрел через очки вниз. Спуск был извилист, крут, спускались на тормозах, колеса отвратительно скрежетали по щебню. Иногда серая лента дороги изгибалась почти под прямым углом; чернородый кучер туго натя-

гивал вожжи, экипаж наклонялся в сторону обрыва, усеянного острыми зубами каких-то необыкновенных камней. Это нервировало, и Самгин несколько раз пожалел о том, что сегодня Варвара разговорчива.

— Здесь где-то Пушкин любовался Арагвой, — говорила она. — Помнишь: «На холмах Грузии»...

— «Тобой, одной тобой», — пробормотал он.

Варвара крепко сжала его руку.

— Непостижимо! Как много может вложить поэт в три простые слова!

— Да, — сказал Самгин.

Экипаж благополучно скатился к станции Млеты...

Затиснутый в щель между гор, каменный, серый Тифлис, с его бесчисленными балконами, которые прилеплены к домам как бы руками детей и похожи на птичьи клетки; мутная, бешеная Кура; церкви суровой архитектуры, — все это не понравилось Самгину. Черноволосые люди, настроенные почему-то крикливо и празднично, рассматривали Варвару масляными глазами с бесцеремонным любопытством, а по-русски они говорили языком армянских анекдотов. Эти люди, бегавшие по раскаленным улицам, как тараканы, восхищали Варвару, она их находила красивыми, добрыми, а Самгин сказал, что он предпочел бы видеть на границе государства не грузин, армян и вообще каких-то незнакомцев с физиономиями разбойников, а — русских мужиков. Сказал он это лишь потому, что хотел охладить неиссякаемые восторги Варвары, они раздражали его, он даже спросил иронически:

— Ты, кажется, заболела слепотою Трифонова?

У него незаметно сложилось странное впечатление: в России бесчисленно много лишних людей, которые не знают, что им делать, а может быть, не хотят ничего делать. Они сидят и лежат на пароходных пристанях, на станциях железных дорог, сидят на берегах рек и над морем, как за столом, и все они чего-то ждут. А тех людей, разнообразным трудом которых он восхищался на Всероссийской выставке, тех не было видно.

Самгин пробовал передать это впечатление Варваре, но она стала совершенно глуха к его речам, и казалось, что она живет в трепетной радости птенца, который, обрстая перьями, чувствует, что и он тоже скоро начнет летать.

Клим Самгин тихо обрадовался лишь тогда, когда кочевая жизнь кончилась, и возвратились в Москву. Разнотонность его настроения с настроением Варвары в Москве не обнаруживалась так часто и открыто как во время путешествия: оба они занялись житейским делом, одинаково приятным для них. Из дома на дворе перебрались в дом окнами на улицу, во второй этаж отремонтированной для них уютной квартиры. Варвара не очень крикливо обставила ее новой мебелью, Клим взял себе все старое, накопленное дядей Хрисанфом, и устроил солидный кабинет. По протекции Варавки он приписался в помощники к

богатому адвокату, юрисконсульту одного из страховых обществ. Варвара поручил ему ходатайства в Москве по его бесчисленным делам.

Вскоре явилась Любаша Сомова; получив разрешение жить в Москве, она снова заняла комнату во флигеле. Она немножко похудела и как будто выросла, ее голубые глаза смотрели на людей еще более доброжелательно; Татьяна Гогина сказала Варваре:

— Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал.

Как раньше, Любаша начала устраивать вечеринки, лотереи в пользу ссыльных, шила им белье, вязала носки, шарфы; жила она переводами на русский язык каких-то романов, пыталась понять стихи декадентов, но говорила, вздыхая:

— Трудно! Артишоки, декаденты и устрицы—не по вкусу мне.

Вечерами Варвара рассказывала ей и Гогиным о «многобалконном» Тифлисе, о могиле Грибоедова, угрюмых буйволах, игрушечных осликах торговцев древесным углем, о каких-то необыкновенно красивых людях, забавных сценах. Самгин, прислушиваясь, думал:

— Сочиняет. Все это не так.

И еще раз убеждался в том, как много люди выдумывают, как они, обманывая себя и других, прикрашивают жизнь. Когда Любаша, ухитрившаяся побывать в нескольких городах провинции, тоже начала говорить о росте революционного настроения среди учащейся молодежи, об успехе пропаганды марксизма, попытках организации рабочих кружков, он уже знал, что все это преувеличено, по крайней мере, на две трети. Он был уверен, что все человеческие выдумки взвешены в нем, как пыль в луче солнца.

Чувствуя потребность разгрузить себя от множества впечатлений, он снова начал записывать свои думы, но, исписав несколько страниц, увидел с искренним удивлением, что его рукою и пером пишет человек очень консервативных воззрений. Это открытие так смутило его, что он порвал записки.

Анфимьевна, взяв на себя роль домоправительницы, превратила флигель в подобие меблированных комнат, и там, кроме Любаши, поселились два студента, пожилая дама, корректорша, и господин Митрофанов, человек неопределенной профессии.

Анфимьевна сказала о нем:

— Места ищет и жену ждет.

В приплюнутом крышей окне мезонина, где засел дядя Миша, с вечера до поздней ночи горела неярко лампа под белым абажуром, но опаловое бельмо ее не беспокоило Самгина.

Место Анфимьевны на кухне занял красноносый, сухонький старичек повар, странно легкий, точно пустой внутри. Он говорил неестественно гулким голосом, лицо, украшенное мелкими усиками, напоминало мордочку кота. Он явился перед Варварой и Климом пьяный и сказал:

— Вы этим не беспокойтесь, я с юных лет пьян и в другом виде не помню, когда жил. А в этом—половине лучших московских кухонь известен.

Анфимьевна подтвердила:

— Повар он знаменитый и человек хороший, я его почти тридцать лет знаю.

Варвара, улыбаясь, спросила ее:

— Это он,—твой роман?

— Я не по романам жила, не по книжкам, а—по своей глупости,—неохотно проворчала Анфимьевна и предупредила: —Только ты при нем, Варя, не все говори; он царскую фамилию уважает и даже газету из Петербурга присылают ему. Чудак он.

Газета оказалась «Правительственным Вестником», а чудак—человеком очень тихим, с большим чувством собственного достоинства и любителем высокой политики. Самгин еще раз подумал, что, конечно, лучше бы жить без чудаков, без шероховатых и пестрых людей, после встречи с которыми в памяти остаются какие-то цветные пятна, нелепые улыбочки, анекдотические словечки. Ведь, вот, существует же Анфимьевна, могучая, как лошадь, она живет, ничем и никак не задевая. Она точно застыла в возрасте между шестым и седьмым десятком лет, не стареет, не теряет сил. О ней Самгин сказал Варваре:

— Уважаю людей, которые умеют бескорыстно вживаться в чужую жизнь, Это—истинные герои.

Он быстро сделался одним из тех очень заметных и даже уважаемых людей, которые, стоя в разрезе и, пожалуй, в центре различных общественных течений, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы со всеми группами, кружками, всем сочувствуют и даже, при случае, готовы оказать явные и тайные услуги, однако, не очень рискованного характера; услуги эти они оценивают всегда очень высоко. Его стройная фигура и сухое лицо с небольшой темной бородкой, его несильный, но внушительный голос, которым он всегда умел сказать слова, охлаждающие излишний пыл,—весь он казался человеком, который что-то знает, а может быть, знает все. Говорил немного, сдержанно и так, что слушатели чувствовали: хотя он и говорит слова не очень глубокой мудрости, но это потому, что другие слова его не для всех, а для избранных. За стеклами его очков холодно блестели голубовато-серые глаза, он смотрел прямо в лицо собеседника и умел придать взгляду своему нечто загадочное. Все говорили так много, что молчаливый человек был весьма заметен. Емкая память Самгина укрепляла за ним репутацию лица, широко осведомленного. Он считал, что эта репутация стоит ему недорого, его отношение к людям принимало характер все менее лестный для них, а роль покровителя выдумкам и заблуждениям людей очень увлекала Самгина. После наиболее удачных выступлений своих он даже чувствовал себя немножко Дьяволом.

А минутами ему казалось, что он чем-то руководит, что-то направляет в жизни огромного города, ведь каждый человек имеет право во-

образить себя одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи. На собраниях у Прейса, все более многолюдных и тревожных, он солидно говорил:

— Студенческое движение насквозь эмоционально, тут просто «кровь кипит, сил избыток». Но не следует упускать из вида, что тут скрыта серьезная опасность: романтизм народников как нельзя лучше отвечает настроению студенчества. И так как народники снова мечтают о терроре...—осторожно намекал он.

У Прейса все высказывалось осторожно, и почти все подтверждали мнения свои ссылками на Эдуарда Бернштейна. Самгин видел, что тут сходятся люди как будто родственные ему,—это делало их особенно неприятными. Стратонов и Тагильский не посещали Прейса. Берендеев бывал редко и вел себя, точно пьяный, который не понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей, и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебежал с места на место, как бы преследуя странную цель—посидеть на всех стульях. Изредка он, взволнованно хватаясь за голову:

— Нет, это—не так! Суть—не в этом:

Самгин знал, что Берендеевым организован религиозный кружок, и что в этом кружке немалую роль играет Диомидов.

Из новых людей около Прейса интересен был Змиев, высокий, худощавый человек, одетый в сюртучок необыкновенного фасона, с пухлым лицом сельской попадьи и теплым голосом няньки, рассказывающей сказку. Он очень любил отмечать «отрадные явления» русской жизни, почти непрерывно сосал мятные лепешки и убеждал всех, что «Россия просыпается». В трех шагах от него Самгин уже слышал холодноватый запах ментола. Змиев доказывал, что социализм победит только путем медленного просачивания в существующий строй, часто напоминал о своем личном знакомстве с Мильераном и восхищался мужеством, с которым тот первый указал, что социализм учение не революционное, а реформаторское.

— Вы—оптимист,—возражал ему большой толстогубый Тарасов, выдувая в как ф, грозя пальцем и разглядывая Змиева неподвижным, мутноватым взглядом темных глаз.—Что значит: Россия пробуждается? Ну, признаем, что у нас завелся еще двуглавый орел в лице двух социалистических, скажем, партий. Но—это не на земле, а под землей.

Возбуждаясь, он фыркал чаще, сильнее и начинал говорить по-ярославски певуче, но в то же время сильно окая.

— Ну, раздвоились: крестьянская, скажем, партия, рабочая партия, так! А которая же из них возьмет на себя защиту интересов нации, культуры, государственные интересы? У нас имперское великороссийское дело интеллигенцией не понято, и не заметно у нее желанья понять это. Нет, нам необходима третья партия, которая дала бы стране единоглавие, так сказать. А то, знаете, все орлы, но домашней птицы нет.

— Вот,—кричал Берендеев, вскакивая.—Нужна партия демократических реформ. Свобода слова, вероисповеданий.

Прейс молча и утвердительно кивал головою, а Змиев говорил, прижимая руки к груди:

— Да я же не отрицаю участия социалистов в оппозиционном движении!

Самгину нравилось дразнить и пугать этих людей. Коротенькими фразами он говорил им все, что знал о рабочем движении, подчеркивая его анархизм, рассказывал о грузчиках, казаках и еще каких-то выдуманных им людях, в которых уже чувствуется пробуждение классово-ненависти. Этой ненависти он невольно придавал зоологическую окраску, но уже не выдумывая ее, а почерпая в себе самом. Таких неистощимых говорунов, как Змиев и Тарасов, Самгин встречал немало, они были понятны и неинтересны ему, а остальные гости Прейса вели себя сдержанно, как люди с небольшими средствами в магазине дорогих вещей. Они присматривались, слушали, спрашивали, но высказывались редко, осторожно и неопределенно. Среди них особенно замечтен был молчаливостью высокий, тощий Редозубов, человек с длинным лицом, скрытым в седоватой бороде, которая, начиная где-то за ушами, росла из-под глаз, на шее и все-таки казалась фальшивой, так же, как прямые волосы, гладко лежавшие на его черепе, вызывали впечатление парика.

Самгин знал, что это автор очень гуманного рассказа «для народа», и что рассказ этот критики единодушно хвалили. Сидел Редозубов всегда в позе Саваофа на престоле, хмуро посматривал на всех из-под густых бровей и порою иронически кричал, как бы предваряя, что сейчас он заговорит. Но, крикнув, продолжал молчать. Было в нем что-то отдаленно знакомое Самгину, он долго и напряженно вспоминал: не видел ли он когда-то этого человека? И вдруг какой-то жест Редозубова восстановил в памяти его квартиру писателя Катина и одетого мужиком проповедника-толстовца, его холодное лицо, осуждающие глаза. Но не верилось, чтоб человек мог так постареть за десяток лет, и, желая проверить себя, Самгин спросил:

— Извините,—вы знакомы с Катиным?

Редозубов медленно повернул шею, пошевелил бровями.

— Был. А—что?

— Мне кажется, я встречал вас у него.

— Едва ли.

— Лет десять, двенадцать тому назад.

— Ну... может быть.

Редозубов невежливо отвернулся в сторону, но, помолчав, сказал:

— Тогда я не знал еще, что Катин—пустой человек. И что он любит не народ, а—писать о нем любит. Вообще,—писатели наши...

Редозубов махнул рукою, крепко потер ладонью колено и проормотал:

— Ницшеанцы. Декаденты. Блудословы.

Пояркову, который, руководя кружками студентов, изучавших Маркса, жил, сердито нахмурясь, и двигал челюстями так, как будто жевал что-то твердое, ему Самгин говорил, что студенчество буржуазно и не может быть иным.

— Знаю, — угрюмо отвечал Поярков, — но необходимы люди, способные вести рабочие кружки.

Поярков работал в каком-то частном архиве, и по тому, как бедно одевался он, по истощенному лицу его можно было заключить, что работа оплачивается плохо. Он часто и не надолго забегал к Любаше, говорил с нею командующим тоном, почти всегда куда-то посылал ее, Любаша покорно исполняла его поручения и за глаза называла его:

— Коловорот.

К Самгину Поярков относился небрежно, грубовато, и когда Любаша сообщила, что Поярков арестован в Коломне, это не опечалило Самгина.

Вождем студенческого движения он внушал:

— Не думаю, что вы добьетесь чего-нибудь, но совершенно ясно, что огромное количество ценных сил тратятся, не принося стране никакой пользы. А Россия прежде всего нуждается в десятках тысяч научно квалифицированной интеллигенции...

Но, говоря так, он, при помощи Любаша, помогал печатать и распространять студенческие воззвания и разные бумажки.

Вечерами он выпрашивал у Любаша новости, иногда заходил к ней и нередко встречал там безмолвную Никонову, но чаще дядю Мишу, носившего фамилию Суслов. Этот маленький человек интересовал и тревожил его тихим, но неодолимым упрямством своих мнений и чиновничьей аккуратностью жизни, аккуратностью, в которой было что-то меланхолическое. Суслов подробно и с некрикливой, но упрекающей горячностью рассказывал о страданиях революционной интеллигенции в тюрьмах, ссылке, на каторге, знал он все это прекрасно; говорил он о необходимости борьбы, самопожертвования и всегда говорил, склонив голову к правому плечу, как будто за плечом его стоял кто-то невидимый и, не спеша, подсказывал ему суровые слова. Но из его рассказов Самгин выносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в борьбе за свободу народа. Клим очень хотел понять, что делает этот человек. Любаша на вопрос, обращенный к ней, ответила сухо:

— Делает то, что следует делать. Но об этом не спрашивают, — прибавила она.

Исполняя поручения патрона, Самгин часто ездил по Московской области и убеждался, что в нескольких десятках верст от огромного, бурно кипевшего котла Москвы, в маленьких уездных городах течет, не торопясь, другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так свирепо

жадны и глупы, как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждебное отношение ко всяким новшествам, в сущности, здоровое недоверие людей осторожных. У них есть свой, издревле налаженный распорядок жизни; их предрассудки — это старые истины, живучесть которых оправдана условиями быта, непосредственной близостью к темной деревне. Люди эти любят вкусно поесть, хорошо выпить, в их среде нет такого множества нервно издерганных, как в столицах, им совершенно чужда и смешна путанная, надуманная игра в любовь к женщине. Книг они не читают, и разум их не развращен спорами о том, кто прав: Ницше или Толстой, Маркс или Бернштейн. Чиновники, управляющие ими, крикливы по дурной привычке, но по существу такие же благодушные люди, как сами обыватели. Невозможно представить, чтоб миллионы людей пошли за теми, кто, мечтая о всеобщем счастье, хочет разрушить все, что уже есть, ради того, что едва ли возможно.

Самгин беседовал с ямщиками, с крестьянами, сидя на крылечках почтовых станций в ожидании, когда перепрягут лошадей. Мужики, конечно, жаловались на малоземелье, на податную тяготу, на фабрики, которые «портят народ», жаловались они почти теми же словами, как в рассказах мужиколобивых писателей. Самгин привык не верить писателям, не верил и мужикам. Он видел, что жалуются тоже по привычке и потому что хотят получить на водку. Но на водку он не давал, а, когда просили, усмехался, вспоминая Ваську Калужанина, который выпросил у Христа неразменный рубль. Деревня вообще не нравилась ему. Не нравились хитрые мужики, сухощавые, выгоревшие на солнце, вымороженные зимними стужами и все-таки нечистоплотные. Нередко Самгин чувствовал, что они рассматривают его, как нечто непонятное и ненужное.

Неприятно было тупое любопытство баб и девок, в их глазах он видел что-то овечье, животное или сосредоточенность полуумного, который хочет, но не может вспомнить забытое. Тугоухие старики со слезящимися глазами, отупевшие от старости беззубые, сердитые старухи, слишком независимые, даже дрезкие подростки, — все это не возбуждало симпатий к деревне, а многое казалось созданным беспечностью, ленью.

В общем, Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым дорогам, по берегам ленивых рек и перелесками. Мутно-голубые дали, синеватая мгла лесов, игра ветра колосьями хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи,—все это, вторгаясь в душу, умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы, кресты сельских храмов лучисто сияли над землей, и Самгин думал:

— Вот это — настоящая Русь, красивая, уютная земля простых людей.

Пейзаж портили красные массы и трубы фабрик. Вечером и по праздникам на дорогах встречались группы рабочих; в будни они были чумазы, растрепаны и злы, в праздники приодеты, почти всегда

пьяны или выпивши шли они с гармониями, с песням, как рекрута, и тогда фабрики принимали сходство с казармами. Однажды кучка таких веселых ребят, выстроившись поперек дороги, крикнула ямщику:

— Сворачивай!

Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то бородастый человек, без фуражки, с ремешком на голове и бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину:

— Эх, ты, чиновник, всему горю виновник!

Но, все-таки не верилось, что и такие люди могут примкнуть к революционерам. Иногда лошади бежали с утра до вечера и не могли выбежать с бугроватой ладони московской земли. Земля казалась доброй, матерински мягко лелеющей человека. Спокойное молчание полей внушительно противоречило всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможности каких-то социальных катастроф. Из поездок Самгин возвращался уравновешенным. Но, уезжая, он принимал от Любаши книжки, брошюры и словесные поручения к сельским учителям и земским статистикам, одиноко затерянным в селах, среди темных мужиков, в маленьких городах среди стойких людей, брал — уверенный, что бумажками невозможно поджечь эту сыроватую жизнь.

Как-то вечерами, когда Самгины пили чай, явился господин Митрофанов с просьбою отсрочить ему платеж за квартиру.

— Надежда Анфимьевна никаких моих оправданий в расчет не принимает, и вот, обойдя ее, осмеливаюсь обратиться к вам, — сказал он.

Удовлетворив просьбу, Варвара предложила ему чаю, он благодарно и с достоинством сел ко столу, но через минуту встал и пошел по комнате, осматривая гравюры, держа руки в карманах брюк.

— Это — кто? — спросил он, указывая подбородком на портрет Шекспира, и затем сказал таким тоном, как будто Шекспир был личным его другом;

— Похож.

Посмотрев в кулак на Щедрина, он вздохнул:

— Внушительное лицо.

И, снова присаживаясь к столу, выговорил с новым вздохом:

— Да, «были когда-то и мы рысаками».

Этим он весьма развеселил хозяев, и Варвара начала расспрашивать о его литературных вкусах. Ровным, бесцветным голосом Митрофанов сообщил, что он очень любит:

— Жульнические романы, как, примерно, «Рокамболь», «Фиакр номер 43» или «Граф Монте-Кристо». А из русских писателей весьма увлекает граф Сальяс, особенно забавен его роман, «Граф Тятин-Балтийский», — вещь, как знаете, историческая. Хотя у меня к истории — равнодушие.

— Почему? — спросила Варвара, забавляясь.

— Да ведь, что же, знаете, я не вчера живу, а сегодня, и назначено мне завтра жить. У меня и без помощи книг от науки жизни череп гол...

Ему было лет сорок, на макушке его блестела солидная лысина, лысоваты были и виски. Лицо — широкое, с неясными глазами, и это все, что можно было сказать о его лице. Самгин вспомнил Дьякона, каким он был до того, пока не подстриг бороду. Митрофанов тоже обладал примелькавшейся маской сотен, а спокойный, бедный интонациями голос его звучал, как отдаленный шумок многих голосов.

— Хваленые писатели, в роде, например, Толстого, это, для меня — прозаические, без фантазии, — говорил он. — Что из того, что какой-то Иван Ильич захворал, да помер или госпожа Познышева мужу изменила? Обыкновенные случаи ничему не учат.

Варвара весело поблескивала глазами в сторону мужа, а он слушал гостя все более внимательно.

— Когда что-нибудь делается по нужде, так в этом радости не сыщешь. Покуда сапожник сапоги тачает — что же в нем интересного? А ежели он кого-нибудь убьет, да спрячется...

Митрофанов поднялся со стула и сказал:

— Извиняюсь, заговорился. Очень вам благодарен за отсрочку.

— Заходите иногда посидеть, — пригласил Самгин.

Поблагодарив еще раз, Митрофанов ушел.

— До чего он глуп! — смеясь воскликнула Варвара. Самгин промолчал.

Через несколько дней, тоже вечером, Митрофанов снова пришел и объяснил тоном старого знакомого:

— Вижу скромный огонек у вас, спросил горничную: чужих — нет? Нет. Ну, я и осмелился.

В этот вечер Самгины узнали, что Митрофанов Иван Петрович — сын купца, родился в городе Шуге, семь лет сидел в гимназии, кончил пять классов, а в шестом учиться не захотелось.

— Кстати, тут отец помер, мать была человек больной и, опасаясь, что я испорчусь, женила меня двадцати лет, через четыре года — овдовел, потом — снова женился и овдовел через семь лет.

Он тряхнул головою, как бы пробуя согнуть короткую шею, но шея не согнулась. Тогда, опустив глаза, он прибавил, со вздохом:

— Со второй женой в Орле жил, она орловская была. Там — чахоточных очень много. И — крапивы, все заборы крапивой обросли. Теперь у меня — третья; конечно, — не венчаны. Уехала в Томск, там у нее...

Прищурясь, он посмотрел в темный угол комнаты, казалось, — он напоминает, кто там, в Томске, у его жены. Припомнил:

— Брат.

Среднего роста, он был не толст, но кости у него широкие и одет он во все толстое. Руки тяжелые, неловкие, они прятались в карманы, под стол, как бы стыдясь широты и волосатости кистей. Оказалось,

что он изездил всю Россию от Астрахани до Архангельска и от Иркутска до Одессы, бывал на Кавказе, в Финляндии.

— Любите путешествовать? — спросил Самгин.

— Нет, я... места искал.

— Но, ведь, вы — зажиточный человек?

Митрофанов удивился:

— Какой же я зажиточный, если не могу в срок за квартиру заплатить? Деньги у меня были, но со второю женой я все прожил; мы с ней в радости жили, а в радости ничего не жалко.

Самгин осведомился, какое место ждет он.

— По способностям, — ответил Митрофанов и не очень уверенно объяснил: — Наблюдать за чем-нибудь.

Подумав, он прибавил с улыбкой:

— Я, еще мальчишкой будучи, пожарным на каланче завидовал: стоит человек на высоте, и все ему видно.

Самгин понимал, что, хотя в этом человеке тоже есть нечто чудаковатое, но оно раздражает. Почему?

Варвара нашла уже, что Митрофанов не так забавен, каким показался в первый его визит; Клим сказал ей:

— У него дурная склонность полуграмотных людей к философствованию, но у него это ограничено здравым смыслом.

И вдруг Иван Петрович Митрофанов стал своим человеком у Самгиных. Как-то утром, идя в Кремль, Самгин увидал, что конец Никитской улицы туго забит толпой людей.

— Студентов загоняют в манеж, — объяснил ему спокойный человек с палкой в руке и с бульдогом на цепочке. Шагая в ногу с Климом, он прибавил:

— Обыкновеннейшая история.

Самгин вспомнил письмо, недавно полученное Любашей от Кутузова из ссылки.

«Напрасно, голубица моя, сокрушаетесь, — писал Кутузов, — не в ту сторону вы беспокоитесь».

Дальше он доказывал, что, конечно, Толстой — прав: студенческое движение — щель, сквозь которую большие дела не пролезут, как бы усердно ни пытались протиснуть их либералы. «Однако и юношеское буйство, и тихий ропот отцов, и умиротворяющая деятельность Зубатова и многое другое, — все это ручейки незначительные, но следует помнить, что маленькие речушки, вытекая из болот, создали Волгу, Днепр и другие весьма мощные реки. И то, что совершается в университетах, не совсем бесполезно для фабрик».

Припоминая это письмо, Самгин подошел к стене, построенной из широких спин полицейских солдат: плотно составленные плечо в плечо друг с другом они, действительно, образовали неборимую стену; головы, крепко посаженные на красных шеях, были зубцами стены. На площади группа студентов отчаянно и нестройно кричала «Нагаечку», — песню, которую Самгин считал пошлой и унижающей студенчество. Но песня эта узнавалась только по ритму, слов не было

слышно сквозь крики и свист. К поющей группе полицейские подталкивали, подгоняли с Моховой улицы еще и еще людей в зеленых пальто, группа быстро разрасталась. Самгин видел возбужденные лица с открытыми ртами, но возбуждение казалось ему не гневным, а веселым и озорниковатым. Падал снег сухой, как рыба чешуя.

В годы своего студенчества он мудро и удачно избегал участия в уличных демонстрациях, но раза два, издали, видел, как полиция разгоняла, арестовывала демонстрантов, и вынес впечатление, что это делалось грубо, отвратительно. Сейчас ему казалось, что полицейские действуют вовсе не грубо и незлобно, а механически, как делается дело бесплодное и надоевшее. Было что-то очень глупое в том, как черные солдаты, конные и пешие, сбивают, стискивают зеленые единицы в большое, плотное тело, теперь уже истерически и грозно ревушее, стискивают и медленно катят, толкают этот огромный, темнозеленый ком в широко открытую пасть манежа. Зрители, в толпе которых стоял Самгин, раньше молчаливые, теперь тоже начали ворчать.

— «Лес рубят, молодой, зеленый, стройный лес», — процитировал мрачным голосом кто-то за спиной Самгина, — он не выносил эти стихи Галиной, находя их фальшивыми и пошленькими. Он видел, что возбуждение студентов все растет, а насмешливое отношение зрителей к полиции становится сердитым.

Недалеко от него стоял, сунув руки в карманы, человек высокого роста, бритый, судя по костюму и по закоптевшему лицу, рабочий-металлист. Он смотрел между голов двух полицейских и жевал губами погасшую папиросу. Казалось, что чем более грубо и свирепо полиция толкает студентов, тем длиннее становится нос и острее все лицо этого человека. Посмотрев на него несколько раз, Самгин вспомнил отрывок из статьи Ленина в «Искре»: «Студент шел на помощь рабочему, — рабочий должен идти на помощь студенту. И не достоин звания социалиста тот рабочий, который способен равнодушно смотреть на то, как правительство посылает полицию и войска против учащейся молодежи».

— Ну, что же? — подумал Самгин. — Вот он смотрит не равнодушно, а с любопытством.

Его толкали в бока, в спину, и чей-то резкий голос кричал через его плечо:

— Господа, протестуйте! Вы видите, — уже бьют! Ведь это — наши дети... надежда страны, господа!

Самгин видел, как под напором зрителей пошатывается стена городских, он уже хотел выбраться из толпы, идти назад, но в этот момент его потащило вперед, и он очутился на площади лицом к лицу с полицейским офицером; офицер был толстый, скреплен ремнями, как чемодан, а лицом очень похож на редактора газеты «Наш Край».

— Пожалуйте, — сказал он Самгину, указывая рукою в перчатке на манеж.

— Мне в судебную палату, спешное дело, — объяснил Клим, но офицер, взмахнув рукою, повторил крикливо:

— Пожалуйста, я вам гсворю!

В следующую минуту Клим оказался в толпе студентов, которую полиция подгоняла от университета к манежу, и курносый розовощекий мальчик, без фуражки на встрепанных волосах, закричал, указывая на него:

— Коллеги! Среди нас — агент охраны.

Но тотчас же его схватил за руку плечистый студент с рыжими усами на широком лице.

— Вы, Клим Иванович, как попали? — удивленно спросил он. — Вам не место в этой игре. Ну-те ко...

Он стал расталкивать товарищей локтями и плечами, удивительно легко, точно ветер траву, пошатывая людей. Вытолкнув Самгина из гущи толпы, он сказал:

— До свиданья! Не узнали меня?

Клим не успел ответить: тщедушный человек в сером пальто, в шапке, надвинутой на глаза, схватившись руками за портфель его, тонко взвизгнул:

— Держите его!

— Почему? — спросил студент.

— Не ваше дело! Не ваше.....

— Почему? — повторил студент, взял человека за ворот и встряхнул так, что с того слетела шапка, обнаружив испуганную мордочку. Самгина кто-то схватил сзади за локти, но тотчас же крикнув, выпустил, затем его сильно дернули за полы пальто, он пошатнулся, едва устоял на ногах; пронзительно свистел полицейский свисток, студент бросил человека на землю, свирепо крикнув:

—Эй, вы, чин! — размахнувшись, звучно ударил кого-то по лицу, а Самгин не своим голосом закричал:

— Что вы делаете? Вы понимаете, что вы делаете?

У него дрожали ноги, голос звучал где-то высоко в горле, размахивая портфелем, он говорил, не слыша своих слов, а кругом десятки голосов кричали:

— Браво! Долой полицию. Долой...

В глазах Самгина все качалось, подпрыгивало, мелькали руки, лица, одна из них сорвала шляпу, другая схватила портфель, тут Клим увидал Митрофанова, который, оттолкнув полицейского, сказал спокойно:

— Куда лезешь? Не узнал?

Поставив Клима впереди себя, он растолкал его телом студентов, а на свободном месте взял за руку и повел за собою. Тут Самгина ударили чем-то по голове. Он смутно помнил, что было затем, и очнулся, когда Митрофанов с полицейским усаживал его в сани извозчика.

— Пошел, — сказал Митрофанов, шлепнув извозчика портфелем по плечу, сунул портфель под мышку Самгина и проворчал: — охота вам связываться.

Лучшему другу

Из второй книги стихов

ИОСИФ УТКИН

Ты прости,
Что временем пустая
Жизнь моя
Варначества полна.
Это я
За молодость хватаюсь,
Как за берег
Глупая волна.

Никогда я не жил нашим вашим.

Но смотри:

Девически ясна,

Парусом

крылатым

машет

Уходящая

моя

весна...

Трудная и голубая
Мне страна
Мерещится во мгле...
Надо жить,
Трудясь и рассыпая
Жемчуг смеха
По большой земле.

Чтоб в зубах
Кинжальной белой стали
Заливались хищные лучи,
Чтоб на яблонях,
Качаясь, хохотали
Черные глазастые грачи.

Чтобы дважды
Таяла усталость.
Чтобы трижды
Стало веселей,
Если вдруг

Подруга засмеялась
Над охапкой снеговых лилей!

И когда
Мечтательный соратник
Опускает голову порой,
Я в глаза ему:
— Красавец, голубятню,
Голубятню синюю открой!

Мир хорош упорными руками.
Пустячки, что мужеству челна
Африканскими белками
Угрожает черная волна.

Трудная и голубая,
Посмотри, страна плывет во мгле.
Надо жить, трудясь
И рассыпая
Жемчуг смеха
По большой земле!

Смейся, милый,
Умоляю, смейся.
Ни к чему
Трагическая тишь.
Говорят, что никаким злодейством
Старый мир
Не удивишь.

И без нас
Зажгут огни акаций,
И без нас
Весной пройдет вода...

В ком угодно
Буду сомневаться, —
В революции, товарищ, никогда!

Июнь 1928 г.

Ответственная дама

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ

О, ответственная дама,
Пред тобою ровно и прямо,
Словно бочки, катятся дни.
Мимо люди проходят слепые,
Оглушают их бочки пустые, —
Удивляются шуму они.

Муж твой звякнул, — машина го-
това:
Ты на службу спешишь в полвто-
рого.
Там о деле не спорят с тобой;
Хоть тебе и вперед все известно, —
Горячишься ты в прениях честно,
Чтоб спокойной вернуться домой.

А домашняя жизнь — иная.
В ней я видел тебя и знаю:
В ней ни шума, ни грохота нет;
В тихих комнатах сладость уюта,
Зло часы отбивают минуты:
«Сорок лет, сорок лет, сорок лет».

Было время, — другим ты горела, —
В двадцать первом году было дело.
Не последней была ты для нас.
Улыбалась товарищам мило,
Залихватскую кепку носила,
Под шрапнелью бывала не раз.

Пачки писем и карточек гряда.
Ты все чаще встречаешь их всюду,
Осторожно копаешься в них.
Дорогие знакомые лица:
Этот умер, а тот за границей.
С каждым днем их все меньше в
живых...

Ты давно холодна уже к мужу,
А другой был смешон, и ненужен,
А я мальчуган ни к чему.
Поздний жар твое сердце тревожит,
И стоишь ты одна в бездорожьях,
Бормоча про себя: «К кому?..»

Угощая меня папироской,
На ходу поправляешь прическу:
«Скоро поезд, на дачу пора».
Я молчу, отвернувшись в сторонку,
И ты добавляешь: «К ребенку:
Он без няни сучает с утра».

О, ответственная дама,
Не качай головою упрямо;
Все это грустно, но так
Все это грустно, но так:
Что ж, мы встретились снова, с
одною...
Добрый вечер, метр Бальзак.



Немецкая история

Рассказ

БОР. ПИЛЬНЯК

I

Марксштадт.

... Без четверти семь утра бьют на кирках и на костелах колокола, и все немцы в Марксштадте, как во всех кантонах и колониях, сидят за кофе. В семь утра бьют на кирках и костелах колокола, и немцы за работой. За колониями—или равнина, или холмы—степь, степь, широчайшие просторы пшеницы, солончаки, ковыль, миражи летом, бураны зимами. На площадях, если это пустыня зноя, в пыльных смерчах немотствуют верблюды, утверждающие «ночь Азии» и «змеиную азийскую мудрость», змеиношение, драконоголовые верблюды, покойные, как Азия. Над землей пятьдесят градусов жары по Реомюру.—Без четверти двенадцать бьют на кирках колокола,—жалобный, прозрачный, стеклянный звон,—и все немцы сидят за обедом, чтобы после обеда, прикрыв ставни и раздевшись, как на ночь, спать до трех. Колокола бьют в три, — тогда пьют кофе и вновь работают. В девять последний раз отбивают время кирки и костелы, тогда наступает ночь, и тогда все спят. Рабочий день, колоколом, заканчивается в пять. В гости ходят от пяти до семи, гостям дают медовые пряники с горькой миндалиной посреди и рюмку вина. Полы моют каждый день, печь обмазывают известью после каждой топки, дом снаружи обмывают каждую субботу, по субботам же моют коровники. Непонятно—люди для чистоты, или чистота для людей. У каждой хозяйки на все свои туфли: все они стоят у порогов: в одних она ходит по двору, в других—в коровнике, в третьих—по кухне, в четвертых—по «воонунг-циммерам»: у порогов ловко шмыгают хозяйки из одних туфель в другие, немки в чепчиках и в белых передниках...

Доктор Пауль Рау,—археолог,—нашел в этих степях памятники Неолитической эпохи—памятники человечества, отодвинутые от современности на десять тысячелетий. Здесь Паулем Рау найдены были остатки Бронзовой эпохи, протекшей между четвертым и третьим

тысячелетиями до-христианской эры. Третье, второе и первые тысячелетия—не сохранили памятей. От первого до второго века христианской эры здесь были сарматы. Около рождества Иисуса Христа здесь были скифы. Между третьим и четвертым веками здесь были аланы, лучшая эпоха этих земель, люди европейского черепа, ушедшие отсюда на Кавказ и в Европу. За аланами — вновь пустыня, до тринадцатого века татар. За татарами — от пятнадцатого столетия до века российской великой Екатерины—опять пустыня, кочевья киргиз и калмыков. Теперь — немцы.

В 1763 году по германским городам читался манифест Екатерины Второй, российской императрицы, в коем говорилось, что в России, на Волге есть такие чудесные места, где произрастают лимоны, винограды и мирты, происходит миртовая жизнь, эдакий лирический лимонад из писаний великой императрицы, и что она Фелица приглашает всех желающих немцев ехать туда на вечные времена трудиться и блаженствовать без податей, без воинской повинности на сто десять лет, на новые земли, где каждый может себе взять земли, сколько захочет. Манифест обещал бесплатный проезд до этих чудесных земель и ссуды на инвентарь и скотину. Манифест читался на площадях по немецким городам под звоны бубенцов, привлекающих толпу, как и донныне читаются приказы в волжских немецких колониях,—читался в дни после разгрома Семилетней Войны,—и до Волги, барками по Тихвинской и Мариинской системам от Петербурга, дотащилось тридцать тысяч немецких неудачников, разоренных войною и голодом, в первую очередь ремесленников, до сих пор сохранивших свои профессии, сохранивших германский осьнадцатый век, меньше крестьян, называющих огороды плантациями, в еще меньшем количестве—студентов, аптекарей, солдат, офицеров, даже дворян, даже одного барона—Дэнгофа, в честь которого назван большой ныне сарпинковый поселок. Люди тогда приехали к осени, в места, где, как полагалось по российским традициям, миртов не произрастало, но была голая степь, ковыль, пустыня и ни одного человеческого кола. По степи кочевали киргизы и калмыки, и за степью на горизонтах вставали миражи. Кроме немцев, в эти места Екатериной ссылались каторжники и острожники русского происхождения. Немцы оказались в положении более жестоком, чем Семилетняя Война,—и в первые же два года от тридцати тысяч немцев осталось двадцать три; офицеры ушли к Пугачеву: солдат вешала Екатерина; многие ремесленники собрались было бежать обратно,—и есть ряд рассказов о том, как березенцы, русские каторжане, за мзду брались провожать без'языких немцев, везли немцев на дощаниках до ближайшего глухого острова и там резали немцам языки. В нынешнем Маркштадте — в прежнем Катринштадте—до сих пор видны остатки рвов, крепости, охранявшей колонию от киргизов и от россиян. Киргизы так же, как и россияне, имели привычку резать немцам языки, не умеющие говорить по-русски. В 1924 году, по переписи, немцев было шестьсот тысяч человек: но это не к тому, как

немцы применились к миртовой благодати этих мест, размножившись и сохранив свой осьнадцатый век.

Немцы пришли блондинами, северяне. Тип теперешнего немца, примерно, следующий: выше среднего рост; темные волосы, изредка ярко-рыжие; темный, коричневый цвет кожи; темные глаза. На голове у немца широкополая соломенная шляпа,—такие же шляпы на головах у лошадей,—в зубах у немца сохранившаяся от Германии трубка на длинном мундштуке, сплетенном из кожи. В колонии Дэнгоф строилось в 1926 году несколько-этажное кирпичное здание, рыли ямы для фундамента,—и оказалось, что здание ставится на старом немецком кладбище. Археолог доктор Пауль Рау и этнограф профессор Дингэс приехали на стройку, чтобы обследовать кладбище. Трупы немцев, мужчин и женщин, сгнили в гробах, но кости, волосы и одежда остались. Скелеты мужчин лежали в шелковых жилетах, в сюртуках и в галстуках, вывезенных еще из Германии. Женские скелеты были в шелковых платьях и в чепчиках. Теперешний тип немца обязательно темноволос,—в могилах сохранились волосы умерших—пшеничные волосы северян. Сто шестьдесят лет немецкого заволжья, степной зной и степные морозы, азиатские стихии—перекрасили немцев, изменили их антропологический тип.

И Рау, и Дингэс написали исследование о влиянии климата на человеческую особь. И Рау, и Дингэс—потихоньку от сельчан—взяли из могил шлафроки, галстуки, женские платки и юбки—для этнографического музея. Судьбы этих чепчиков и шлафроков—необычны,—вывезенные из Германии, пролежавшие полтора года в земле, ныне они лежат за стеклами музея в удушливом и пыльном зное города Покрвска.

II

Профессор Георгий Дингэс записал сказку.

Шульмайстер Шварцкопф из колонии Дэнгоф бальцерского кантона умер, оставив жену и дочь, бедную и очень красивую невесту. В это же время умер пфарер Трэнклер, богатый человек, оставив свою жену и сына, красивого и богатого жениха, бондаря по профессии. Молодой Трэнклер посватался за молодую Шварцкопф, и это была лучшая и счастливейшая в Дэнгофе пара. Шульмайстерша фрау Шварцкопф вместе со своею дочерью переехала к Трэнклерам—в богатую и покойную старость. Старухи Шварцкопф и Трэнклер очень сошлись характерами и очень подружились. Молодые были счастливы, и в первый же месяц дочь призналась матери, что она понесла ребенка. И вдруг тогда соседка сказала по секрету фрау пфарерше, что у фрау шульмайстерши — нехороший глаз. В сердце пфарерши запыла тревога, мелочи стали подтверждать ее сомнения, и она тогда пошла к знахарке, чтобы посоветоваться с нею. Знахарка дала совет, как узнать истину: надо было в тот час, когда пропоет третий петух, найти в ку-

рятнике первое яйцо, снесенное за эту ночь, с'есть его сырьем и ждать на-утро вопросов шульмайстерши; если шульмайстерша задаст подряд три вопроса: куда пошла моя дочка?—продал ли Ганс вчерашние ободья?—перестали ли болеть ноги фрау пфарерши?—если она задаст эти три вопроса, стало-быть, у нее черный глаз. Пфарерша поступила так, как советовала знахарка. Утром на рассвете в тот день сын уехал в соседнее село на базар, и жена пошла проводить его до околицы,—и за кофеем шульмайстерша задала под ряд три вопроса, напророченные знахаркой. Фрау пфарерша уверилась, что у фрау шульмайстерши черный глаз. Но через несколько дней соседка сказала пфарерше новую новость, о том, что шульмайстерша—колдунья. Пфарерша опять пошла к знахарке. И знахарка дала средство узнать, истинно ли это. Надо было у пойманной в субботу шуки в полночь с субботы на воскресенье вынуть икру, сварить ее до третьих петухов и с'есть без соли, когда пропоет третий петух,—и утром тогда надо было итти в костел, смотреть, не отрывая глаз, в купол над алтарем, и, если действительно шульмайстерша есть ведьма, тогда она будет видна в куполе, где будет она летать на венике. Пфарерша поступила так, как ей советовала знахарка,—и действительно, в тот момент, когда органист вознес «авэ, Мариа», под куполом появилась в омерзительном виде, голая на метле шульмайстерша фрау Шварцкопф. Счастье пфарерши фрау Трэнклер было разбито, сын не поверил ее видению, пригрозил знахарке, что он донесет русским властям, оставил у себя шульмайстершу,—и фрау Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру.

Профессор Дингэс расследовал историю возникновения этой легенды.

Пароход уходил в закат и в отдых от зноя.

И во мраке июньской волжской ночи пароход пришел к пристани, гудел, пришвартовывался к керосиновым фонарям конторки, в нерусский говор. За сходящими, на берегу, под отвесом горы стоят распряженные фуры. Немцы не волнуются. Телеграмма не дошла во время. Ночь,—та пожухлая уже в июне волжская степная ночь, когда из степи веет жарким удушьем, пылью и мятой.

— Нам надо в Бальцер,—говорит профессор Дингэс.

— Канн-манн,—отвечает возница и медленно приступает к фуре, чтобы запрячь лошадей.—Варт-манн.

Эти фуры вывезены из Германии, в каждом поселке есть фурманн, мастер по строительству фур. Лошади в дышлах. Профессор Дингэс спрашивает, как называются части фур: опросом названий обыденнейших вещей, записью этих названий и фонэтикой произношения Дингэс восстанавливает, откуда пришла эта семья немцев, из Баварии ли, из Саксонии ли, иль из Пруссии. Дингэс спрашивает возницу, из какого села он родом, на ком женат, кто у него в родстве,—и Дингэс читает в его ответах книгу столетия его рода, — под электрическим фонариком он записывает иероглифы анкеты—те, которые

вскрывают книгу столетья. Ночь пожухла, пыльна, удушлива. Небо темно. Прибрежные горы стоят отвесом.

Лошади готовы.

— Биттэ!

Фура ползет в гору шагом, под обрывом горы, в овражную щель, валится с боку на бок, но не скрипит, сделанная на-век. В'ехали в лес, в прохладу и шелест дубов. Спустились в овраг. Поднялись вверх. Темно и ничего не видно. Прошел час пути. Лошади побежали рысью.

— Вот отсюда сворачивает дорога к Карлу Швабу,—сказал возница.

Ни Дингэс, ни Рау ничего тогда не знали о Карле Швабе. Никто ничего не ответил.

— Закурим,—сказал Рау и предложил папиросу вознице.

— Канн-манн,—сказал возница и остановил лошадей, чтобы высечь зажигалкой огонь.—Карл Шваб был очень хорошим, трудолюбивым хозяином.

— Какой это Карл Шваб?—спросил Дингэс.

— А это тот, к которому пришли черепа,—ответил возница.

Поехали дальше, во мрак, оврагами, лесом. Лошади бежали рысью, гнали за собою пыль, пыль пахла кремнем и польнью. Молчали. Выехали на холм в степь. И в бесконечном просторе степи, впереди, направо, налево, на версты и на десятки верст загорелись в степи десятки костров.

— Смотрите, Дингэс, — сказал Рау, — это от кочевого древневековья.

Сказал возница:

— Это в степи пасутся стада и табуны, и костры разложены, чтобы пугать волков, которые рыщут по степи. Особенно много развелось волков после революции.

В Бальцер приехали ночью, в кантон, с улицами, проложенными линейкою и заложеными пылью по щиколотку. Кантон спал, прикрыв ставни. Выли — по-степному — собаки. Небо так же было степным. На постоялом дворе блистательствовала чистота. Дали четыре полотенца и две постели. Электричество погасло в час ночи.

Наутро в палительном зное перед глазами прошел Бальцер, этот кантон, где в каждом доме ткут сарпинку, — сарпинка — Сарепта — сарептинские немцы. День прошел кожевенным заводом, где нечем дышать от удушья падали, клубами пшеничной пыли вальцовой мельницы, горами подсолнечной шелухи маслостройного завода. На литейном заводе отливали части для фур и для сеялок. За невероятностями пыли и зноя переулков, около реки Голый Карамыш стояла сарпинковая фабрика, немки склонялись над ткацкими машинами, в немецком порядке и в чистоте. Бальцер — кантон, индустриальный центр, — фабрики, уничтожающие кустарничество, — и все же кантон весь день шелестит необыденным, странным для степного зноя шелестом кустарных ткацких станков: это в домах ткут сарпинку женщины, дети, мужчины.

В новом закате отдыха от зноя фюрд кантонального исполкома (у волжских немцев в каждой волости по фюрду) понес ученых в Дэнгоф, в село кустарей и школьных раскопок, на родину фрау Шварцкопф и фрау Трэнклер, в прямые немецкие улочки с белыми домами за ставнями и заборами. Учитель Кэрнер показывал новые немецкие буквари, толковал о многопольи и водил на свою плантацию, — и в конюшне у него за притолоку были засунуты сушеные щучьи головы — от злого глаза. Дэнгоф шелестел ульем прялок в керосиновом мраке окон средневекового ткачества. Ночь засветилась свечью месяца над степью и кострами в степи. Тогда колония уснула. Последний верблюд прошагал к воротам.

В каждом доме ткацкие станы, мужчины, женщины, дети сидят за станами, ткут сарпинку, — и в каждом доме пахнет свежим ситцем. Дингэс записал количество станов в колонии, выработки, процент туберкулезных и близоруких, стопроцентность кооперированности ткачей, — и записывал названия частей фуры, частей трубки, частей станов и сундуков, чтобы вскрыть столетья. Доктор Рау в архиве сельского совета раскапывал родословную шульмайстера Шварцкопфа и пфарера Трэнклера, чтобы совместно с Дингэсом расследовать историю черного глаза. Дингэс и Рау ходили по старикам и старинным домам, просили показать им старинные трубки, сундуки, платья, веретена, — убеждали отобранное прибрать для музея, тут же заполняя благодарственные от музея грамоты. В одном из домов они нашли старинные, еще от Германии, очки. Еще утром учитель Кэрнер сообщил, что он, вернувшись с плантации, отправит свою жену с учеными к знахарке. После вечернего кофе фрау шульмайстерша Кэрнер пошла с учеными к бабушке. Дом бабушки, как все дома, главную комнату заставил ткацкими станами, под окном у стана внучата устроили свою кукольную комнату и забили туда, чтобы посмотреть гостей. Бабушка приняла гостей в новом платье и провела их в столовую, предложила медовых пряников и по рюмке портвейна. Бабушка села в кресла к камину, и гости сели вокруг нее. В первых фразах бабушка сообщила, что она никоим образом не связана с темною силою и верная лютеранка, — все ее знания у нее от бабушки, верные знания, потому — что ее пра-пра-прадед был студентом и лекарем в Саксонии. За свою жизнь она приняла шестнадцать тысяч детей и немногим меньше количество людей — за эти годы голода и смерти — обмыла перед гробом. Она побранила врачей, которые заставляют женщин ложиться во время родов, и с гордостью заявила, что все ее роженицы рожали стоя, как и требуется природою. Дингэс расспрашивал бабушку о фрау шульмайстерше Шварцкопф, — бабушка подтвердила истинность истории, сообщив, что все это произошло, когда она была уже замужем. Затем бабушка отвела шульмайстершу Кэрнер в отдельную комнату, чтобы дать несколько советов и побеседовать об их женских делах. Фрау Кэрнер вышла от бабушки, гордая, смущенная, раскрасневшаяся, и ничего не рассказала мужчинам о советах бабушки, — дома же, по на-

стоянию мужа, передала профессору Дингэсу для музея порошок из кирпича, останавливающие кровь, и порошок из лягушечьих костей и менструальной женской крови, привораживающие любовь. Учитель Кэрнер толковал за ужином о преимуществах корнеплодного хозяйства в деле кормления животных.

Новым вечером форд отнес ученых в новое село, где так же шестелели ткацкие станы. Та ночь не принесла отдыха от зноя. Улицы задыхались от жажды закрытыми ставнями окон и серебряной свечью месяца в небе. В доме, где остановились ученые, на полы в комнатах клали мокрые полотенца, чтобы утолить жажду комнат. Хозяин дома — ткач Юнг — провел гостей в гостиную. В парадной комнате стояли клавины и две кровати за десятком подушек. Хозяин был молчалив и очень черен, заросший черной бородой.

— Если мои господа хотят, — сказал ткач Юнг, беспомощно улыбнувшись, — если мои господа хотят, мы с женой сыграли бы и спели для удовольствия гостей. Мы всегда проводим отдых в пении.

Ткач Юнг тихо улыбнулся, лицо его стало блаженным. Он извлек из клавины несколько звуков, — удивительнейшие звуки, выцветшие в этом степном зное. Жена села рядом с мужем и запела. Муж подпевал клавинам и жене. Запели дети, став около матери. Лица всех певших были умилены. Профессор Дингэс записывал слова песни: песнь сохранилась еще от Германии, выцветшая в степи и переименованная столетием зноя. Семья ткача Юнга оказалась духоборческой семьей.

III

Немец Карл Шваб, рыжеусый, безбородый, черноволосый человек, кадык которого походил на его колени, а кадык и колени вместе — на его трубку, торчавшую из рыжих усов, кареглазый, впалогрудый человек после жесточайшего голода 1920-го года, дошедшего до людоедства, ушел из колонии на отруб. Карл Шваб получил надел недалеко от Волги, где степь обрывается в Волгу горами, надел был на опушке леса, на краю оврага. Лес стоял рядом, кленовый и некленовый, зеленый лес. Карл Шваб решил строить «кутор», как немцы называют хутора, на холме, неподалеку от овражного обрыва.

Еще зимой перевезя сруб и прочие матерьялы, конец зимы прожив у соседа, посеявшись с весны, летом Карл Шваб, переселившись со своей семьей на новый кутор, приступил к постройке дома. Работали он, его сыновья Иоганн и Фридрих, его жена Марта и дочери Мария и Виктория. Семья была молчалива и дружна. Сыновья строили себе отдельные комнаты, ибо решено было осенью жениться. Девушкам предполагалась светелка, чтобы коротать время до брака. Во временном сарае, где хранились сельскохозяйственные машины и домашняя утварь, где люди спали и питались, на полке, над обеденным столом, хранились сельскохозяйственные журналы и проспект стандарт-

ного строительства на немецком языке. Мужчины вечерами перепроверяли планы, задуманные еще зимою.

В августе, когда пшеница была убрана, когда была закончена постройка дома, — на кухне возникла немецкая печь, обмазанная глиной и известью, целое немецкое строительство со многими печурками, топками, подтопками, с кубом для выварки белья и для варки мыла, с плиткой для кофе, с духовкой для супа и с другой духовкой для кухэнов, — целое строительство под аркой; хозяйка должна работать под этой аркой, чтобы справа и слева от ее руки были все эти топки и подтопки, чтобы камин грел ее ноги, камин, в котором так же можно коптить свиные окорока и грудину. Над камином вбиты были вешалки для просушки одежды после осенних дождей и зимних вьюг.

Зимой должны были бы все собираться в метельные дни около камина, чтобы слушать сказки фрау Марты о ведьме из Дэнгофа, которая превращалась в свинью и которую в свином состоянии однажды поранил прохожий, так поранил, что ведьма, гросс-мутер такая-то, целую неделю не поднималась с кровати, — средневековые сказки, привезенные сюда из немецкого осьнадцатого века.

В девичьей светелке висела мадонна, около которой девушки пели, вышивая тряпки, «авэ, Мариа». В комнате отцов стояла резная кровать, в несколько этажей заваленная подушками и одеялами, где из-под нижнего одеяла свисали кружева, сплетенные Мартой. Около кровати стоял сундук, вывезенный еще из Германии, предмет изучения профессора Дингэса. В сараях и в конюшнях у притолок были повешены сушеные головы рыбы, щуки, охраняющие от чертей, родившихся где-то в Германии: эти рыбы головы были предметом изучения и Дингэса, и Рау.

В начале сентября, когда поля окончательно были уже обработаны и перепаханы под зиму, отец и сыновья стали копать погреб, чтобы сложить туда корнеплоды.

Было осенне сыро. Встав в пять часов, моросливым рассветом, отвесив корма животным, начав рабочий немецкий день, выпив в половине восьмого кофе из жженой пшеницы, отец и сыновья пошли на двор (построенный степным уметом), там они рыли погреб. Иоганн и Фридрих спустились в яму и выкидывали оттуда землю, Карл отвозил землю к конюшням, чтобы утеплить их землю. Трубка, кадык и колени Карла были медленны и степенны. Старший Иоганн, похожий на отца, рыл в темном углу, перекидывая землю Фридриху. Фридрих, коренастый, как мать, кидал землю отцу.

Лопата Иоганна уперлась в твердое, это не был камень. Иоганн копнул раз, два и три — и к ногам его покатилося нечто круглое. В темноте нельзя было понять, что это такое.

— Варт-манн, — степенно сказал Иоганн брату и крикнул наверх: — Фатер!

— Канн-манн, — ответил сверху отец.

Иоганн высунул из ямы на свет человеческий череп. Череп был коричневым и скуластым. Лица Карла и Иоганна выразили ужас. Фридрих глупо улыбнулся. Не меньше, чем минуту, то-есть вечность при таких обстоятельствах, Карл и Иоганн были неподвижны в ужасе.

— Что ты смеешься, оболтус? — сказал отец Фридриху.

Фридрих проникся страхом. Отец вынул трубку из рта, все его кадыки удвоились. Иоганн вылез из ямы и стал рядом с отцом. Фридрих так же вылез и так же стал рядом — с братом.

— Штиль! — сказал отец. — Молчание! — Иоганн, принеси фонарь.

Отец полез в яму. Фонарь осветил куски человеческих костей, торчавших из земли. Отец сел на землю, в страшном ужасе и горе, подпер рукою голову. Он встал и вылез из ямы. Он еще раз осмотрел человеческий череп и еще раз, с черепом, полез в яму. Он положил череп к позвонкам, затылком к востоку, как лежал череп, и вылез из ямы.

— Штиль! Шнэлль! — сказал отец. — Молчание! Скорее!

Карл взял лопату и бросил ком земли с края ямы в темный угол, где был череп. Сыновья безмолвно последовали примеру отца. Трубки не было в зубах Карла. Фридрих от природы был глуп, как знали все в семье. Лица Карла и Иоганна были покорны судьбе. Теперь уже Фридрих возил землю на тачке от конюшни к яме. Моросил мелкий дождь. Степь была пуста и печальна.

Двадцать минут двенадцатого Марта позвала обедать. Отец воткнул лопату в землю под навесом, ничего не сказав. Мужчины молча вымыли руки и сели за стол, около андерсэновской печи, которую Марта уже победила, вытопив. Обедали молча и молча после обеда пошли по своим постелям спать до кофе.

После кофе до сумерек мужчины заваливали яму, в излишней для немцев поспешности. Заваливать — куда быстрее, чем выкапывать, и наутро мужчины кончили работу.

Тогда отец сказал сыновьям в последний раз:

— Безмолвие! — женщины не должны знать, никто не должен знать. Мы начнем копать погреб в другом конце двора.

Женщины не спросили мужчин, почему мужчины переменили свои планы, и, тем не менее, потому что иной раз вести распространяются без человеческих слов, Марта, мать, в этот вечер, после вечерней в половине седьмого пищи, когда семья собралась около камина против арки, где священнодействовали женщины, когда мужчины повесили свои картузы над печью, — Марта иноречиво рассказала историю шультмайстерши Шварцкопф, бывшую на памяти Марты, когда она была девочкой, — когда фрау шультмайстерша Шварцкопф имела черный глаз, ради которого фрау пфарерша Трэнклер вынуждена была покинуть богатый свой дом и поступить работницей к патеру. Фрау Марта рассказала эту правдивую историю, косо поглядывая на мужа, иноречиво задерживаясь на паузах. Дочери в страхе жались к матери, младшая прятала голову от огня камина. За домом, в степи, гудели осенние ветры, и шипел дождь. Лицо Фридриха было расстроено. Иоганн и отец были каменнолицы.

— Надо иметь спокойный сон, жена,—сказал Карл и поднялся со стула без четверти девять, чтобы задать скотине на ночь и в девять быть в постели. Отец всегда один выходил в этот час на конюшню, сейчас он сказал старшему сыну:—Ты пойдешь со мною, мальчик.

Сын зажег фонарь, чего обыкновенно не делалось,—отец не упрекнул его в неэкономности. На дворе было очень темно, гудел над степью ветер, и хлестал по кутору дождь, в черном мраке. Мужчины шли рядом, сын жался к отцу и сын сказал отцу шопотом:

— Страшно, папа.

— Да, очень страшно,— так же шопотом ответил отец и положил руку на плечо сына, приласкал сына отцовской своей рукою. — Очень страшно, мальчик.

Наутро мужчины стали рыть погреб в другом конце двора, Иоганн перекидывал землю Фридриху, Фридрих наваливал землю на тачку, отец отвозил землю к конюшне. И через неделю произошло то же, что было девять дней назад: Фридрих откопал человеческий скелет. Лица всех троих теперь изображали ужас. Отец долго сидел на тачке, оперев щеки ладонями, трагически качая головою. Мужчины в безмолвии и поспешности стали заваливать яму. Яма была завалена и сравнена с землею.

Сентябрь уже перевалил на октябрь, начались заморозки. Отец решил рыть погреб в подполье. И опять через неделю труда найдена была могила, теперь уже много человеческих костей, и среди них не человеческий уже, но лошадиный череп и около черепа непонятная золотая монета.

Подполье было закопано.

В эти девятнадцать дней рытья погребов Карл Шваб совершенно поседел.

— Мы не хотим больше иметь погреба,—сказал отец.—Мы бедны, чтобы покинуть это место. Молчание!—жизнь всегда идет наряду со смертью, если это не есть злой глаз.—Молчание!

В ноябре подули первые метели.

Объяснение всему этому—очень просто: Карл Шваб построил свой кутор на старом кургане. Есть обстоятельства, когда вести расходятся по людям без слов: никто с кутора не мог бы указать, каким образом узналось и в Бальцере, и в Дэнгофе о том, что род Карла Шваба спознался с нечистою, совершенно средневековою силою, подсунувшей под кутор Карла Шваба мертвецов.

Зима в этом году была снежна и метельна, дороги к кутору замело снегами. Сыновья Иоганн и Фридрих в том году не поженились, как предполагалось, и даже не сватались.

Весною к Карлу Швабу приезжал археолог доктор Пауль Рау, чтобы обследовать курган. В начале лета к Карлу Швабу приезжал профессор Дингэс, чтобы установить, как возникают легенды о черном глазе. Обоих их у ворот встречал седой старик Карл, с трубкою в зубах, в широкополой соломенной шляпе. Его взгляд был покоен и непроницаем. Он был неприветлив и обоим приезжавшим говорил одно и то же.

— Что вы хотите от меня, мои господа?—у меня нет только погребца, и больше ничего. Прошу не позорить моего дома.

Все в округе знали, что у Карла Шваба—именно нет погребца.

После приезда этих ученых людей к Карлу Швабу—и в Бальцере, и в Дэнгофе подлинно знали, что Карл Шваб, превратившийся за зиму в старика, уступивший работу сыновьям, не только спознался с черным глазом, но и сам возымел его, упорно о том замолчал.

Так возникают истории, подобные истории фрау шульмайстерши Шварцкопф.

IV

...Степь, степь, солончаки, поля пшеницы, солончаки, ковыль, полынь, степь. Зной. Изредка побежит—побежит по земле, разбежится, оттолкнется от земли, полетит—дрофа. Изредка встанет межевым столбиком сурок. Изредка продымит около дороги трактор. Изредка пройдут верблюды. Изредка видны курганы. Степь,заволжье, зной. Там впереди—уже за десятками, а не сотнями верст—земли Казакстана, Киргизия, Азия. Безлюдье. Степь. Зной.

Форд на рассвете ушел от Волги, в зной и в степь. Их четверо на форде.

И вот сейчас же, за десятком верст от Волги, когда позади точно рядом волжские горы,—впереди в степи возникла чудесность,—возникли пальмы, мирты, виноградники, озера, воды, непонятные человеческие стройки, фантастика, чудесность,—все то, что написано в манифесте Екатерины Второй.

Австрийская журналистка Лоттэ Шварц спросила доктора Рау:

— Товарищ Рау, что это такое?—Это и есть мелиоративные работы, поля орошения?

— Нет, — ответил доктор Рау. — Это — мираж.

Над степью зной и за автомобилем пыль. Люди на автомобиле укутаны в пыльники, пыль садится на ресницы и на ноздри. Впереди некие минуты стоит мираж, блекнет и растворяется в ничто. За миражем впереди—степь, изредка курганы, на горизонте горб верблюда, синий воздух, колеблющий пространства.

И вновь возникает мираж, вновь к тому, чтобы утвердить манифест императрицы Фелицы.

Пустыней степи форд идет весь день, весь зной дня, солончаками, пшеницами, курганами, дрофами. Все больше и больше солончаков выгоревшей, мертвой земли, окаймленной ковылем. В закате опять возникают миражи, необыкновенные растения, необыкновенные леса и города. Люди устали на автомобиле и безразличны к миражам.

И тогда впереди возникает громадная плотина, обсаженная деревьями, громадное озеро, громадные пространства садов и плантаций.

— Это тоже мираж?—спрашивает Лоттэ Шварц.

— Нет, это немецкие оросительные плотины. Вон те домики, куда мы едем,—научная станция, где изучают плод, зерно и почву.

И навстречу форду летят триллионы суб-тропических комаров. Там, за этими клоками солончаковой степи, залитыми теперь в эти последние годы, водой,—за этими плотинами—киргизская степь, тысячи, громадные тысячи верст кочевнической Азии.—Но прежде, чем поехать к станции, доктор Рау остановил автомобиль около гряды курганов, чтобы осмотреть их и определить—сарматские ли, скифские, монгольские—эти курганы, грядою уходящие вдаль по вершине балки. Курганы оказались аланскими.

V

...В Марксшадте, в кантоне, который до 1917 года был селом Катринштадт, с 1918 года до Великого Голода был столицей немецкой республики,—в Марксшадте, загородившемся от Волги элеваторами, на берегу реки Караман, степного волжского притока, киргизской речуги,—стоит машиностроительный завод, по-русски называемый «Возрождение». На складах этого завода рядами стоят тракторы «Карлик», сконструированные и построенные этим заводом,—тракторы готовы к отправке на поля.—В марксшадтском музее за стеклами витрин стоят звери и птицы, живущие здесь,—волки, лисы, орлы, цапли, фазаны.

В городе ж Покровске, теперешней столице АССРНП, в музее, где постоянно работают профессор Дингэс и доктор Рау, изредка собираются на заседания экономист Генрих Шлэгель, кооператор Виктор Штромбергер, статистик Николай Либих, общественные деятели,—иногда заходят члены немецкого правительства. Тогда ведутся очередные рабочие разговоры, о менно-голландском скоте менонитского коппентальского района, о холодильном деле, о хлебозаготовках, о кустарном ремесленничестве, о растительности заливных волжских лугов, о сыроварении, о бэконном деле, о многом очередном-прочем.

Осенью на улицах Покровска грязь по-уши. Зимами над Покровском, над степью лежат белейшие снега, проходят бураны.—За буднями разговоров в музее возникает твердое ощущение новой, теперь рождающейся, совершенно необыденной государственности. Когда же заседания заканчиваются, и остаются доктор Рау и профессор Дингэс, эти два рыцаря своей родины, когда они говорят о своих работах, так же обыденно, как на заседании,—говорят о новых работах, о вновь разработанной сказке и о новом разрытом кургане, о платнях, принесенных в музей из могил,—тогда возникает—здесь в этих музейных комнатах—возникает история, наука этой страны. За стеклами витрин лежат человеческие черепа, камни и утварь тысячелетий курганов.

Если это день, за окнами музея тогда видны шпалеры домов—в снегу зимою, в невероятной пыли летом, видна голова верблюда около железнодорожного переезда, и видны громадные железнодорожные цейхгаузы.

Дымная межа

Рассказ

АННА КАРАВАЕВА

I

Дмитрий Полозов припал грудью к росной траве и уронил голову на липкие от крови руки.

— Не доползу... — шептал он, еле раздвигая губы и скорбно дивясь тупому обреченному спокойствию в душе своей. Уже видел себя распростертым, недвижимым, с черной запекшейся кровью на левой простреленной ноге.

— Вот тебе и конец...

Полозов глянул впорглаза в сторону и увидел край неба, багрово-желтого, в тяжелых огненных облаках. Они напоминали нагроможденья раскаленных глыб, готовых упасть на землю. И земля будто ждала этого, покорно неся на увядающих своих травах обесиленное тело подстреленного человека в непривычной крестьянской одежде. Казалось, гудит земля, мрачно и покорно выговаривает:

— Помрешь... кончено дело... помрешь... такая твоя судьба...

Гудела земля в ухо с мрачной лаской тысячелетней прапраматери. Она торжественно утверждала свое ненарушимое право на самое первейшее для человека родство.

Каменные груды облаков багровели так грозно, что Полозов, приподняв на миг голову, испуганно уронил ее опять, — небо надвигалось, а он, человек, был мал, жалок, изнемогал от боли.

— О-о...—прохрипел Полозов, задев ногой за камушек в траве. Не было сил повернуться на бок, сесть и поправить распустившуюся портянку, которая хоть немного задержала бы кровь. Остервенело заныла нога, а все тело будто немело перед этой болью. Ледяной пот выступил на лбу.

— А... сгибну тут...—жадно и отчаянно глотнул воздух Полозов.

И вдруг услышал тонкий и четкий голосок возле уха. Толстый рукав непривычного крестьянского армяка отогнулся от движения головы, и неразлучные мозеровские часики в кожаной браслетке тикали мелодически и упорно, не прерывая своей работы. Крохотная золотая стрелка секундомера торопилась обежать положен-

ный ей кружок, а минутная передвигалась на новое деление, отмечая шаги свои с непогрешимой точностью.

— Пре-е-хитрая штука! — залюбовался чистой работой Полозов, будто впервые видел свои часы. — Великое дело — ум человеческий!.. Посмотришь на этот эмалевый кружок и получаешь полную информацию о природе: в семь часов двадцать минут солнце заходит. И ты, голубушка, нас не надуешь... не-ет.

Часики показывали 7 часов 30 минут, — и было в этой стократ знакомой разметке утекающего времени что-то успокаивающее и уверенное.

— Половина восьмого—значит семь часов тридцать минут...

Вдруг другая цифра времени огненно встала в мозгу: семь часов пятнадцать минут!..

Полозов ясно вспомнил это отклонение стрелок под тупым углом: 7 час. 15 мин. Когда он при грохоте выстрела почувствовал жаркую боль в ноге и упал, то бессознательно запомнил это расположение стрелок. Потом, озираясь и вздрагивая, он пополз. Это казалось мучительно долгим, а между тем прошло всего пятнадцать минут.

— За такое малое время, — будто радостно встряхиваясь, утверждало сознание, — смешно думать о смерти. Бывают раны куда опаснее, и люди целый день валяются, пока помощь придет, — и не умирают же. Германскую войну, например, вспомнить. А я, пожалуй, ранен в сухожилие и наверняка неопасно — пониже икры... Ну... не дурак ли — раны не посмотрел... а?

Даже любопытство взяло — обязательно надо обследовать ногу.

Полозов, сморщившись и закусив нижнюю губу, повернулся на бок. Сквозь потную рубашку ощутил с легкой болью грубый шов армяка и вспомнил опять: туда вшиты искусно свернутые в трубочку куски кальки, где расчерчен план продвижения N-ской дивизии Красной армии на Егошинский район, пункты соединения с партизанскими отрядами, линии индивидуальной и порайонной связи с партизанщиной.

— Чорт подери! — хмыкнул изумленно и весело Полозов. — Столько на мне всяких секретов зашито, что и помирать нельзя... ей-ей! Ник-как нельзя.

Далеко не смешливый по природе, сейчас он готов был расхотаться во все горло: не чудно ли это выходит, когда человеку «ник-как нельзя» помереть?

И он теперь знал, что будет жить, и даже боль в ноге отупела, словно заговоренная. Полозов закрыл рану листком чертополоха, затянул портянку и попробовал нажать пяткой, — острая боль отдалась по всему телу.

— Что ж, поползу опять... эх, палки нигде нет...

Сел, баюкая измученную ногу, и обрадованно ахнул: в четырех—пяти саженях вправо темнел плетень огорода. Молодая тонкостволовая рябина, растрепав во все стороны нежные копыца своих

редких листьев, слегка покачиваясь. Ветра же не было, — значит, качал ее человек.

— Да уж не то ли это, что мне надо?—Полозов все полз и поглядывал на качающуюся рябину.— Николай, Чупин ведь как раз хутором живет... Ха, да он, может быть, сам тут и есть.

Николай Чупин, к кому он направлялся, был известен Полозову как один из самых умелых и осторожных «связистов» партизанщины; по рассказам, Чупин тайгу знал, как свой огород, прошагать полсотни верст за день для него было почти обычной ходьбой.

Про все это Полозов подумал:

— С таким дядей приятно иметь дело — договоришься сразу.

Но в огороде была женщина, — розовый платок мелькал под рябиной. Женщина развешивала белье и пела вполголоса, рассеянно и унывно.

— Хозяюшка... — встал на одно колено Полозов.

— А-а... ба-атюшки! — и женщина замерла с открытым ртом, распялив обеими руками большемерные полосатые подштанники.

— Хозяюшка, — ободряюще улыбался Полозов, радуясь человеку. — Я ранен в ногу, встать мне помоги. А ищу я Николая Чупина...

— Так это ж мужик мой! Ты... не веревочку ли от нас ищешь? — и круглое бабье лицо сразу стало настороженным и умным.

— Веревочку ищу... да! — все радостнее улыбался Полозов. — От села Ракитина до села Сроева...

— Ладно-о! — уже отсмеивалась хозяйка, суя Полозову палку и крепко обняв его ниже подмышек. — Дело, вижу, знаешь. Шагай, шагай, сейчас в избу придем. Да что ж ты этак вздыхаешь-то, словно маленький... а?

— Рад, хозяйюшка, что иду... а то ведь полз, не очень это приятно.

— Кого уж тут? — сочувственно сказала она, употребляя сибирское «кто» вместо «что». — Да как тебе попало-то?

— А черт их знает. Шел по лесу, да и подстрелили конные беляки. Я упал, и они поехали дальше, думали, видно, что убили.

— Ездют... колчаки проклятущие! — низким дрожащим от злобы голосом сказала женщина. — Третьеводни целой сворой накатили, искали опять кого-то. Десятерых баб выпороли... вот подлые-то.

— Тебе не попало? — шутливо спросил Полозов.

— Не, храни господь! — и женщина широко перекрестилась. — Да мне мужик сторожиться велел, молчать больше... Наша, говорит, возьмет и так... Он у меня хитрый.

— Вот и хорошо. Поговорим сейчас с ним.

— Да ведь дома его, слышь, нету, на лесосеку уехал дрова заготавливать — хозяйство, без дров нельзя.

— Эх ты... незадача какая... А я думал все это сегодня сделать.

— Да как же сегодня-то? — спокойно рассмеялась она, осторожно ведя его по крылечку. — Из ноги-то вон у тебя как каплет,

лечить ее надо, на одной ноге в тяжкое такое время не ускачешь. А тут и Чупил мой под'едет. Он не замешкается, не бойсь. А всех нашенских мне велел встречать.

Поахала, промывая Полозову рану. Пуля пробила сухожилие и разорвала нижнюю часть икры.

— Ежели больно станет, так ты зареви. Сейчас обвязывать буду.

— Ты такая ловкая, что реветь вовсе не понадобится.

Боль в ране ощущалась теперь острее: казалось, начиная от макушки головы, все жилы стягивает в один ноющий узел и закручивает все крепче. Но говорить об этой боли и замечать ее не хотелось. Наперекор ей появилась какая-то улыбчивая удовлетворенность. Полозов не доискивался, из чего она сложилась, но главное в ней было чувство победы над своей слабостью. Приятно было сидеть возле окна, упираться здоровой пяткой в пол, вдыхать теплый запах свежего хлеба. Небо казалось сейчас далеким и недвижимым, призрачное сизой пленкой наступающей темноты. Женщина, круглолицая и чистоплотная, готовила стол к ужину и на ходу рассказывала о деревенских делах.

— Спрашивай, спрашивай, — на миг остывая от возбужденной своей речи, говорила она. — Никулушкины дела мне все известны...

Доверие Полозова к ней все возрастало. Ее розовый платок, мягко прикрывший небольшой спокойный лоб, свежо выглаженная ее кофта в зеленых крапинках, чистые от старательного мытья перед едой руки, — все это еще добавляло к доверию какую-то свою, крепкую приятность.

— А как зовут тебя, хозяйшка?

— Серафима Капитоновна, мил-человек. Кушай, пожалуйста, не стесняйся, — говядина и свинина у нас свои завсегда.

Вдруг она бросила ложку и сердито захлопнула окно.

— Несет ведь их, окаянных!.. Прямо вот словно на грехи какие...

— Про кого ты, Серафима Капитоновна?

— Да на постой вчерась еще ко мне хотели солдатню поставить, а я разговорила старшего: одна, мол, мужик на лесосеке, то-се... А сейчас, гляди, опять прутся, дьяволы... И нет на них, чертей, пропаду... Мать ты моя — богородица-а...

В сенях уже затопали. Дверь распахнулась, огромный сапог чудно и бережно ступил на половичок.

— Прости христа-ради, хозяйшка, побеспокоили тебя!

Первым вошел саженный человек, виновато кивая большою лобастой головой. На лице его, обросшем сивой щетиной, уныло и безобразно возвышался багровый мясистый нарост, который даже странно было назвать носом.

— Куда-ж... баракло-то наше... положить, дорогая? — умеряя нарочитым кашлем свой трескучий бас, все топтался у порога саженный дядя.

— Эх, да ну тебя, Мотяга!—толкнув саженного, вошел второй, тонкий и юркий, как хорек, его высокие сапоги франтовски блестели. Сходен с начищенной кожей был блеск его черных выпуклых глаз, был этот блеск какой-то наведенный извне, пустой и неверный.

— На Ивана Мотягу пра-ашу ноль внимания! — развязно поклонился черноглазый. — Он у нас юродец, христарадник и казенную службу в расчет не берет. Наше дело маленькое, велят на постой встать — встанем, повелят уйти — уйдем, уйдем, слова не говоря! Он бесшабашно свистнул, скаля белые щелястые зубы, и повернулся на каблуке. — Имущество разрешите в сенцы, что ли?

— Ладно, — сухо бросила Серафима.

— Мотяга, клади мешок вон в тот угол... Левей, левей... вот раятяпа!.. Ну та-ак! — распорядился черноглазый. — А ты, Касьян Скорнионыч, чего уставился? Нечего сопеть, брюхан несчастный, лучше распологайся в два счета... ать-два... ать-два!

— Ну... ты не очень тоже задавайся, не велик барин! — с ленивым раздражением пришепетывал Касьян, беря с полу свой мешок.

— Эх... и тверды-ый!.. Будто камнями набит! — ударил по мешку черноглазый. — Это он, голубчик, все хлебами запасается, — никак адмиральска казна его накормить не может... ха-ха...

Касьян обернулся и растерянно пожевал толстыми вывернутыми губами. Желтая ерошка его волос задвигалась вместе с низеньким оплывшим лбом.

— Василий Стебенеv, меня Серапионычем величать... я на тебя начальству пожалуюсь! Разберет начальство, как ты меня засмеял... да...

— Гха... гха...—Стебенеv закинул голову, гортанно хохоча.— Гха... гха... Начальство о нас с тобой мараться не будет, а моего характера им тоже не изменить-с...

— Что ж ты неизменный какой? — недружелюбно щурясь, сказала Серафима. — Да и кричишь ты больше всех. Может, сам когда начальником бывал?

Стебенеv отошел от двери и вынул из кармана пачку сигарет.

— А вы, хозяйка, напрасно смеетесь, — медленно сказал он, и глаза его маслянисто и зло блеснули. — Напрасно сметесь, а ведь я и обидеться могу.

— Вот ты какой! — сбоку взглянула на него Серафима.

— Да, уж я такой. Не ласковы вы к солдату, хозяйка. Вон хозяин у вас куда простей, я вижу, — и оскалив щелястые зубы, Стебенеv кивнул на Полозова. — Папиросочкой могу угостить, а?

— Что-ж, — равнодушно сказал Полозов и взял папиросу.

— Английские?

— Да,—Стебенеv небрежно выплюнул обкусок мундштука.—Препаршивые сигаретишки... У каптенармуса другие еще есть... ш-шик, з-запах какой!.. Ну, да те не про нашего брата... Что поделаешь? Все люди сволочи...

Стебенеv вяло зевнул.

— Э, — кивнул он головой вниз под стол, — что это у тебя, хозяин, нога-то завязана? А?

— Ловчее придумай! — озабоченно приказывали Полозову глаза женщины.

— Да... вот попало по дороге.

— В отпуск, что ли, пришел?—с чего-то забеспокоился Стебенов. Полозов смахнул со стола крупную сонную муху.

— Да, в отпуск.

— Ага-га... Где ж ты служил-то?

— В... обозе.

Полозов тоже зевнул, нарочно протяжнее, чтобы показать, как он устал и как мало расположен к длинным разговорам. Но Стебенов все не унимался, будто не замечая своего назойливого любопытства.

— Ты в какой части был? Видно, близко к красным? А? Кто начальство-то? А?

— Генерал Вальковский, — опять зевнул Полозов. — Спать охота, землячок.

— Спокойной ночи, блаженных снов! — торопливо вскочил на ноги Стебенов и наморщил лоб, — генерал Вальковский... да, да... есть у нас такой... есть, правильна-а...

И будто успокаиваясь, вышел на цыпочках в сени.

Полозов проводил глазами его сухощавую спину и подумал: «этот опасен,—маньяк или мерзавец, а я определенно влип в историю».

Усмехаясь одними глазами, шепнул хозяйке:

— Вот дела-а! Приняли меня за твоего мужа... Я ждал, Серафима Капитоновна, вот-вот выдумаешь ты, что я тебе родня какая...

— Ложись на полати, — вместо ответа сказала Серафима и, подумав немного, добавила озабоченно:

— Нет, уж так лучше будет. Муж — это боле на правду похоже. Да ведь и сохранить я тебя должна, а то что мне Николушка скажет?.. Своих людей береги, всегда он мне наказывал.. Подушка-то тебе не низка?

— Нет, ничего, спасибо тебе, Серафима Капитоновна... Только слушай, вдруг твой Николай завтра с лесосеки прикатит?.. Неудобно ведь будет, а?

Он чувствовал перед этой озабоченной женщиной неясную вину. Конечно, он должен был во время этого нелепого разговора дать сразу понять, что он Серафиме родственник какой-нибудь.

— Ты уж не сердчай на меня, Серафима Капитоновна, что я сам не догадался, — зашептал он опять, свешивая голову с полатей.

— Нишкни, нишкни! — шутливо отмахнулась она. — Хитрости бабьей достанет, вывернусь как-нибудь.

Утром нога Полозова распухла, больно было шевельнуть.

— Жар у меня, — сказал он Серафиме, насильно улыбаясь. — Заварил я кашу, хозяйюшка.

Он задыхался на полатях, а слезть не мог. Огромный Иван Мотяга сидел на пороге и хлебал из котелка щи, стараясь делать это как можно тише.

— Что, хозяин, неможется?.. Ах, ведь горе-то какое!

— Душно мне тут наверху.

— Сейчас, браточек, сейчас сыму тебя.

У Мотяги были широкие, как лопата, теплые ладони. Бережно опуская Полозова на кровать Серафимы, он горестно поклонился.

— До чего страдает народушко, а?.. Брат на брата... Чай, православный же тебя пристрелил?.. Может, кто еще и из наших частей... прости христа-ради...

Последние слова Иван Мотяга произносил с особым ударением, как это звучит у нищих.

— Кроток ты очень, дядя, — неопределенно сказала Серафима, проворно наливая на горячую сковороду новый блин. — Такие кроткие люди ныне ни к чему.

— Как это ни к чему? — испуганно привскочил на стуле Мотяга. — Меня, милая, слушают, хоть и смеются иногда.

— А вот как баб недавно гороли, видал? — невесело усмехнулась Серафима. — Целых десять штук... Вот бы тебе умолить... ха... ха...

— И умолил бы, вот-те Христос! — с блаженным каким-то отчаянием вскрикнул Мотяга. — Да я бы сам лег... на-те, мол, нахлестывайте по мне... А за меня вам бог простит...

— Ах, ты, чадушко!.. Богу до земли не дотянуться. Ладно, хоть побормочешь о нем, душу отведешь. А за других тебя наказывать кому выгода?.. На, блин с'ешь, не придумать тебе ничего.

— Может, вправду и не придумаю ничего, а от веры моей отстать не могу, — по-стариковски жуя, покорно сказал Мотяга. — Я ведь, родная, не к солдатскому житью готовился. Была у меня лавчонка маленькая... ну, хлеб, табак, керосин, чай-сахар... жили мы потихоньку... Но сгорела моя лавочка... и жена, и ребят трое, и коровенка тоже... Остался я безроден и гол... да... А монашек знакомый и говорит: «Это тебя для твоей же благости господь пришиб»... Так на этом я и утвердился. Пожалел весь мир, в монахи решил итти. А тут монастыри прикрыли... Тогда решил я, голый, безродный, братом быть для всех...

Пришел Стебенев и Касьян. Стебенев с сожалением щелкнул языком.

— Ого-го, хозяйка, заграбастало твоего муженька. Гляди, вдовой останешься!

— Ничего, не твоя забота, может, еще и не останусь, — гремнула ухватами Серафима. — А и овдовею, хлеба у тебя не попрошу.

— Не любят меця люди! — притворно вздохнул Стебенев и оскаллился без улыбки. — Впрочем... я и сам людей не люблю...

— Раззоряться не для всякого стоит? — фыркнул Касьян, старательно вмешивая масло в кашу: котелок его был полон. Ел Касьян много, жадно, и настроение его зависело прежде всего от еды.

— Надо для того стараться, кто поит-кормит... на этом вся земля держится...

— Фу! — с омерзением дернул плечом Стебенев. — Вот зверюга! Жрать потише не можешь?

— Не над твоим стараюсь, — добродушно икнул Касьян, пуча мутно-голубые глазки, слезящиеся от утробного удовольствия.—Ежели бы начальство кашу давало без масла, я бы не так ел. Потому не мешай.

— Ты, браточек, сам тоже начни кушать, вот и замечать не будешь, — миролюбиво посоветовал Мотяга.

Стебенев ударил каблуком об пол и гордо вскинул приглаженную голову.

— Я — человек, главней всего!.. Что для меня жратва эта?.. Вон майданка моя не тронута стоит. Эй, обжора богова, слопай потом и мою порцию! — оскалился он в сторону Касьяна и, все так же вскидывая голову, будто охорашиваясь, горделиво прошелся кругом.

— Зачем изгаляешься, браточек? — с ласковой укоризной сказал Мотяга. — Не ты один человек, все мы по-божьему подобию созданы.

— Х-ха... И этот тоже? — подергиваясь беззвучным смехом, Стебенев вытянул тонкий узлистый палец в сторону жующего Касьяна.— Это же с-скот только с человеческой речью... Вот он сидит... пролетарья-ят!.. Свинья свиной... жратва да курица — больше ничего ему не надо... Эй, Касьян Скорпионич, ты, кажись, в шахтах работал?.. Та-ак... Где лучше: в солдатах или шахтером быть?

Касьян хмыкнул с полным ртом. Громко сглотнул, выпуча глаза, и потер живот.

— Эко, сравнил!.. В солдатах, конечно, лучше. Ежели этак служить, как сейчас, так я до смерти согласен.

— Ага!.. Правильно же я говорю! — развеселился Стебенев и даже захолопал в ладоши.

— А злоехидный ты, парень, — недружелюбно усмехнулась Серафима, заметая на шестке. — Гляжу я на тебя и дивлюсь даже... жжешь ты всех, как крапива.

Стебенев пощипал свой острый бритый подбородок и сказал важно.

— Я, хозяйка, особенный человек, мало таких людей, а может, и вовсе нет. Вы вот из своего двора никуда, а я уж тыщи людей, тыщи верст перевидал. Медником я был сначала—не повезло, давай ремесло менять: пекарем стал, потом подручным на мельнице, приказчиком... э, горошинкой сухой по земле катался вдоволь. Под конец слесарем был... ха... отсюда замки пошел ломать... Д-да... Тут все перекувырнулось, н-но... не нашел я приятной себе жизни. Был у Корнилова в «дикой», на Дону был, у зеленых был, у красных... теперь у адмирала Колчака болтаюсь... Перепуталось у меня все в башке, а кто виноват? Люди, люди!.. И главное — все правды боятся, держат правду под ногтем, как блоху!.. Отчего многие люди доли своей найти не могут? А?

Он возбужденно облизнул сухие губы тонким, гибким, как червь, языком.

— Отчего такое происходит? Оттого, что правда спрятана.. да.. да!.. Одни прячут хитро-прехитро, а другие ищут.. Я вот тоже правду ищу..

— Правда одна — божья, — торжественно похлопал его по плечу огромный Мотяга и важно, с трубным звуком высморкался. — Правда, она — божья, браточек.

И, пряча в карман грязный платок, Мотяга пошел к дверям.

— Нет, дудки, дудки! — кричал ему вдогонку Стебенев. — И не божья она, правда, и не человечья, и не чортова!.. Она сама по себе! Она — то, что есть, от чего никто не спрячется.. дудки!.. Да ежели б каждый так делал, разве бы такая жизнь была? А?.. Эх!.. Малинник бы это был, мед сотовый..

— Не кричи, сделай милость! — строго сказала Серафима. — Больному человеку покой надобен. А ты, парень, гляжу я, запутался вовсе и другим покоя не даешь.

— Нисё-ё, — хрипло зашепелявил Касьян, его корявое лицо лоснилось от пота.—Нисё, тут дело простое: девку ему надо хорошую привести..

— Дурак ты, — отмахнулся Стебенев, — девками я сыт во-как, даже мерзко.. Впрочем, что с тобой, утроба глупая, разговаривать о больших делах? — надменно прибавил он, хлопнув дверью.

— Ушли, слава те господи, — вздохнула Серафима и подошла к Полозову.

— Не дали тебе заснуть, Дмитрий Петрович?..

— Не беда, — через силу выговорил Полозов. — Соснуть успею.. мне бы скорее Николая Чупина увидеть.. скорее бы..

— Оздоровей сначала. Я вот к старухе сбегая.. есть у ней трава лечебная; любую рану затянет.

В ушах Полозова все еще звучали разнобойные волны недавних разговоров. Он слушал их в полусне, шумела в ушах жаркая кровь, и голоса все густели, росли, наконец, загремели водопадами. Потом открылась дорога, изрытая, каменистая, в гору. Остро и сладко пахли ели. Все быстрее хотелось шагать, нетерпеливая забота жгла грудь. «Чупин.. Николай Чупин, да скоро ли ты? Время не терпит.. Николай Чупи-ин».. Изголуба-зеленая ель наклонилась к Полозову и обняла пышными ветвями. Невыразимый покой и прохлада в смолистых ее навесах. «Ну, чего ж кричать-то?» заговорила вдруг ель. Тут Полозов удивился до дрожи и открыл глаза.

— Ну, проснулся, наконец..

Серафима поправила на лбу Полозова мокрое полотенце.

— Ты ведь даже вспотел малость.. вот и хорошо.

— Что это? — с усилием выходя из бредовых снов, спросил Полозов: желтое пятно на стене показалось странным. — Что это, а?

— Лампа ж горит. Ночь скоро.

— Я... долго спал?

— Как приложила я к ноге той травы, так ты скоро и заснул. Ну и кричал же ты, батюшки-и!

— Неужели? — в полузабытьи спросил Полозов.

Сны еще бродили в нем: сладко и тепло ныла грудь, — докипал в ней бредовой восторг. В ушах, как дальние бубенцы, отдаленно звенели какие-то голоса, и только теперь пришло запоздалое удивление, что обнимала его молодая смолистая ель.

— Я уж нарочно и разбудила тебя, боязно стало: вдруг ты что лишнее выкрикнешь, а тут солдатня недалеко спит, — озабоченно шептала Серафима.

— Спасибо, — приподнял голову Полозов. — Хорошая ты, право, женщина.

Он вдруг почувствовал, что боль в ноге ослабла и рана только зудит слегка.

— А ведь мне легче, Серафима Капитоновна!.. Ей-ей, легче!.. Вот молодчина ты, помогла мне.

— Так это ж не я, а трава такая. Погоди, как она называется...

Она потерла лоб и на миг задумалась. Полозов вздохнул и осторожно потянулся, пытаясь сжать кулаки.

— Э, нет. Не могу еще.

Ушли, перебродившись, сны. Жизнь опять торопила, угрожала неизвестным, заботливые и теплые руки женщины ничего не в силах были остановить.

— Слушай, Серафима Капитоновна, нельзя ли мне на лесосеку к Чупину попасть?.. Когда дело не сделано, это уж не жизнь. Отвези ты меня к нему в тайгу. А?

— Ой, что ты-ы? — испуганно отмахнулась она. — В тайге я, как гостья, дороги только ближние знаю, да и лесосека ныне не та... А потом разве ж можно раненого человека на подводе к лесу везти?.. Сразу эти дьяволы заметят... Этаких-то гадюк, как Стебеньев, расплодилось ныне, как грибов поганых. Так ведь и шнырит глазами, так и шнырит.

— Значит, надо меня вечером, ночью увезти... я бы, пожалуй, опять пополз... версты то полз, только бы сговориться с Чупиным, планы с ним обмозговать, знать бы уж заранее что и как... А я вот лежу второй день колода-колодой... у-ух...

Он даже скрипнул зубами от внезапной и едкой тоски.

Он чувствовал себя скованным своей беспомощностью и задрожал от боли, стократ сильнейшей: сознание и воля изнемогали в бесплодном напряжении.

— Серафима Капитоновна, доставь меня... Голубушка, как-нибудь дорожку-то вспомни, у соседей спроси... К утру уж наверно ноге лучше... палку крепкую мне достанешь... Я тут спятить могу, если еще дольше лежать буду... Устрой, голубушка...

Серафима задумалась.

— Да ладно уж, — приложив палец к губам, шептала она. — Выведаю я завтра у одного старичка, в какую сторону с дороги сворачивать, его делянка по соседству, он обскажет дорогу со всеми приметам...

— Вот-вот! — радостно заворочался Полозов. — Как благодарить тебя буду!.. Ночью поедem, да?

— Ночью, — кивнула она и жалостливо приложила руку к щеке. — Только вот как поедешь то? Истрясет тебя всего на кочках...

— Ничего, хозяйюшка дорогая, молодцом буду, — весело подмигнул он.

— Трудная твоя жизнь, гляжу я, Дмитрий Петрович, — женщина смотрела на Полозова большими раздумавшимися глазами. — Тут пока ты во сне выкликал да беспокоился, подумала я: вот до сердца ему забота доходит.

— Что поделаешь? — чувствуя все сильнее приток какой-то подмывающей веселости, махнул рукой Полозов. — Ежели иначе нельзя, другой жизни пока искать не буду.

— Сколько годов то тебе?

— Тридцать недавно исполнилось.

— Годы — самый цвет, — раздумчиво любопытствовала женщина. — Семейный ты? Дети есть?

— Жену в позапрошлом году схоронил.

— Что так?

— Еле в живых застал, когда из ссылки вернулся. Тяжело ей жилось без меня, вот и...

— Деток, значит, не оставила?

— Нет. Был сынишка, без меня умер.

— Бобылем, значит, живешь? Что не женился то?

— Не успел, по совести скажу.

— Вот ведь чудной. У нас мужики еле месяц провдoveют, да и опять под венец. И что это какая бывает у людей кровь до себя не охочая, а?

Тон ее становился все теплее и жалостливее. Ей казалось, что этот небольшой сухощавый человек несчастен, но не замечает этого. Его слегка вздернутый нос заострился от боли, вокруг по-детски мягких губ и вдоль опавших щек темнела щетина, возле уха прилип к желтоватой коже смешной хвостик отросших каштановых волос.

— Ты словно постарел с лица-то, мил-человек.

— Болезнь ведь не красит, сама знаешь, да и не брился несколько дней.

Но Серафима объясняла по-своему. Лицо Полозова казалось ей запущенным и жалким из-за его несчастной и странной жизни. Серафима считала некоторые законы непреложными для всех людей: жениться, растить семью, копить добро для детей, отдыхать и веселиться, хвастаясь всем домашним обиходом. Так всегда делала и она, румяная, крутозадая, чистоплотная баба.

Всякое домашнее ее торжество, сдобренное соседской похвалой, казалось ей законной оплатой за те силы, которые брала у нее земля.

У человека, лежащего на ее кровати, ничего этого не было, и он, похоже, и в уме-то не держал никаких жалоб на свою жизнь.

— Ну, мы крестьянский народ, мучаемся ныне немало. И неохота бы, да мучаешься, — хозяйствовать не дают спокойно. Без хозяйства же нам не жизнь на белом свете... Ну, ладно, а такие, как ты, к примеру... ты, что думаешь получить? За что бьешься?

— За весь мир бьемся, Серафима Капитоновна.

— Не много ль?

— Меньше не согласны.

Ночная тишина, желтый круг лампы на чисто выбеленной стене, большие изумленные глаза женщины и простая ее готовность служить ему, до вчерашнего дня совсем неизвестному человеку, наконец, ясная надежда, что завтра, в такой же глухой час, он будет продвигаться к цели, — все это подняло дух, из распахнутого сознания с попутным ветром понесло мысли к преображенным землям. Полозов рассказывал изумленной и притихшей женщине о будущих садах человеческой жизни, и сам удивлялся своей говорливости. Но скоро понял, отчего это так. В серых глазах женщины то исчезал, то появлялся неровный рассеянный свет, — так сквозь кусты, деревья и травы падают лучи солнца на целину. Душа женщины напомнила ему такую спящую целину, и он, старый пропагандист, почувствовал себя лесорубом, взрывателем и сеятелем.

— Что это и будет... впервой слышу, — прижала она руки к груди. — Тогда люди и помирать не захотят. Но ведь итти то как долго надо!.. Долго ведь?

— Конечно, а ты как же думала? — тихонько засмеялся он, довольный ее блуждающим взглядом.

— А я бы никогда со двора своего не ушла, — виновато склонила она голову. — Ей богу бы, не пошла... а ежели бы силой вывели, померла бы наверно.

В любопытстве ее появилась какая-то смиренная почтительность.

— Ох, трудную ты себе жизнь постановил, голубчик ты мой! А вот ежели всю жизнь придется итти... не дойти ведь, так и помереть можно без ничего.

— Ну, что ж?.. Люди все родятся новые, растут, будет кому и после нас. Люди еще терпеливее муравьев, ты не думай, — пошутил он напоследок, сладко потягиваясь и осторожно сжимая и разжимая кулаки.

— Что это у тебя какие белые пятна на руках то?.. Вон тут и опять вон где... Отчего это? — спросила Серафима.

— А, это уж давно. Я ведь с шестнадцати лет литейщиком, так вот первые то годы неловок был, частенько под ожоги попадал. В литейном цехе работать — знай, поглядывай... кругом железо кипит... да...

— Кого уж там, хуже чем в аду, страсть какая—этакое место!— покачала она головой. Это новое представление о Полозове она соединила с другими мыслями о нем и поражалась все больше.

— Ох, трудно ты себе жизнь постановил, — сказала она опять, вдруг застыдясь своего румяного лица, своей девичьей пышной груди, своего бесплодия, которому завидовали десятки баб. стыдно вдруг стало одеяла из шелковых и бархатных лоскутков, а ведь в свое время сколько радости было, когда по сходной цене купила у городской портнихи целый узел этих лоскутков. Самовар из красной меди, казалось, нахально выставлял вперед свое жарко начищенное брюхо,— так бы и спрятала его куда.

Серафима схватила край полотенца со стены, чтобы закрыть это глупое самоварное брюхо, и отошла на цыпочках: Полозов полузакрыв глаза, засыпая.

— Ты что?.. — сонно пробормотал он и замолк, улыбаясь детски-мягкими губами и шевеля бровями. Серафима, приложив палец к губам, еще постояла у стены, где висело полотенце. непонятное удовлетворение чувствовала она, смотря на лицо спящего. Брови его уже перестали шевелиться, но улыбка таяла медленно, будто и во сне берег он ее, как редкую радость. Серафима не заметила, когда пропала совсем улыбка, линии его рта стали резче, лицо потемнело, печальное, вдруг состарившееся.

— Святым ведь тебя не назовешь, потому такой ты, что лучше святого... Серафима вдруг скорбно обрадовалась этой мысли и легла на пол у порога, чем-то потрясенная и счастливая, хоть и не получила ничего в руки. Слезливостью никогда не отличалась, а тут глаза были мокры, сердце билось часто-часто, будто мчалась она на горячих конях. Серафима еще раз прислушалась к его дыханию и закрыла глаза, готовая ежеминутно вскочить на его зов. Странно и неясно было ей, откуда выросла в душе эта совестливо-радостная гордость. Лежала она, Серафима Чупина, уж вовсе не на хозяйском месте, а как верный пес у порога, но все и в душе, и вокруг было особенное. Похоже было, что видела она, Серафима, необычайные дела, каких не знают люди, а они и хотели бы посмотреть, а только ей одной удалось.

II

Утром напрасно зубоскалил Стебенев, пытаясь раззадорить хозяйку. Серафима молча месила квашню, готовя гостю хлеба в ночную дорогу.

Но ехать никуда не пришлось, — после полдня, когда солдаты ушли за обедом, приехал из лесу Николай Чупин.

— Пристрелили? — сразу понял он, взглянув на забинтованную ногу Полозова. — Дьяволы-ы!.. Вовсе нынче осатанели, видно, конец свой чувт... Ничего, отлежишься. Кто ко мне с делом послан, будь спокоен.

Прижал ладонью к плечу тугокосую голову жены и похвалил:
— Молодчина ты, Фимка! Выходила дорогого гостя.

Подсел на край к Полозову и осторожно похлопал по спине.

— А ты будь спокоен, товарищ, выходим, как надо и к месту доставим.

Он был плотный и большой, двигался уверенно и неспешно. Коричневая бородка мягко вилась вокруг его медно-загорелого и белозубого лица. Тот же мелко завитой волос почти до шеи покрывал его грудь и тугие бугристые руки. После умывания он крепко вытерся полотенцем, отрывисто кряхтя и нагибая мокроволосую взлохматившуюся голову.

— Ну, теперь и калякать можно. Запри, женка, двери.

Сначала Полозов рассказывал и спрашивал, потом начал Чупин. Посмеиваясь и раздувая ноздри, он на миг задумывался, потом устремлял на Полозова напряженно играющий взгляд.

— А вот тут мы так обделаем...

Он знал на десятки верст наокруг имена и повадки мужиков, тропки, перелески, тайные надежные места в тайге. Он мало смотрел на план, хоть и признал его верным.

— Неграмотен я... Уж лучше я в уме это все соединю, вернее будет.

Полозов восторгался тайком: «Да, он талант настоящий... прямо драгоценный мужик! И как ориентируется здорово, отменная память!».

Полчаса не прошло, как Чупин уж побывал где-то, двух верховых послал с поручением.

— Через неделю—две выплет наша волость этим дьяволам по первое число! — Чупин хитро подмигнул и похлопал ладонями по груди.

— Да, уж через две недели это дело поспеет наверняка, — сказал он опять, как-то хозяйственно щурясь, и тут только заметил что жена озабочена и молчалива.

— Ты что это, Фимушка?

— Да вышло тут дело одно... Ни я, ни гость не при чем, а все солдатня...

И Серафима рассказала, как Стебенев назвал Полозова хозяином.

— Что-то не сдогадалась я во-время отшутиться, вот он без малого двой сутки за мужа слывет.

Николай засмеялся.

— Ну, и пушай слывет... от молвы ведь мужем не станешь.

Он потянулся, размахнув руки и выгибая вперед и без того выпуклую грудь.

— Еще что, Никола, придется тебе за... за брата, что ли, сойти...

— Гм... заварила ты кашу, глупая!.. — шутивно проворчал он. Но с солдатами перезнакомился как хозяйкин брат.

— Ты еще и хитрый, оказывается, товарищ Чупин, — шепнул ему после ужина Полозов.

— Нам, брат, нельзя без этого, — самодовольно усмехнулся Чупин.

— Любишь ты у меня хвастать! — ласково сказала Серафима. — Хитрец какой знаменитый выискался!

Утром Николай Чупин должен был сам себе сознаться, что есть люди хитрее его. Раздосадованный, что проспал лишнее, Чупин вышел из сарая и сразу же наткнулся на Стебенева.

«Экой нелюбой парень... будто вот дожидался меня тут!» подумал Чупин и сухо поздоровался с солдатом.

— Как выспался, богатырь? — Стебенов дымил зараз ртом и носом.

— Спал ничего, — неохотно бросил Николай.

— А я вот за вас с хозяйкой побеспокоился, — все дымил Стебенов. — Мы на крылечке спим. Вдруг слышу, — кричит он... хозяин, то-есть... Со сна закричал, больной человек, жажда замучила. Я смеюсь: что ж, говорю, жена одного тебя оставила, видно с братцем-то спать ей приятнее...

Оба не заметили, как подошла Серафима с ведром отрубей в руке.

— Ну, ну... — с напряженно звонким хохотом прикрикнула она на Стебенева. — Не ври, пожалуйста, я в избе спала, а тут как раз к корове уходила. Переходка она у меня, все никак не разродится.

Николай на миг встретился с ней глазами, — ее блестящий взгляд молил и приказывал.

— Я что-то постели твоей в избе не заметил, — топча цыгарку, усмехнулся Стебенов.

— О-о, господи-и, любопытники есть на белом свете! — поставила ведро на землю Серафима и возмущенно вспыхнула. — Ежели вот тебя клопы едят, так не смей постелю на дворе вытрясти... надо, вишь, ему об мою постелю споткнуться... Вот, погоди, прямо на порог ныне головой лягу, гляди — не кувырнись, да башку не разбей!

Она небрежно подмигнула, смешливо облизнула губы и, взяв ведро, спокойно пошла к свиньям. Николаю показалось, что она чем-то горделиво довольна.

— Ловка-а! — и Стебенов свистнул.

Когда солдаты ушли за обедом, Николай нетерпеливо спросил жену:

— Чего ты это городила? Где ты ложиться нынче собираешься?

— Где? В избе лягу, — спокойно кивнула она, удивленно поднимая плечи. — Никак по-другому нельзя, — еще сдогадается этот чернявый леший, загубить человека можно. Нет, в избе нынче лягу, — опять повторила она.

Николай даже отшатнулся, — никогда еще не бывало, чтобы жена отказалась лечь с ним.

— Что же это выходит... о чужом забота для тебя главней меня?

— Николушка, — заволновалась она, лаская его потемневшее лицо. — Не перечь ты мне, ради христа... ради гостя надо постараться... Не простой ведь он человек, таких мало на земле.

— А ты уж и обрадовалась, податься к нему охота?.. Ишь, нового мужика захотела...

Николай грубо дернул головой, отбросив ласковые женины руки.

— Семь лет прожила с мужем, так свежатины тебе подавай...

— Да ты очумел! — женщина тихонько ахнула, подняла руки вровень с лицом и замерла так, беспомощно и печально защищаясь. Ее нижняя губа обиженно, по-ребячьи отвисла и задрожала. Николай вдруг понял, что сказал скверно, что сам никогда не поверит этому.

— Фимушка... — протянул он к ней руку. — Ты, слышь, сердиться не вздумай... я ведь это сдуру, зря...

— Ладно уж... — не глядя, вздохнула она и неловко застегнула пуговку у ворота. Отошла шага на два и сказала обычным голосом:

— Там у колодца чтой-то цепь закрутилась, поправить надо.

— Ладно, ладно! — радостно заторопился Николай.

Серафима посмотрела на его широкую спину: рубахи всегда выцветали и лопались раньше на лопатках,—крутыми холмами спу-скались от плеч мускулы, ситцевый покров не мог бороться с буйной жизнью этого крепко сбитого тела.

— Медведушко ты мой! — шепнула про себя Серафима и впервые почувствовала к мужу какое-то обидно-грустное снисхождение. Она вдруг поняла, что ему, мужу ее, с которым в любви и согласии прожила семь лет, нельзя рассказать, как засыпала она в позапрошлую ночь. Ни дум ее, ни странных и гордых слез не понял бы Николай Чупин.

— Сосчитал бы все по-своему... по-мужиковски... Что уж это,—словно кобели о нас они считают, — все обидчивее думала она. Теперь намерение ее ложиться в избе окрепло еще сильнее.

— Ночью нынче ехидна-то чернявый испугал тебя, Дмитрий Петрович? — ласково спросила она, ставя на табуретку перед Полозовым тарелку с кашей.—Сегодня уж ему не придаться,—я лягу в избе.

Немного помолчав, добавила:

— Пока не оздоровеешь, так и буду тут спать.

— Спасибо, Серафима Капитоновна, — просто сказал Полозов, осторожно сел на постели и взял ложку.

-- Вот как мало сказано... есть же такие удальцы! — угрюмо зашутил Николай. — Это тебе не квасу из ковша выпить да назад отдать: «спасибо», мол, боле не требуется. Тут... жена от мужа уходит, чтоб тебя, чужого, ей сторожить... Ха... ха... Кабы не был ты сейчас колченогий, велел бы я тебе на колени встать, кланяться земно за такую услугу... Что? Каково? Плохо ли шучу? А?

Полозов, тихонько морщась, сел боком и обратил к Чупину внимательный и строгий взгляд.

— Только дурак это за шутку примет, Николай Сергеевич. Я же в своем уме, и, конечно, намеки твои все понимаю. Даже если бы мог, на коленях бы благодарить не стал. Серафима Капитоновна понимает, что для большого дела старается. Поверь, товарищ Чупин, я только одного теперь и желаю, чтобы дальше быть от твоего дома.

Николай самолюбиво вспыхнул и подошел к кровати.

— Зачем тебе охота меня таким подлым выставить? А? Ежели уж я сказал, что самолично доставлю тебя, значит, так и будет!—Он упрямо топнул и сверкнул глазами. — Значит, так и будет! Да!.. Все знают, что слово мое крепко.

— Я и не сомневаюсь,—спокойно сказал Полозов. Серафима следила за мужем, и он казался ей жалким, пристыженным, будто его в чем-то обличили, а оправдаться трудно.

Николай глядел исподлобья, говорил медленно, с трудом, будто за каждым словом надо было низко нагибаться, как за драгоценным и редким зерном.

— Ты вот что рассуди... деревенский человек и городской... на-особицу они, ей-ей... уж ты поверь... да. Городские... те больше разумом живут... намыслят себе чего-нибудь, надумают — ну, и живут так... А мы, земляные люди, мы... больше плотью живем... Да, мы ее, плоть то, первой всего чуем...

Он откашлялся, ударил себя в грудь и протянул вперед большие натруженные ладони, в ссадинах и мозолях, с черными кривыми ногтями.

— Вот она, плоть то... гляди!.. Тебе что с машиной,—взял, да повернул во время винтик... А... на лесосеке, к примеру, воевать надо с каждым пнем... как кишка выдержала, так и живешь.

— Не так надо жить. Плоть без разума—мясо, и больше ничего, — сказал Полозов.

— Да, а вот деды и прадеды наши века-вечные так жили, да и мы тоже...

— Ненстоящая это была жизнь, хоть и века прожиты, — заволновался вдруг Полозов: из под этих насупленных бровей глядел на него дремучий лик деревенской его страны, бревенчато-соломенной, кондовой,—и не Россия даже, а просто Русь. Вдруг показалось, что городов-то наперечет, как островов, а вокруг их избяной, лесной, пашенный океан. Но каждый остров вдруг перед Полозовым задымился и закипел, как литейно-кузнечный цех, где льют, куют своды. настилы и рельсы для мостов. И уже вставали мосты от острова к острову, полосовало, обнимало железо океан, утверждая невиданный, веселый и сверкающий лик земли.

Но миг — и вновь увидел Полозов дремучий и тоскующий взгляд Николая Чупина. И Полозов вдруг понял, что одного железа и камня еще мало, — он; Полозов, обязан, должен любить Николая Чупина, миллионы Чупиных, любить стойко и терпеливо.

— Слушай, Чупин, — все оживленнее говорил Полозов, — ты так и считай, что все бывшее—не то, что ждали люди. Вот, расколотим

Колчаков разных — и начнем настоящее!.. Чупин, Чупин, может статься, уж внуки наши будут только по пять, по четыре часа в день работать.... Вот, погоди, Чупин, я еще сам в деревню к вам приеду машины становить... Вот, погоди, руки твои не будет жечь и царапать, только маслом машинным вымажешь их... эт-то, брат, не то, что воевать с пнями... А мы их электропилой... есть такие, я читал...

Но взглянув на хмурое лицо Николая, Полозов вдруг застеснялся, смолк: «что это я... расхвастался, как мальчишка».

— Вон ты сколько наговорил, — с угрюмым раздумьем усмехнулся Николай, — да, все вот погодить надо... для внуков... гм... А мы, вот, бездетные. Значит, выходит, я для чужого внука свою бабу должен в избу к тебе на ночь отпускать?

— Да не ко мне, Николай Сергеич, — терпеливо, как малому, улыбнулся Полозов.

— Все равно, — наставительно поводит темным пальцем Николай.—Все равно, со мной-то ее не будет. А баба для человека половина плоти его. Душа в нас пар, невидимое... что там ее жалеть...

— Разум, разум не забывай, Чупин! — негромко прервал его Полозов, но Николай будто не слышал.

— Ты душу от меня возьми, а плоть не трогай, — глухо сказал он, тоскливо смыкая глаза.

— Тут предел положен, вроде бы межа какая... ходить не надо, тут костры горят, дымом задушит.

Полозов умело перевел разговор на другое, Николай как будто поуспокоился.

Серафима слушала все молча. Стараясь не стучать босыми пятками, неспешно двигалась по избе, с привычной ловкостью служила мужу и гостю. Сегодня она была чем-то обижена за мужа. Обычно она никогда не задумывалась над тем, что и когда он говорит, — он был всегда прав и знал все, что надо.

— Рядится, рядится, словно картошку на базаре продает, — думала сейчас Серафима. Придраться к каждому мужнину слову она бы не сумела, но зато чувствовала все тверже, что вовсе бы не так следовало ему сейчас говорить.

Наконец, Николай шумно вышел из-за стола и, как-то болезненно щурясь, сказал Полозову сухим прерывающимся голосом:

— Значит, не совестно тебе будет, что моя баба...

— А, ты все о том же, — мягко и терпеливо улыбнулся Полозов. — Нет, совестно мне не будет.

Когда Серафима начала доить корову, Николай вошел в хлев.

— Значит, в избе останешься?

Серафима со спокойным упреком подняла глаза на мужа.

— Да что ты, Ниолушка, по десять раз на дню все о том же? Николай вдруг наклонился к ее уху и зашептал хрипло:

— На полу ложись, на полу!.. Не гляди, что он больной...

— Николушка, да ты ослеп, что ли?.. Ведь худой-то какой, жилы одне, желтый, как свечка...

Она вдруг заметила, что о некрасивости Полозова говорит не так, как всегда. Обычно с легким презрением относилась она к мужской физической слабости, к некрасивому лицу. Это было бессознательно гордое самолюбование здоровой самки, которая сумела выбрать себе пару. Но сейчас, напоминая мужу о некрасивости Полозова, Серафима говорила об этом с каким то смутным уважением.

— Угораздило тебя в этакую кашу впутаться, да и я обещал. Ты уж лечи его крепче, чтоб... убирался скорее. В своем доме я хозяин... — все мрачнее нашептывал Николай.

— Эх, вот любо-дорого такая дружба!—в дверях стоял Стебенеv и похлопывал себя по тощим бедрам. — Редко брат с сестрой этак любятя... ей-бо-о!... Куда сестрица, туда и братец...

— А тебе завидно? — Серафима прошла мимо, неся осторожно полное ведро молока.

— Завидно,—оскалил щелястые зубы Стебенеv и нагло встал на дороге.—Родной он тебе брат-то, хозяйюшка?

— Родной,—бросила Серафима и, будто шутливо сердясь, двинула локтем,—чего пристал? Отвяжись, много будешь знать, составишья вот скоро.

— Я любопытный человек, хозяйка!.. Ай, как ты угадала! — Стебенеv захохотал в небо.—Вот у меня была сестра, так я от ее, кроме ругани, ничего не слышал. А тут—на тебе, любовь какая меж... братом и сестрой, хоть жени их в ту же пору... ха... ха...

Иван Мотяга чинил свою гимнастерку. Поднял голову, изобразив на безобразном щетинистом лице осуждающую улыбку.

— И до всех-то тебе дело, Стебенеv! Ну, и пусть любовь меж людьми, госпуду приятно, по-божьи люди де...

— Тьфу! — Стебенеv злорадно плюнул ему под ноги. — Забормотала, рваная калоша!

Он перегнулся в бок и засипел над сморщенным ухом Мотяги:

— Тут такая путаница идет, что чертям тошно... Думают, дураки, правду скроют... шали-ишь!

Он щелкнул языком и довольно замурылкал что-то под нос.

Мотяга вытерся рукавом и жалобно попросил:

— Господи-и... все ухо оплевал! Уйди ты, христа ради, непонятный человек.

III

Когда зажгли лампу, в избу, не спросясь, вошел Стебенеv и запер дверь на крюк.

— Ты что это? — строго спросил Николай. — По какому праву этак распоряжаешься?

Стебенеv дерзко качнул головой:

— А ты по какому праву мне замечаешь? Чай, ты не хозяйин, а так... сбоку пристяжная...

— Чего тебе надо, добрый человек?—Серафима встала, обратив к Стебенеvu спокойный взгляд. — Чего надо?

— Так что, хозяйева, должен я вам заявить...

Стебенеv притворно вздохнул и перевел тусклые, будто уставшие глаза с Полозова на Серафиму.

— Спать-почивать собрался хозяйин-то... Ну, так я тебе заявлю...

Он вдруг закобенился, как пьяный.

— М-мы, хозяйка, тоже люди, хоть и солдаты... д-да-с!. Холодно нам в амбарушке спать, переведи нас в избу.

— Помилуй, земляк, еще до заморозков далеко... я, вон, сам на сеновале сплю...—сдержанно нахмурился Николай.

— Худо-ли тебе? — подмигнул Стебенеv, все так же кривляясь. — Зна-ем мы, как ты там почиваешь... в обнимку-то с бабой... ха...

Стебенеv шагнул и ударил ладонью по столу.

— А, да чего там еще?.. Я нарочно такой разговор веду... понял я ваши дела... не надуете!

— Да, ты что вяжешься?.. — гневно вспыхнул Николай. — Какое твое дело?

— Погоди, — отстранила его Серафима. Встала, прямая и важная, обратив к Стебенеvu белое непроницаемое лицо.

— Никто тебя не надувает, все так, как видишь.

Указала на кровать.

— Вот муж мой... в сотый раз, что ли, тебе говорить?

Кивнула на Николая, будто не замечая, как мелкой дрожью сводит его губы.

— Вот брат мой. Иди, пожалуйста, спать, дай поесть людям спокойно.

Стебенеv оторвал руки от стола и скривил рот к уху.

— Опять скажу: ловка-а!.. Но до поры до времени!.. Не на того напали, сударики!.. Я правду ишу... вынь-положь мне правду, хоть какую, но чтоб правду. Плюю я на всех людишек, не им ее, голубушку, скрыть... не-ет!.. И вы не скроете...

С какой-то звериной ловкостью схватил из-под стола табуретку и сел верхом прямо против Полозова.

— Ты что молчишь все? Не надо меня бояться... ей-ей, не надо... Скажи мне, кто ты есть, потому я — искатель правды... Наверняка ведь ты... красный, разведчик какой... везде они ныне шныряют. Но мне на это плевать, я мешать тебе не буду... только, открой правду... а? Я, мол, такой-то человек, не препятствуй... И не буду, не буду!.. Помилую тебя с великим удовольствием... и — могила! Никто не узнает, никто. Видишь, каков я... Ну, значит, скажешь? А? Скажешь?.. Молить тебя буду, словно боженьку какого... Ну!

Он даже подался вперед, протягивая руку, как за милостыней. Пальцы его судорожно шевелились, тщетно ловя пустоту. Полозов

глянул на его искривленные мольбой тонкие губы и встретил мутный, как омут, взгляд.

— Вот ты какой, — насильно усмехнулся Полозов, прижавшись левым боком к подушке, сердце прыгало в припадочном жару. — Чудак ты, можно сказать... Правду ищешь, а сам же врать собираешься... никто-де не узнает. Ты же, как солдат, обязан тоже по правде поступать, какая вам указана.

Стебенев, будто что живое, гадливо отшвырнул табуретку, дико свистнул сквозь зубы и вышел, хлопнув дверью.

— Много ты сделала для меня, Серафима Капитоновна, — шептал ночью Полозов. — Ты, может, не сознаешь, что не меня только ты оберегаешь... И знаешь что, Серафима Капитоновна? Уж из одной твоей храбрости видно, до чего велико дело пролетарской революции. Эх, чувствуешь ты хорошо, а вот сознавать еще не научилась, какой бы человек из тебя вышел, а?

— Скажет тоже...—совестливо радуясь, отшептывалась она, лежа головой к порогу.

— Нет, это я серьезно говорю, у тебя твердая душа, и сотни... нет, тысячи людей узнают в свое время о тебе. Я рад был, как ты отвечала этому мерзавцу, который.. ха... ха... правду ищет.

— Да, да, — удивляясь своим неожиданным мыслям, зашептала она.—О правде говорит, а как-то по-страшному.

— Ага, заметила? Он правду-то, как зерно, в сорной куче ищет, она у него сама по себе... А такой правды нет, человек сам правду творит, сам ею и распоряжается.

— Похоже, что так и выходит, — опять удивленно зашептала она.—Я вот и за тебя всем вру то да сё... вру, а выходит это по правде, как надо.

Серафима еще долго думала, глядя в темноту. Диковинно оборачивается жизнь, и женщина делает то, о чем никогда даже не думала. Будто только теперь, за эти два дня научилась она, Серафима, смотреть на людей,—такой ясный свет окружал их; что и сами они будто светились, каждый по своему. Она поэтому могла выбирать — и выбрала. И от этого избранника она для себя ничего не ждала и ничего не хотела получить, даже если бы он спросил ее об этом. К таким мыслям она вовсе не была подготовлена, но одно чувствовала крепко: эта чужая соприкоснувшаяся с ней жизнь покоряла ее с безотчетно-требовательной силой.

На краткий миг среди ночи Серафима вспомнила Николая.

— Ворочается, поди, с боку на бок, чудной мужик.

Но почему-то мужа не было жалко. Ничто не могло уязвить ее правоты.

Зато утром Николай испугал ее: вокруг воспаленных глаз и на щеках легли черно-серые тени, точно долго он простоял в дыму.

— Чего ты? — слегка растерялась Серафима. Он бросил резко:

— Чего? Не спал — и все.

Растрепанный и неумытый, он тяжело зашагал к постели Полозова.

— Слышь ты, какое дело, — сказал он хрипло, мучительно кося глаза, — увезу я тебя нынче в ночь... на себе поволоку, только бы доставить и освободиться от тебя. Извини, не могу я больше...

— Что ж, я согласен с тобой... — начал было Полозов, но тут в дверь просунулся Стебенев и кивнул Николаю.

→ Тебя десятник звал, в лесу он мужиков собирает. Пусть, говорит, сразу же идет.

— Да ты врешь, поди? — хмуро обернулся к нему Чупин. Стебенев равнодушно пожал плечами.

— Мне что? Хошь — иди, хошь — нет, не мне ведь приказано. Только помни — время военное.

— А! Дьявол вас возьми! — с усталой злобой отмахнулся Николай. — Пойду, никуда не денешься.

Еле успела хлопнуть за ним калитка, как Стебенев схватил Серафиму за плечи.

— А ну, ловкая, посмотрим теперь, отвертишься ли ты... ха... ха... Скорпионыч, загороди выход из огорода... Мотяга, задвинь засов у ворот!..

— Да что тебе надо? — гневно дергалась в его цепких руках Серафима, но кричать боялась.

— Чего ж сердиться-то, раз правду показываешь? — озорно подмигивал Стебенев. — Это ведь брат... бра-ат твой к десятнику пошел!.. хи-хи...

— Да, да! — с дикой ненавистью глянула женщина в его мутные глаза. — Да! брат пошел, брат!.. Отвяжись, окаянный!..

— У-ух... ну и храбра-а! — покрутил головой Стебенев. — А все таки доказать придется... и это уж в распоследний разочек, уж ты нас уверь, уверь, как мужа любишь... а? Поди, поди к нему, да при нас и ляг с ним, помилуйся... обойми, помилуйся, как жене по-добает...

Он лихорадочно подмигивал и толкал Серафиму к крыльцу.

— Ты докажи, докажи... и я первый тебе и мужу твоему в ножки поклонюсь...

Мотяга умоляюще закивал Серафиме, рассыпаясь боязливой скороговоркой:

— Согласись, голубушка, пусть уж он, чудило несчастное, успокоится... С зари сегодня за винтовку хватается, еще выстрелит... За-чем кровь проливать?.. Согласись, милая, христа-ради, господь с тобой...

Серафиме он вдруг стал так гадок, что даже захотелось плюнуть.

— Молчи ты... плесень!

— Иди, иди! — торопил Стебенев, судорожно хихикая.

Серафима на миг приостановилась, крепко сжав руками грудь, — казалось, избранная жизнь человеческая доверчиво схоронилась на этой девичье-высокой, до сих пор бесплодной груди, лежала трепетно, как пригретая птаха. И женщина нежданно, даже не успев на себя подивиться, вдруг вспыхнула сильно и гордо:

— Да что ты толкаешься то? Я и так вольно иду... чай, к мужу ведь, а не к кому-нибудь.

Встала на порог и крепко уперлась ладонями в косяки, будто расшатать хотела всю свою ладную и чистую избу.

— Ты... как тебя, — Стебенев, что ли, — глядеть можешь, как я мужа люблю... а потом я тебе в глаза плюну...

— Утремся!.. — хохотнул Стебенев и крикнул Мотяге:

— Становись к окну, следи... я сейчас приду!

Серафима уже шла к Полозову вольной и легкой походкой, будто не видя в окне смущенной и багровой рожки Ивана Мотяги.

— Вот ведь какие люди, — сияя каждой чертой своего свежего лица, сказала она изумленному, затихшему Полозову, — не верят, что я тебя, муж дорогой, боле всех люблю... А ну подвинься, лягу с тобой, друг сердешный!

Она легла с краю радостно изнеможенная, будто трудно, но победно перешагнула через все загородки и межи, которые с испокон века ревниво окружали ее бабью жизнь.

Во дворе же Стебенев приказывал Касьяну бежать вдогонку за Чупиным.

— Он уж, поди, назад идет, далеко ли до лесу... да и нет там никого, я наврал нарочно. Беги, беги, утробушка, начальство приказало. Хватай его на дороге, да и тряси: ой, дома у тебя неладно! Награду получишь наверняка.

— Мы в сей секунд! — и Касьян выбежал за ворота, а Стебенев прильнул к окну.

— Что ты делаешь? — еле слышно шептал Полозов, встретив близко серьезный и сияющий взгляд женщины.

— Понимаешь ведь... Ну, обнимай крепче, чтоб видели все... — теплая струя ее шопотного дыханья коснулась щеки Полозова. Он вздрогнул и благоговейно прижал к себе это безлюбное, но преданное ему тело. После смерти жены он еще не знал женщины, эту он не смел желать. Он обнимал женщину, но она была неприкосновенна, — то, что он получал от нее, было выше радости плоти, выше любви. Женщина чувствовала на плече робкую руку Полозова, и такая верная безопасность была в этой руке, что Серафиме казалось, будто ее вот-вот поднимет и понесет куда-то в неведомые просторы. Вдруг забыла обо всем, о доме своем, о муже, будто нашла, наконец, для себя в жизни самое важное, будто и жила только для

того, чтобы на людях обнять этого бледного невеселого человека с простреленной ногой. Люди же видели в них только мужа и жену, и ей, Серафиме, стало даже на миг смешно. Люди походили сейчас на незадачливых пловцов, которые и на большой реке плещутся только у берега.

Но люди были почему-то тихи, только со свистом дышал Стебнев.

И вдруг — тишина взорвалась, лопнула с треском, как гнойный пузырь!.. Звериной раскорякой вбежал Николай Чупин.

— А-а-а... Вот он, стервец, что сделал!.. А-а... Бабу мою посмел... Жену отбивать... дьяволы!.. Ты... собака... за мою-то хлеб-соль... — Он дико охнул и поднял за плечи Полозова, но тут же подался назад, отброшенный сильными руками Серафимы.

— Ты что это наделал-то... а?—с отчаянным и грозным спокойствием спросила она.—Голова то у тебя на плечах есть или нет?

Николай оглянулся кругом и понял, что он сделал. У дверей стоял Стебнев и трясся от сумасшедшего хохота:

— Ой-ой... не могу-у... — взвизгивал он, дрыгая ногой и утирая счастливые слезы.—Вот как ловко рассчитал я, братцы!.. Вышло ведь по моему, потому я за правду, какая есть она... правдушка-голубушка... ха... ха... Скорпионич, свисти солдатню... не иначе как большевика поймали...

Полозова повезли на допрос на подводе.

— Димитрий Петрович, друг...

Серафима припала к нему, содрогаясь всем телом, и жадно, навек запоминая его сухое, напряженно-спокойное лицо. Он слегка сощурился на погожее утреннее небо и бегло погладил ее горячую мокрую щеку, шепнув:

— С кем не бывает, Серафима Капитоновна. Армяк мой передай нашим ребятам в Кушелево, расскажи все, как случилось, иди, доделай за меня... Ну, спасибо... иди.

Она шла к селу рядом с мужем, но будто не видела его. Одна рука ее была прижата к щеке, будто последнее касание полозовских пальцев оставило на ее коже неповторимо драгоценную печать.

Не отняла она рук от лица и, не охнув, пролежала под двадцатью розгами. Только на миг дернулась и закрыла глаза, когда за церковными тополями раздался залп.

Два дня Серафима отлеживалась, тихая, молчаливая, потом собрала узелок, взяла армяк, вышла за ворота и тихонько повернула к тракту. Вздрагивая иссеченной спиной, Николай побежал за ней.

— Фима... да куда ж ты?..

Она приостановилась, все глядя в даль.

— Вот армяк его с бумагами передам. Уйду я отсюда... не могу... Душа во мне переместилась. Этакое человека проглядели... камнем на дно ты его бросил...

— Фимушка! — на коленях ловил ее ноги Чупин, но она поклонилась земно, как чужому:

— Не проси. Не жена уж я тебе, Николай Сергеич. Заживать вместо его надо... Земля-то его голосом гудет... чуешь?

— Фима-а! — отчаянно протянул к ней руки Чупин, но догонять не смог и не посмел. Она шла, перекинув армяк через плечо и высоко держа голову, ветер взвихрил ее неубранные волосы, и казалось, такой же вихрь гонит ее мысли.

Чупин протяжно всхлипнул и припал к прохладной утренней пыли, будто собрать хотел эти беспокойные следы.

Июнь 1928 г.

Лирическое отступление

Из романа „Пушторг“

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Пойдем ли мы Пашку? Ему 20 лет!
Юнландия! Край утесов и струй,
Империя золотых и синих,
С династией грез, с монетой — пол-
тинник,
Звонкочеканной, как поцелуй;
С балансом, активней которого нет:
Где ввоз — пессимизм, чернила, бут-
сы,
А вывоз — любовь и революция.

О, юность, моя. Я заглох, зачах;
Я рвусь, я тянусь к тебе неукроти-
мо, —
Но ты затонула в татарских ночах,
В маринах густых золотистого Кры-
ма,
Стальной границей замерзла когда
Женских глаз голубая вода.

Вода голубая. В ней смуглые листья,
Плывя, погружаясь, играя, горят.
Бук согревает запахи лисьи
Над звонкими щелями рыжих горят,
И моря окаменелая темпера —
Как драгоценность холодного тем-
бра.

А на заре с любопытством испуга
(О, юность моя) слетит под откос
Ушастый лисенок, где в красном пухе
Черные точки: глаза и нос;
И всеми тремя, с головенкою набок,
Станет глазеть на осень в ухабах.

Рыжий крымлянин, я подрастал
Огнями в воде, свистом у скал,
На тополях оловянною рыбкой;
И пенистых аистов бурный поток
Меж алых носов и коралловых ног,
Как зубы меж губ, сиял мне улыбкой.

Там я впервые почуял во рту
Кровавое жало мясистой лиры.
Оно в окруженьи молочного клира
Брызгало медь и железо и ртуть,
В зубы звонило, трубило в ноздри,
В уши кололо варьяцией острой;

Там я горел зарей городов,
В кухне войны кипятил пулеметы,
Падал в линии мертвых рядов
На жирный запах могилы и меда, —
И, замирая, усваивал ум:
Трепет свежести — ворона шум;

Там каждый камень сожженной пем-
зой
Жар любви моей изобличал,
Там загорелся и заблестал
В четыре буквы алмазный везель,
(Хотя, вероятно, у астронома
Ему присвоен особый номен).

И мутно-багровое в клетку манто
Томило меня на гвозде заката,
На шахматном поле газетных зага-
док,

Под серебристые брызги мандолл,
Под легких пролетов сухое стаккато,
Где лошади были с глазами мадонн.

Прелестный край, он уплыл, исчез...
А ныне для нас невеликая честь
Жить отогретыми именами.
И я говорю равнодушно: ах, да!
Когда прибывают в штемпелях дат
Жаркие марки воспоминаний.

Но будет о них. Граненый флакон
Из-под духов, памятных с детства;
Бронзовый лист, что ветром влеком,
Сердце оплетший, когда мы бродили;
Все эти тембры унылых идиллий,—
Милые вы, ну, куда с вами деться?
Разве что в склянке чернилам жить,
А лист под номером к «делу» под-
шить.



Негр Джим

МИХ. ДАНИЛОВ

В. Каменскому

Джим — негр. Ну, и снег!
В куцой куртке дрожи!
Столько снега даже во сне
Сроду не видел Джим.

Вахта сдана. И смыта грязь.
Живо на берег — марш!
— Эй, ребята! На шлюпки слазы!
Весел Джим-кочегар!

Грусть, рост...—славный матрос,
Свалит хотя б слона.
Черные щеки жжет мороз,
Брызжет льдисто волна.

Пристань. Встреча.
Джим не глуп.
Знает приличия Джим.
Если зовут в матросский клуб,
Стало быть — так держи!

Шкура-боцман — очень угрюм.
Боцмана речи злят...
К чорту боцмана!
Клуб — не трюм.

Ну-ка, лево руля!
В клубе братвы, —
как в банке икры.
Музыка. Плеск огней...
Вдруг,—можно ли радость скрыть!—
Входит советский негр.

Плоский нос, щетка волос,
Черные яблоки щек...
Джимовых щек ласковый лоск
Стал зеркальней еще.
Пусть боцмана взгляды злы, —
Ведь недолга ходьба:
Черный к черному будет плыть,
Где б не свела судьба.

Жди сто лет таких встреч.
Толстые губы поют...
Сладко слышать родную речь
Здесь в снеговом краю.

Слушай, Джим. Сердце, играй!
Мысль, звени в голове!
— На земле это первый край,
Где негр — человек.

Только здесь, на фонаре
Корчась, не виснет негр.
Только тут в страшной игре
Негра не жгут на огне!..

Черный, белый ли — все равно,
Тут одинаковы все...
Том советский моряк давно,
Лет уже шесть или семь...
— Чушь болтают... Голод... Чека...
Черти! Умеют лгать!..
.
Думай крепко, Джим-кочегар!
Скоро к топкам опять.

Скоро снова итти туда,
Плавиться, как свеча,
И на брань, и на удар
Снова не отвечать!..

Поздно с берега бот пришел,
Два отдыхали весла.
Боцман от злости и страха был желт
Но матросня — весела.

Эй, лопата! Джима не жди
Там, где угля горбы!..
Он не вернется, свободный Джим,
В трюм, где гнутся рабы!

Семья Замковых

Главы из романа „Возмездие“

ЛЕВ НИТОВУРГ

I. «1906»

Андрею было двенадцать лет, когда распалась его семья. Анастасия Исааковна Замковая, выехав летом, по обыкновению, на свою дачу в Кисловодск, не вернулась к мужу и вместе с единственным сыном и наследником фирмы «Сергей Замковой» поселилась в Тифлисе.

До самого дня ухода не сумела она привыкнуть к голосу Сергея Никодимовича, наполнявшему, казалось, все девять комнат особняка, к неторопливым и быстрым шагам его, к шумным попойкам с неистовыми лезгинкой и русской, к неподатливому крутому его нраву.

Если в урочный час Анастасии Исааковны не оказывалось дома, Замковой по телефону опрашивал знакомых жены и посылал за ней коляску со строгим наказом доставить ее немедленно.

Кучер Тимофей, сочувственно шевеля рыжими усами, укутывал ей ноги тигровым пледом. Его широченная шелковая рубаха желтым парусом взмывала над рысаком, распластавшимся в беге.

Беседка с флюгером и высокая решетка особняка приближались с неумолимой быстротой. Рука Анастасии Исааковны все торопливее снимала несуществующие пушинки с синего английского костюма.

И каждый раз были вновь ругательства мужа, смятенные глаза Андрея, шопотки прислуги у двери кабинета, вопросительный взгляд фрейлен Ольги, не решавшейся сообщить о скандале старику Никодиму, чтобы утихомирить хозяина.

— Отец мой — мужик башковитый, — говаривал Сергей Никодимович, — никогда из его воли не выйду.

Старик Замковой смолоду приучил сына к нефтяному делу. Сергей Никодимович спускался в колодцы, откуда нефть черпали вручную, где капля, упавшая с ведра, била, как камень; едва не сгорел на промышленном пожаре, вышибая дверь, запертую поджигателями; не раз отстреливался от набегов абреков, защищая отцовскую кассу.

Потом, наладив отцовское дело, пустился на разведки: шесть лет пробродил в чеченской глуши, вынюхивая медь, ртуть и свинец, и, в конце-концов, вернулся к нефти.

Позднее, в годы расцвета, он любил прихвастнуть, что «за версту чует нефть, как легавая, дичь,—всем нутром».

Когда Замковой подал заявку на три участка в прославленной впоследствии Гнилой Балке, областной инженер пренебрежительно усмехнулся:

— Чудите вы. Там капусту сажать — и то зря.

— Что ж, вольному воля, сажайте хоть редьку, — передернул плечами Сергей Никодимович, — а только заявки мои оформите.

И из-за ворсистого войлока бурки на стол инженера выполз сто-рублевый билет.

Заявки были закреплены за Сергеем Никодимовичем. Но на их настоящую разработку («чтобы так, как в Баку», — уговаривал он отцовских приятелей) денег не было. Тогда-то, не зная ни единого английского слова, Замковой отправился в Лондон и там добился своего. Гнилую Балку обследовал английский геолог, и Сергей Никодимович получил за два участка баснословную по тем временам сумму—сто шестьдесят тысяч. Третий — сохранил за собой.

Старик Никодим хотел было оставить деньги в банке, но сын, присмотревшись к работам англичан, уговорил его попытать счастья и бурить скважину.

Знаменитые нефтяные фонтаны Замковых в несколько лет сделали его миллионером.

Тогда же Сергей Никодимович и женился.

Семья Райнисов бедствовала после смерти единственного кормильца Исаака Соломоновича.

Старик Никодим поддерживал ее память дружбы, некогда связывавшей кантониста-ефрейтора Райниса с под'есаулом Замковым.

Когда Исаак Соломонович покинул казармы с тощим вещевым мешком за спиной, собирался вернуться в западный еврейский городок, Замковой предложил ему вести на складе нехитрые конторские книги. Он же подыскал приятелю жену из обедневших грузинских дворян и ввел его в деловые круги.

— За деньгами нам не гнаться, своих хватит, — говаривал он сыну, — а тебе жена нужна представительная, чтобы лицом в грязь не ударить перед бакинскими богатеями. Анастасия Исааковна всем нам обязана. На чьи деньги училась? Кто ее на курсы послал?

— Да что вы, папаня! Я и не думал еще...

— Врешь, врешь, пора жениться. Внуки-то мне нужны здоровые. Теперь деньги есть — всю силу по кабакам растеряешь. Ты не гляди, что жидовка. Мать ее — княгиня сиятельная. А жидовской крови да к нашей подбавить — в самый раз.

Сергей Никодимович сделался частым гостем у Райнисов.

Анастасия Исааковна вначале избегала его. Унизительные ухищрения едва могли укрыть нищету семьи. Внимание Замковых казалось ей оскорбительным. Вернувшись с высших курсов, она получила место учительницы в гимназии и набрала частных уроков, чтобы избавиться от этой тягостной зависимости.

Заботы о матери и сестрах от'единили ее от местного общества, поставили вне круга его забав и развлечений, научили одиноко коротать недолгие досуги. Невозможность принять участие в сытой и сонной жизни приятельниц заставила ее осудить их.

Этому способствовало и пребывание на курсах. После Петербурга захолустный кавказский городок казался тюрьмой, Анастасия Исааковна привыкла считать себя жертвой.

Утешением были книги и мечты.

Полновесная жизнь героев Тургенева, Чернышевского и Толстого заслоняла неприглядную явь, до поры до времени вытесняла думы о личном счастье.

Люди, ее окружавшие, были не похожи на книжных людей. Только старика Никодима она привыкла уважать. Усадьба его, токарная мастерская, где он работал в свободные часы, строгий уклад его дома напоминали ей князя Николая Болконского. Андрей Болконский был ее любимый герой.

Когда Замковой явился к ней сватом за сына, Анастасия Исааковна, сколько ни приготавливалась к этому дню, не сумела напрямик отказать. Она попробовала сослаться на долг свой перед семьей, но Никодим коротко заявил:

— Об этом — не твоя забота. Замковых родня нищими никогда не бывала и не будет.

Через неделю он купил дом, в котором жили Райнисы, выделил один из нефтяных складов и явился к матери Анастасии Исааковны с дарственной.

— Вот тебе, матушка, Нина Луарсабовна, детишкам на молочишко. Настеньке приданое тоже справил. Глядь-ка!

Он открыл ящичек, и на бархате футляра заиграли огни восьмикаратных серег.

— Возьми-ка, побереги. Хороша штучка?

Анастасия Исааковна проплакала ночь и попросила отсрочки на полгода.

— От добра добра не ищут, — удивился старик, — а, впрочем, торопиться некуда. Чай, не пожар.

Сергей Никодимович отстроил особняк с штучным паркетом, фонтаном и вызолоченными печами, купил тысячного рысака «Витязя», завел многочисленную прислугу.

Мать шила приданое, подруги поздравляли ее. Как-то само собой вышло, что она получила приглашение на бал к начальнику области.

Сергей Никодимович просил, чтобы невеста надела редкостные серьги. В мазурке ее повел попечитель округа, вальс она танцевала

с адъютантом. Сергей Никодимович скромно сидел поодаль, у карточного стола, где прокурор говорил старику Замковому:

— Славную девушку подцепил ваш Сергей. Ей да настоящую оправу—львицей будет.

— Те-те-те, батенька. Знаем мы вас, охотников за львицами. Нет уж, почтеннейший, вы лучше другую дичь поищите. А мы по старинке, без оправы проживем,—ощетинил брови Никодим и объявил восемь без козырей.

Анастасия Исааковна написала подруге-однокурснице:

«Выхожу замуж. Для матери, да и для всех нас — это единственный выход. Жених Сергей Никодимович Замковой—человек простой, но, кажется, добрый и не глупый. Все-таки, я завидую тебе: в столице такое огромное поприще. Но и здесь, в нашем захолустье, можно приносить пользу. Постараюсь перевоспитать мужа, облагородить этот нешлифованный алмаз (ты представляешь себе твою Настеньку в брюссельских кружевах и восьмикаратных серьгах?).

У нас так мало критически мыслящих личностей. Муж, при его состоянии, многому может способствовать...»

Архиерейские певчие потрясли стекла собора, от цветов и духов кружилась голова, тридцать шесть экипажей проводили молодых на вокзал. Сергей Никодимович с'ездил с женой в Париж, на выставку; вернувшись, перезнакомил ее с приятелями: ловкими казачьими чиновниками, дельцами-инженерами, прожженными адвокатами, и начал распоряжаться в новом доме решительно и жестко, как распоряжался на своих предприятиях.

Через год у Замковой родился сын. Анастасия Исааковна хотела назвать его Андреем, в честь Андрея Болконского. Муж желал, чтобы новый Замковый был Никодимов, в честь отца. Воля его неминуемо восторжествовала бы, если бы не случай.

Анастасия Исааковна сказала свекру о заветной мечте иметь сына — Андрея. Сергей Никодимович нахмурился было, но приятель старика Никодима, соборный протоиерей, почувствовав надвигающуюся ссору, пошутил:

— Что ж, имя хорошее, великомученик был настоящий, стоящий. Будет и у вас «Андрей Первозванный».

— А и впрямь, — согласился старик. — Чем леший не шутит, авось и дослужится. Сережка, ведь ладно-то будет, ежели «Андрея» подцепить? Верно, отец Николай, а?

— Твоя взяла, матушка Анастасия Исааковна. Сережка, слову моему не перечь! Желая, чтоб внук наречен был Андреем. Имя ладное, сановитое имя, в самый раз. Ну, на кой тебе Никодим? Я, благодарение богу, жив, еще тебя переживу... Не будет у нас двух Никодимов!

Сын был наречен Андреем. Оставалось воспитать его похожим на Андрея Болконского.

Муж не мог быть ей помощником. Из «шлифования алмаза» ничего не вышло. Сергей Никодимович засыпал над первой страницей

читаемого вслух «Воскресения» Толстого и уходил от баллады Грига к своим пробиркам с лиловатым керосином, маслянистой нефтью, желтым, густым машинным маслом.

Сергей Никодимович оказался совсем не таким, каким Анастасия Исааковна его себе представляла. Он, действительно, был грубее жены, менее культурен, но в нем, кроме того, обнаружилось сила характера, твердость, которой она не ожидала и которая была ей враждебна. Книги, вскормившие ее мечты, были несравненно лучше действительности, но и несравненно слабее ее. Что могли они противопоставить крепкому казацкому сыну, горевшему жаждой успеха? И самые его недостатки оказывались цельнее, правдивее и жизненнее ее книжных мечтаний.

Сергей Никодимович любил побуйствовать, перемигнуться с казачкой в Червленой, закатиться в горный аул, чтобы, сунув рыжебородому мулле золотой, всласть натешиться с чеченкой-вдовой, настороженно ловя дыхание всегда взнузданного коня, зная, что малейшая оплошность грозит местью всего аула.

Анастасия Исааковна вскоре узнала о похождениях мужа и решительно отошла от него.

Она занялась благотворительностью, устроила при мужской гимназии родительский комитет. Вокруг нее составилась кружок: молодые врачи, передовые учителя, народолюбивые агрономы. В сумрачной гостиной после театра и перед ужином фельетонист местной газеты произносил цветистые тирады. Сдержанно гудели споры. В 1904 году на застекленном балконе несколько раз собирались таинственные совещания, и тогда Анастасия Исааковна опасливо прохаживалась перед задрапированной персидским ковром дверью.

В 1905 году Замковая посещала все митинги, выступила даже на гимназической сходке с призывом готовиться к новой радостной жизни и была приглашена начальником области для полушутливого представления и урезонивания.

Сергей Никодимович недолюбливал знакомых жены и отчасти побаивался красноречивого фельетониста. Однако не мешал ей и проходил мимо ее увлечений так же равнодушно, как Анастасия Исааковна прошла мимо его дел. Когда рабочие на складах предъявили Замковому свои требования, он выбросил несколько человек; остальных удовлетворял. Это не принесло ему особых убытков.

Благожелательное предостережение начальника области заставило его задуматься. Не желая спорить с женой, доказывать неудобства ее деятельности, он предложил ей путешествие по Европе.

Анастасия Исааковна мечтала об Альпах, которые казались ей несравненно лучше Кавказа, жаждала «услышать Жореса», поговорить с «великим эмигрантом». Колебания были недолги.

Супруги побывали в Швейцарии, катались в гондолах по Canale Grande в Венеции, в венском Партере видели Франца-Иосифа. Анастасия Исааковна осмотрела дрезденский Цвингер, неумоимо обегала пи-

накотеки Мюнхена, ездила в Байрет прослушать вагнеровский цикл. Сергей Никодимович проиграл в Монте-Карло полторы тысячи рублей и провел нескучную неделю на Монмартре. Впрочем, расходы по путешествию с лихвой окупилась выгодной сделкой в Гамбурге.

Через год Анастасия Исааковна вернулась в родной городок. Знакомые ее мирно продолжали обычные занятия. Речи Замковой возбуждали среди них уже не восхищение, но удивление и страх. Приятельница, высланная из Петербурга, вышла замуж за врача-венеролога и занялась пропагандой непротивления злу.

Нескольких человек из кружка, правда, не доставало. Про них шепотком говорили, что они пострадали. Анастасия Исааковна хотела устроить в их пользу подписку, но времена уже были не те. К ней явился полицеймейстер, галантно изогнулся на кушетке и, взвывая нафабранный ус, заявил:

— Если вы, сударыня, дорожите спокойствием вашим и почтеннейшего Сергея Никодимовича, то благоволите оставить ваше намерение. Могут выйти неприятности. У вас сын.

Сын! Разве могла Анастасия Исааковна подвергнуть его малейшей опасности!.. Подписка не состоялась, и общественное служение Замковой закончилось.

Зато Сергей Никодимович теперь торжествовал: кормил знакомых жены обильными ужинами, небрежно одалживал сотняги и четвертные и в конце вечера, смачно позевывая, уводил жену в спальню, распорядившись:

— Дайте там этим,—ну, кизлярского, что ли, да коньяку шутовского. Все одно—ни уха, ни рыла в винах не смыслят.

А на другой день, припомнив вольное слово или несдержанный жест собеседника, яростно топотал из угла в угол, ругал жену площадною бранью, по телефону грозил вчерашнему гостю.

Анастасия Исааковна обвязывала голову шалью, чтобы не слышать его голоса.

* * *

Семилетний Андрей отчетливо помнил вечер, когда отец, взбешенный поздним возвращением Анастасии Исааковны, запретил казачку Володе открыть ей дверь. Андрей тихонько вылез из постели, пробрался в темный вестибюль и, цепляясь за деревянную баллюстраду, стал спускаться. Внизу, на кадке с померанцевым деревом, всхлипывал Володька. Дальше, по стеклу двери лунный луч чертил силуэт маминой шляпы.

— Ой, барыня, милая, боюсь,—причитал Володя.—Выгонит меня хозяин... Ой, чего будет!

Андрюша толкнул его так неожиданно; что парень, вскрикнув, вскочил.

— Дай ключ.

— Папаня не велел...

— Дай сейчас!— Андрей притопнул босой ногой и вдруг сделался так похож на отца, что Володя протянул ему ключ.

— Только уже вы заступитесь, Андрей Сергеевич,— шептал он, помогая отворить.

— Скажу, что я приказал.— Андрей важно успокоил казачка.— Ты ж не смеешь ослушаться.

И сейчас же бросился на шею матери, сотрясаясь от слез. С ним сделался припадок.

Припадок повторился в день смерти деда.

Старика Никодима замертво принесли из жарко натопленной бани. Там, на верхней полке, достегал он себя веником до того, что запаренное сердце не выдержало, и багровое тело скатилось в мыльную лужу.

Фрейлен Ольга, подошедшая к телефону, вскрикнула и бросилась к Анастасии Исааковне.

Сергей Никодимович был в отъезде. Андрюша настоял, чтобы его взяли к деду.

— Папа всегда говорит, чтобы я помнил, что я—Замковой. Я поеду. Если бы папа был дома, он бы меня взял.

На городской окраине, у в'езда в имение Никодима Замкового, стояло уже несколько экипажей родственников. Незнакомый человек, слуга тетки, не отворил ворот, и Андрюша, шлепая в темноте по лужам, пробежал через сад к флигелю.

У входа в спальню сестра Сергея Никодимовича грубо отстранила Анастасию Исааковну.

— Сегодня здесь только свои.

И, отвернувшись, громко шепнула мужу:

— Привезла свое жидовское семя.

Анастасия Исааковна прижала к себе голову сына. Но Андрюша услышал.

— Мама, что такое жидовское семя?

— Пустяки, сынок. Ты не поймешь,—едва нашлась ответить мать.

— Твой дед был жид,—безжалостно отрезала тетка,—ты тоже жиденек.

— Господа, господа, будьте смиренны у одра,—протоиерей, отец Николай, слегка улыбнулся.—При том же молодой человек—единственный внук по мужской линии.—Он провел Анастасию Исааковну в комнату свекра.

Андрей заснул на старом кожаном диване, пахнущем табаком, гвоздикой и опопонаксом, не понимая, что делает мать у недвижимого тела на постели.

Его разбудил гам и топот. Комната была ярко освещена желтым обнажающим пламенем свечей.

Знакомый старичок-нотариус, подняв над головой руку с конвертом, старался перекричать визжавших женщин.

— Не имею права, господа. Завтра, прошу вас, завтра в конторе. Покойный, прошу вас, назначил душеприказчицей Анастасию Исааковну. Завтра в ее присутствии, господа, вскрыем завещание.

— Да что же это такое! Втерлась в дом, обокрала! Жидовка проклятая! Последнее отнимают!

Анастасия Исааковна не успела выбежать. Ее повалили на диван, кто-то рванул ее платье...

Андрей очнулся в своей детской.

— Мама больна,—шепнула ему фрейлен Ольга.—Сегодня приедет отец.

Анастасия Исааковна не приняла золовок, явившихся к ней с извинениями, и предоставила мужу распорядиться наследством по-своему. Сергей Никодимович оставил имение за собой, выплатив родственникам причитающуюся им часть. Он был так занят делами по наследству, что снисходительно отнесся к увлечению жены толстовским учением.

Приятельница, жена венеролога, сделалась ежедневной гостьей Замковой, дочь ее Аннинька—единственной подругой Андрея.

Анастасия Исааковна на время примирилась с мужем. Она не только не избегала вспышек его гнева, но будто ждала их, упивалась своей безответностью и тому же учила сына.

У Андрюши не сохранилось отчетливых воспоминаний о Сергее Никодимовиче. Он понимал, что отец груб и вспыльчив. Видел, что в доме его не уважают и втихомолку над ним посмеиваются, а в глаза льстят и угодничают. Но не мог сблизиться с ним.

Однажды Сергей Никодимович подарил сыну привезенную из-за границы электрическую железную дорогу. Когда рельсы в саду были проложены и укреплен мост через канавку, Андрей занялся распределением должностей.

— Володя будет главным машинистом. А мама — начальником станции, а фрейлен Ольга — инженером.

— Мне где прикажешь работать? — пошутил Сергей Никодимович.

— Ты? — ты будешь стрелочником.

Сергей Никодимович швырнул локомотив в клумбу и уехал на склад. Андрей почувствовал, что отец обижен, хотел утешить и не мог представить себе, как это он войдет в кабинет, заберется к отцу на колени, не знал, о чем будет с ним говорить.

Детство его и раннее отрочество заслонила мать. Облик ее неразрывно связался с полутемной спальней, прикрытыми ставнями, хождением на цыпочках, душным запахом валериановых капель; с долгими непонятно печальными беседами ее вполголоса с приятельницей; с порывистыми об'ятями, поцелуями, внезапными слезами, которыми мать провожала его ко сну.

Сергей Никодимович пробовал брать Андрюшу на промысла и склады, выписал для него пони, подарил черкеску.

Андрей выучился ездить верхом за время отсутствия матери, лечившейся в Кисловодске нарзанными ваннами.

Он не расставался с черкесской, хотел в ней спать, туго стягивал ремень с чеканными украшениями, так что на животе оставалась рубчатая темная полоска. Когда он, встретив мать на вокзале, захотел показать ей свое искусство и пустил лошадь карьером, Анастасии Исааковне сделалось дурно. Черкеска была подарена сыну дворника, и только ремень не удалось отобрать. Андрюша кричал и бился при первой попытке снять его.

Мать играла ему тоскливые песни Мендельсона, читала «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан» и «Мцыри». Навсегда запомнилась от этих чтений строчка:

«...И влажных рифм, как, например, на «ю»...»

Анастасия Исааковна учила сына собирать травы и бабочек, опасно выбирала товарищей и все больше поддавалась советам приятельницы—уйти от мужа. Она убедила себя, что Андрей неминуемо погибнет во враждебной ей обстановке богатого дома. Деятельность Сергея Никодимовича всецело выпала из ее поля зрения. Анастасия Исааковна раз навсегда осудила его. Все связанное с мужем казалось ей пустым и ненужным. Жизнь с ним не соответствовала ее вере; Анастасия Исааковна не могла верить вполовину, как ее приятельница, и ждала лишь повода.

Но Анастасия Исааковна открыто порвать не сумела: она знала, что окрики Сергея Никодимовича, уговоры родни переломят ее волю. Она обманула и сына, и мужа: из Кисловодска, куда возила захворавшего Андрюшу, проехала в имение приятельницы и оттуда увезла сына к брату в Тифлис.

Сергей Никодимович написал жене негодующе-просительное письмо, поехал в Тифлис, грозил, уговаривал. Приятельница-толстовка, испуганная скандалом, покаянно отреклась от недавних советов.

Но Анастасия Исааковна не изменила решения.

Сергей Никодимович выдал жене отдельный вид на жительство и стал высылать деньги на содержание сына.

Так кончилось детство.

II. «1916» (у матери)

Отрочество было самым тяжелым временем в жизни Андрея. Первые годы в Тифлисе он жил как бы одновременно в двух мирах.

Дневной мир, ненужный и досадный, состоял из окружавших его вещей, людей и дел. В нем каждый час был занят: утром надо было рано проснуться, обтереться мокрой губкой, повторить латинские слова из маленькой тетрадки, положенной на ночь под подушку, «чтобы лучше запомнилось».

Потом, наскоро выпив какао, бежать к трамваю. Директор в гимназии был строгий: за опоздание к утренней молитве заставлял весь первый урок выстаивать в передней и еще час после занятий.

— Если опоздаешь на поезд, поезд уйдет без тебя, — говаривал он, помахивая пальцем перед носом провинившегося. — Не будет ждать тебя поезд. Так же и жизнь.

В классе можно было не слушать учителя, но так, чтобы во всякую минуту ответить на его внезапный вопрос.

Вначале это было нелегко, и Андрей добросовестно следил за ходом слов преподавателя.

— ... Площадь круга, как вам уже известно, — пи эр квадрат... площадь вписанного многоугольника в пределе будет равняться... — доносился голос математика, тонкий, неотвязный, как писк комара.

«Площадь круга... круглая, как моя клумба с резедой и левкоем... Аннинька любила выпалывать вялые цветы... ухватывала их в кулак и делала вот так». Андрей скручивал свой кожаный пенал.

«Вписанный многоугольник — это же папа... Он тоже многоугольный и колется, когда небритый. А круг — Аннина мама. Она совсем круглая, как Платон Каратаев, и всегда говорит о жизни и хочет ее сделать тоже круглой. А папа, наверное, хотел вписаться в этот круг и колелся.

«А мама какая? Мама — эллипс, такая длинная и без углов. В эллипсе два центра... очень трудно найти. Аннинька — тоже круг, только маленький. Малюсенький кружочек, и все вертится».

— Замоквой, чему вы смеетесь? Повторите, что я сказал.

Андрей получал минус за поведение. Анастасия Исааковна шла к директору.

— Дисциплины нет в вашем сыне. Внутренней дисциплины.

— Но ведь он хорошо идет в классе.

— Этого мало. Мальчик способный. Слишком, чересчур способный. Нам не подходит. Поймите, сударыня, на него глядя, товарищи ничего не делают. Ему-то сходит с рук, а другие отстают. Вот в Америке есть специальные школы для таких детей. А нам не по ранжиру. Исключим, если не выправится.

Андрюша выправился; научился сидеть с самым внимательным видом, не вдумываясь в слова учителя. Если его вызывали, последняя фраза возникала в сознании, как рисунок на проявляемом негативе, и казалось, что Андрей старательно следит за уроком.

Дома ждал его обед с любимым полусырым бифштексом. После обеда наступал обязательный «мертвый» час. Мать заставляла Андрея отдыхать: лежать, вытянувшись на постели, закрыв глаза и ровно дышать.

В семь часов он выходил гулять. Особенно хорошо гулять было осенью. С проспекта видна была Давыдовская гора. По ней непогашенным окурком вползал вагон фуникулера и исчезал в тоннеле бетонной станции, точно в маминой черепаховой пепельнице.

Крутой и широкий Барятинский спуск. Решетка Александровского сада, расцвеченного киноварью и охрой. На повороте к мосту — старинная гостиница.

Здесь когда-то жил Кнут Гамсун, и здесь же, наверное, написал начало книги «В сказочной стране». А ничего сказочного нет, самая плохонькая гостиница!

Против нее был магазин военных вещей: «Поставщик Е. В. Шаха Персидского, Михаил Шафранов».

В витрине блестели шашки, сверкала золотая и серебряная канитель эполет, играли чернью узоров кавказские пояса. Ух, пояса! Каких тут только не было: чеканные пряжки, резные, с бирюзой, с переливчатыми камнями. И нагайки, «камчи», с рукоятками слоновой кости! И желтая кожа английских седел, и насечки казачьих, и расшитые чепраки.

Андрей теребил свой ремень под серой гимназической курткой, прижимался к стеклу, сплющивая нос, чтобы лучше разглядеть, и руки его перебирали невидимые поводья. А однажды в неясной темноте магазина он заметил белую черкеску с гозырями. Интересно, сколько стоит такая черкеска? Если двадцать пять рублей—это сто двадцать горячих завтраков в гимназии; полгода...

Кура шла под мост, грязная и сердитая, как овчарка в конуре на отцовском складе.

На Мадатовском острове играли шарманки, кинто пили вино и пели «Мравалжамие». Там были не совсем понятные и очень интересные дома, о которых нельзя было говорить с мамой. Восьмиклассники уверяли, что в этих домах бывает сам директор.

У второго большого моста была уличная уборная. В нее надо было спускаться вниз по каменным ступеням. С третьей ступени ударял в нос острый аммиачный дух, такой злой, что глаза щипало; но было приятно, так же, как в конюшне у кучера Тимофея, когда он сгребал навоз из-под копыт «Витязя». Внизу люди торопливо делали свое дело у мокрой стены с желобами.

На стене постоянно менялись надписи. Андрюша запоминал их, чтобы потом расспросить у товарищей. Здесь же можно было покурить. Дома не позволила бы мать, по улицам—шныряли надзиратели.

Андрей едва упросил одного, поймавшего его с папиросой, чтобы простил и не жаловался директору. А то бы мама целую неделю плакала.

С большого моста, ближе к памятнику хорошо было глядеть на город. Налево, где берег поднимался нарастающими глыбами к скале, высились стены драматического театра, замаранные, в пятнах, как рубаха вспотевшего Тимофея. Неприглядные ржавые подтеки перекрывала огромная надпись: «Альфонс Ралле».

Еще дальше в осенней прозрачности вечера, там, где облака взмутили простор, иногда всплывала абрикосным мороженым вершина Казбека. Молочная муть обтекала сладкий абрикосовый снег; потом он делался малиновым, вишневым, подергивался фиштакковым налетом, наконец, затухал.

Там, за хребтом, жил отец.

Тифлис мигал Андрею огнями, играющими во мраке холмов, как топазовая брошка на мамином лиловом платье.

— Ух! да разве за час обойдешь все кварталы Тифлиса:

Куки, Вэра, Солóлаки
Чугурéты, Авлабáр,
Цхнéты, Пéски, Орточáлы.
Дидубэ.

— Дидубэ! Дидубэ!—напевал Андрей, протискиваясь сквозь галдящее месиво гуляющих в Александровском саду.

В лимонадной Лагидзе густой сироп расплзался в шипящей сельтерской. Над Головинским проспектом вспыхивала световая реклама.

Шоколад	Эйнем!
Кофе	Эйнем!!!
Какао	Эйнем!!

В сквере у театра, вплетаясь в вечерние шумы улицы, военный оркестр кружил воздух старинными вальсами.

У ворот, в переулке, где продавали цветы, Андрея охватывала теплая душистая темнота.

— Опять загулял—половина девятого.—Анастасия Исааковна печально поднимала глаза на стену к часам.—Ну, садись скорее играть.

В десять часов мать проверяла уроки.

— Как будет по латыни бассейн?

— Канклювиум.

— Или? Еще как? Здесь еще есть.

— Рецептáкулюм áквэ.

— Ресэ-птакулюм а-кэ—читала мать по-французски.

— А из математики что?

— Математики завтра нет. Завтра—русский.

Уроков по русскому языку мать не проверяла.

Андрей приносил в «четверти» неизменно четверки. Анастасия Исааковна огорчалась: сын ее был подготовлен по литературе, как никто в классе, а учитель не хотел оценить.

— Вы хотите, чтобы сын ваш хорошо писал? Тогда оставьте его в покое,—сказал директор в ответ на ее жалобу.

— Но четверка?

— Было бы очень плохо, если бы он имел в младших и средних классах по русскому пять. Оч-чень плохо.

— И это вы говорите?

— Я! Я—директор гимназии, учебного заведения, где воспитываются семьсот молодых людей. Мы строим программу по среднему мальчику. Понимаете, сударыня, по среднему. Пятерочник у нас—лучший из средних, т. е. вполне удовлетворяющий средним требованиям. Уклоняющиеся—безразлично, в худшую или лучшую сторону—получают меньше.

— Но как же? Аттестат зрелости... Андрюша идет на медаль.

— Сударыня, я сказал: в средних и младших классах. В восьмом—мы даем проявиться инициативе. И восьмой определяет аттестат. Поверьте, сударыня, самое лучшее—оставить в покое его четверки. Я сам за ним прослежу.

Анастасия Исааковна не удивилась внимательности директора. Она не удивилась даже, когда он, встретив ее в театре, предложил ее проводить, и прошла с ним до дому. Но к себе его не пригласила: это могло дурно повлиять на Андрея.

После проверки уроков наступал час чтения.

Анастасия Исааковна купила Андрею несколько томов по истории средних веков, подсовывала «Новь» и «Накануне» Тургенева. Андрей хотел читать Писарева, «Рокамболь» и «Яму» Куприна.

Кое-как мирились на Гоголе, «Герое нашего времени» и Флобере.

В одиннадцать часов надо было чистить зубы, мыть шею, переодеваться в ночную сорочку, проделывать глубокое дыхание и идти спать.

* * *

Мир, окруживший Андрея в Тифлисе, чужой и внешний мир, проваливался в небытие.

В ночи возникал иной мир, в котором все было сгущено и несвязно, как в стихах. В этом небывало полном мире не надо было ничего понимать, обдумывать. Андрей сам творил в нем препятствия, чтобы, шутя и играючи, тешить себя победой.

В нем тоже был город, совсем непохожий на всамделишные города.

Белые дома с круглыми окнами, лестницы, кривые переходы, бассейны с горячими красными фонтанами и красная мечеть с минаретом, как в родном городке.

В городе была роща с кадками, где росли померанцевые деревья, и мальчики, похожие на Володю, плакали оттого, что их обижал сердитый осетин. Андрей надевал черкеску, вскакивал на «Витязя» и мчался к роднику у скалы сражаться с осетином. Но осетин оказывался вовсе не злым. Он подхватывал Андрея и подбрасывал его к потолку отцовской столовой, где так вкусно намалеваны были взрезанные арбузы и груши; подбрасывал все выше, все стремительнее, так что Андрей летел через открытое венецианское окно маминой спальни и просыпался.

Анастасия Исааковна вела сына под душ, иногда давала бром. Мальчик, вздыхая, возвращался в постель.

Сон продолжался. Отец вел Андрея во двор пробивать скважину. Мальчик бил железным ломом неподатливый асфальт. «Глубже, глубже,—смеялся отец.—Ну, еще понатужься». Андрей напрягался в невероятных усилиях. Железо уже проломило корку асфальта и вонзалось в рыхлую землю. Где-то внизу была Аннинька. До нее надо было добраться. Еще удар. Скоро.

Тут появлялась мать: «Ты забыл, как кончаются влажные рифмы»,—тихо говорила она, и отец вдруг становился обыкновенным и вовсе не осетином; асфальт снова отвердевал сплошной корой, и железный лом исчезал. «Влажные рифмы кончаются на «ю». На «ю»! На «ю»!! На «ю»!!! Юстиниан, Ювенал, Юлиан, Юпитер, Юдаизм. Ты—жид и не получишь Анниньки. Ты должен учиться и быть похожим на Андрея Болконского. Болконский тоже не получил Наташи. А жена у него была с усиками, зверским беличьим выражением лица, и она умерла. Только Андрей Болконский был красивым, а ты—урод.

Мальчишки, похожие на Володю, убегали, и вместо померанцевых деревьев Андрюшу окружали листья папоротника, узкие, изогнутые, зубчатые, шевелящиеся, как змеи.

Листья надвигались все ближе и оказывались рисунками на обоях, освещенных скудным светом утра.

Дни казались одинаковыми, менялись лишь книги и классы. На место Гоголя, Флобера и Писарева явились Сологуб, Мережковский, Пирсон.

Пятнадцати лет Андрей начал интересоваться философией—написал реферат о причинности и свободе воли.

Он занимался по десять часов в сутки и был равнодушен к летним забавам: велосипеду, теннису, борьбе.

Андрей подчинился порядку, налаженному матерью, не сделав даже попытки сопротивляться, потому что создал себе другой, лучший мир, скрывался в него и ревниво оберегал от всех.

Частью этого мира сделалась музыка.

Анастасия Исаковна, переехав в Тифлис, повела сына к самому известному профессору.

Жизнерадостный толстяк, розовый, с мелкими кудряшками и кошечками на затылке вежливо слушал как Андрей «раздраконивал» сонату Моцарта. Потом, не выразив ни одобрения, ни порицания, сел к роялю и сыграл ее сам.

— Пожалуй, теперь лучше звучит?

— Не шибко лучше, — дерзко ответил Андрей.

Профессор покраснел.

— Если хотите, чтобы у вас был приличный звук, придется переставлять руку. Согласны вы годик поработать?

— Все равно, если мама находит, что нужно, — что ж делаешь.

«Выдержанные тоны», трезвучия, гамма легато, гаммы стаккато, гаммы портаменто, в терциях, в октавах, в секстах казались такой же ненужной работой, как латинские слова.

Дело двигалось туго.

— Звука вы не чувствуете! Фразировки—никакой.

Однажды профессор задал ему фугетту Баха. Андрей быстро выучил ее, удивившись, для чего понадобилось играть такие легкие вещи. Но профессор даже не дослушал.

— Дуб, дерево! Столб!..—Он завизжал и оторвал руки Андрея от клавиш.—Тут же голоса! Голоса! Понимаете? Надо их показать, выделить тему.

Профессор сыграл тему.

— Вот вступает второй, слышите? А вот это—третий. Дальше интерлюдия. Потом снова тема.

Плетение голосов показалось занятым. Дома Андрей расчертил каждый голос красным, синим и зеленым карандашами. Потом проделал то же с другими вещами Баха и за два месяца незаметно выучил всю тетрадку.

— Ну, сдвинулся с мертвой точки,—потер руки профессор.—Теперь научишься прилично играть. Странно только, что сдвинул тебя Бах.

Он рассказал Андрею о полифонической музыке, предложил выучить несколько трудных фуг.

Это совпало с началом занятий философией. Возводить симметричную постройку четырехголосой фуги было так же радостно, как разрешать тригонометрическую задачу или мысленно опровергать оправдание добра Соловьева. Он не был религиозен, но ему нравилось следить за доводами философа; не собирался стать математиком, но самый процесс раскрытия сложного математического выражения доставлял наслаждение. Андрей вряд ли оценивал тогда насыщенность тем Баха, но их сочетание веселило его.

Он стал подолгу работать за роялем. Но профессор все еще был недоволен.

— Похоже на пианолу. Машину такую, знаете?—Все отчетливо, правильно, все на месте, а настоящей музыки не получается. Вам не нравится Бах?

— Больше, чем все другое. Это, по крайней мере, умные вещи.

— И только?.. Послушайте, Андрей, а что вы любите из литературы? Гофмана читали?

— Нет.

— Вот почитайте. И поменьше умствуйте.

История полусумасшедшего музыканта Иоганна Крейсlera вначале показалась скучной. Непривычная фантастика «Серапионовых братьев» не давала пищи привычной головной работе. Но, проснувшись после чтения и припомнив только что виденный сон, Андрей вдруг обнаружил в нем куски прочитанного. До сих пор книги никогда не снились Андрею. В маленьком томике почувствовалась неожиданная близость. Андрей сказался больным и весь день пролежал за чтением.

— Это—самая замечательная книга,—поблагодарил он профессора.

— А ведь к ней есть музыка. Хотите посмотреть?—Профессор протянул ему «Крейслериану» Шумана.

Хитрость удалась. Еще не выучены были трудные пассажи, не везде отчетлива педализация, но профессор хихикал и потирал руки:

— Будете играть на отчетном вечере класса. Наконец, вы научились себя слышать.

В шестом классе у Андрея появились новые привычки. Он завел лайковые перчатки, высокие воротнички, заказал черную тужурку в талию, как-то особенно лихо стал носить фуражку. Андрей часами просиживал перед зеркалом, а однажды Анастасия Исааковна застала его, красящего губы помадой.

Она пыталась найти причины в обычном гимназическом романе. Но самая тщательная проверка не подтвердила догадки. Андрей проводил все свои досуги на глазах у матери.

Аннинька тоже не могла быть героиней предполагаемого романа; со времени отъезда он не виделся с ней. Аннинька представлялась ему попрежнему резвой подругой детских игр. Школьные подружки не пробуждали в нем мужского любопытства. Если в тот год он пережил свой первый роман, то объектом его и субъектом послужило одно и то же лицо,—сам Андрей.

В первый год учения в гимназии он убегал от циничных откровенностей одноклассников. Половой акт в его глазах был так загажен реалистическими описаниями товарищей, что самая мысль о нем осквернила бы его отношения к немногим знакомым женщинам.

Анастасия Исааковна уберегла сына от порока. Но она заставила его пережить еще одну борьбу, более опасную, чем разрыв с отцом. Запреты окружали его со всех сторон, замыкали его жизнь.

Освобождение наметилось с совершенно неожиданной стороны.

В жизни Андрея все большую роль начинала играть война. Несколько одноклассников его перешли в военные школы. В классах ввели обучение строю. Газетные сводки обсуждались на переменах и после занятий. Андрей прислушивался к этим разговорам, но сам говорил о военных событиях коротко и равнодушно, как о заданном реферате или пьесе в театре, и как никогда не сумел бы говорить о Достоевском и Скрябине.

Но когда Сергей Никодимович, отвечая на письмо сына, сообщил, что Володю убили под Барановичами, Андрей вдруг отказался идти на строевые занятия.

Директор вызвал его.

— Ты что, с ума сошел? В чем дело?

— Не могу,—кратко ответил Андрей.

— Да ты знаешь, чем это пахнет?

— Делайте, что хотите, не пойду.

— Послушай, ведь это же совсем по-детски. У тебя есть какие-нибудь причины? Ведь раньше ходил?

— Есть причины.

— Ну? Рассказывай!

— Не хочу... не могу,—поправился он.

Директор помолчал и вдруг придвинулся, положив руку на голову Андрея.

— Кто тебя научил?

Андрей недоуменно глянул на него:

— Как—научил? Разве этому учат?

— Я спрашиваю: кто против войны говорил?

Андрей догадался: брат товарища, студент Гога, как-то расспрашивал о его политических взглядах. Но Андрей скучно послушал его и, заложив руки в карманы, ответил: «Я этим не занимаюсь. Да и не так уже плохо — война. Меньше людей на свете будет — легче жить».

Студент возмутился, хотел что-то доказывать, но товарищ остановил его:

— Брось. Он у нас — эстет, индивидуалист.

Андрей обиделся и растерялся.

— Балда! — крикнул он приятелю.—Это,—что я растабарывать с вами не желаю. «Эстет!» Болтаешь, благо язык привешен. Я — вот что, — виновато сказал он студенту. — Я ведь не знаю... Ничего не понимаю в политике. Ну, там Михайловского читал, Бокля, Герцена «Бывое и думы». Так ведь это—мать давала. Она у меня либералка. Раньше Толстым увлекалась, а теперь—английским парламентом. По правде, я об Англии лучше, чем о России знаю: Беджгот, Лоуэлль, Дайси, Лоу, Эсмен,—он сыпал названиями прочитанных книг,—только это все больше юридические. Да и не шибко интересовался, знаете,—вконец смутившись, признался Андрей.

— Хотите, я дам прочитать? — не совсем решительно предложил студент.

— А что именно?

— Для начала Каутского, Бельтова, Ленина. А потом Маркса возьмете.

— Что ж, давайте.

— Только вы ведь знаете, нужно осторожно, особенно теперь.

— Пустое, давайте.

Но книг все-таки не взял. В тот раз он зашел за товарищем, чтобы итти в театр, и студент отговорил его: могли заметить надзиратели. Потом все откладывал и совсем забыл.

Сейчас, поживаясь под взглядом директора, он снова почувствовал давешнюю виноватость, и тотчас внезапная злоба против директора заставила его твердо ответить:

— Никто ничего мне не говорил. А если бы и говорил, все равно вам не сказал бы.

— Вот как?! — директор бледнел, нижняя челюсть его странно выпятилась вперед, и Андрей впервые обратил внимание на две звездочки действительного статского советника, украшавшие петлицы его сюртука.

— Исключу! Из гимназии выключу! С волчьим паспортом! Паршивая овца все стадо мне перепортит. Говори сейчас же!

Как только директор повысил голос, Андрею стало весело и немного смешно. Он круто, размашисто повернулся на каблуках и, выходя, обернулся:

— Ошиблись, Густав Адамович. Доносчиком не стану,—и, не заходя в класс, вышел на улицу.

К обеду Андрей не пришел. Анастасия Исааковна побежала в гимназию. Директор встретил ее сухо.

— Принужден объявить вам печальную новость. Андрей будет исключен.

— Что случилось? Боже мой, в чем дело? — опустилась она в кресло.

— Не догадываетесь? Эх, Анастасия Исааковна, говорил я... На занятия военные отказался идти. Надерзил, связался с агитаторами какими-то. Завтра же исключим.

Анастасия Исааковна, пользуясь правами давнего знакомства, взяла его руку.

— Вы ошибаетесь, Густав Адамович. — Это не так.

— Я ошибаюсь? Я? Но всего два часа назад на этом же месте я слышал. Наконец, он отказался идти на строевые занятия.

— Густав Адамович, какой же вы психолог? Я вам объясню: вчера он узнал, что нашего казачка, его товарища, убили на фронте.

— Ну и что же, мало ли... Это не повод.

— Не повод для нас с вами. Но я знаю Андрюшу. Я — мать. Густав Адамович, вдумайтесь, ведь для него...—Она старалась объяснить чувства Андрея, сама плохо их понимая и путаясь. Но цель была достигнута. Директор, все еще недовольно, но значительно мягче упрекнул ее:

— Говорил я вам — курс на среднего мальчика. Здорового и без фанаберий. Значит, вы беретесь его переубедить?

Анастасия Исааковна замаялась:

— Не сразу... Сегодня он обедать не пришел. Я не знаю даже, где он. Нельзя ли, — она еще раз просительно дотронулась до его руки,—нельзя ли на время его освободить от строя?

— Вот вы опять... Впрочем, я поговорю с нашим врачом.

Недоразумение было улажено. Но Андрей не вернулся домой и ночью.

Выбежав из ворот гимназии, он быстро шагал к Сололакам, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Он не плакал с детства, разве только во сне. В лечебнице, где ему опраивали вывихнутую во время гимнастики руку, он старался беспечно посвистывать. Андрей никогда не видел отца или кого-нибудь из Замковых плачущим. В семье плакала только мать. Мальчик слышал, как Сергей Никодимович, выведенный из себя, яростно прошипел:

— Опять рев. Положим, что с нее спрашивать! Слезливая нация—жиды.

Он навсегда запомнил слова тетки в день смерти деда. В нем тоже была эта позорная еврейская кровь. Нет, он не хочет быть похож на еврея. Он не будет плакать!

Андрей шел все быстрее к старинной каменной лестнице, ведущей на невысокий хребет, отделявший город от Ботанического сада. Тугой ремень будто удерживал что-то, нараставшее внутри, живое и безобразное.

На гребне, у входа в сад, Андрей приостановился. Внизу дома громоздились кучами крыш над рекой, и среди них Метехский замок возвышался грудой мрачного камня. С другой стороны, в ущелье, водопад обрывал грязно-серую ленту потока, мелькавшего сквозь коричневую сетку безлистных ветвей. Кипарисы, сосны и пихты одиноко синели среди весеннего обнажения сада и на противоположном склоне сдвигались в темную чащу. Там, то теряясь в изгибах дороги, то отчетливо вырисовываясь на буром нагромождении скал, медленно подвигался человек.

Всмотревшись, Андрей различил белую папаху всадника и темную, развеваемую ветром, черкеску.

И мгновенно давнее воспоминание обожгло его непереносной яркостью.

Весна. Такой же вот солнечный, чуть ветреный день. Коляска взрезала сырую землю глубокими колеями. «Витязь», играя, выбивает копытом ямку в щелнистом камне.

Андрей взобрался на пригорок, к роднику.

Вода в роднике такая холодная, что пальцы его с оплетенным плоским стаканчиком, розовеют.

Впереди скат горы разворочен, и глыба известняка белеет на прошлогодней траве, как полотенце над постельным ковриком. Ниже чуть дымится обжигательная печь.

Отец закончил дело на заводе и нетерпеливо поглядывает на шоссе. За дорогой, на болотце, он заметил куропаток и послал Володю в город за своей двустволкой. Сергей Никодимович лукаво поглядывает на Андрея, а тот притворяется, что не слышал его шопота.

— И монтекристо захвати. У меня в кабинете за кассой; маленькое, что я на-днях купил.

Андрюша еще позавчера видел, как отец, таясь от жены, пронес новенькое ружье в кабинет и при этом посмотрел на него тем особенным веселым и вместе смущенным взглядом, который появлялся у него всегда, когда он готовил сыну подарок и опасался, что Анастасия Исааковна не одобрит его.

Сегодня у Анастасии Исааковны мигрень, и она, кутаясь в шаль на диване, едва согласилась отпустить Андрюшу за город с отцом.

Он уже взрослый, ему 10 лет, и Володя уже год—с того самого дня, когда Андрей приказал отдать ключ, — называет его Андреем Сергеевичем. Ну, конечно же, взрослый, раз отец дарит ему ружье, всамделишное ружье с маленькими пульками.

За выступом скалы послышался частый плеск копыт: Володя в черкеске и папахе, пригибаясь к луке, галопом вылетел на поворот, сдержал лошадь и, отрывисто вскинув ноги, прыгнул.

Сергей Никодимович, осыпая комья земли и мелкие камни, сбегает вниз, к Тереку. Андрюша—за ним, цепляясь за ветки кустов, калябая ноги репейником. Откос все круче, и ноги сами бегут и не могут остановиться. Как бы не шлепнуться.

— Володька, держи меня! Скорее держи, а то в реку бултыхнись!

С размаху уткнулся в широко раскрытые руки Володи так крепко, что тот едва не упал.

— Удержал... ты—сильный.

Потом, крадучись, пробираются к болотцу.

Зарт, рыжий дедовский сеттер, делает стойку, склонив голову на бок и приподняв лапу, неподвижный и четкий, совсем как серебряная фигурка на столе у отца. Сергей Никодимович быстро вскидывает ружье.

Выстрел. Еще один. Андрюша жмурится и изо всех сил старается не вздрагивать. Сегодня он тоже будет стрелять.

— Иси, Зарт! Сюда, сюда, мерзавец!

Сергей Никодимович треплет собаку за уши, и она выпускает добычу — живую еще куропатку.

Андрей знает, как действовать ружьем.

— Вот... твое...—почему-то смущается отец, давая ему новенькое монтекристо.

— Смотри. Видишь, у куста. Целься... живее, бери на мушку вон тот лист, сухой, видишь?

Андрей, подражая отцу, выставляет вперед ногу и целится. Поднял. Целый выводок, отчаянно хлопая крыльями, взлетает над кустом.

Андрей торопливо нажимает собачку.—Мимо. Да оно дерется больно. Андрей потирает плечо.

— Вы приклад туже к плечу прилагайте, — советует Володя.

Сергей Никодимович увлекся: бежит за Зартом, и меховая шапка его маячит уже далеко за ржавой водой.

— Погодите, Андрей Сергеевич, я еще спугну.

Володька, пригибаясь к траве, скользит за кусты.

Вот что-то пошевелилось. Дичь? Андрей стреляет.

Что там? Кричат?..

— Володя, Володя! Где ты? Гоп—гоп!

Володя стоит на коленях и безмолвно раскачивается, держась руками за голову.

— Что с тобой, Володя? Володичка? Что ты, заболел?

Володя не отвечает. Лицо у него совсем серое, и рот испуганно раскрыт. Вдруг Андрей замечает красное и густое, как клюквенный кисель, у его уха.

— Володичка, где болит?—Он отрывает Володины руки и вскрикивает: там, где должна быть мочка уха, — клочья мяса.

— Ай, кто укусил?—Андрей обнимает его и заглядывает в глаза.

— Это пуля, вы стреляли, — шепчет Володя.

— Папа, скорей! Па-па-а!! Я Володю застрелил...

— Куда ранен? — Сергей Никодимович кричит издалека.

— В голову? Разговаривает? Слава богу, значит не опасно.—

Сергей Никодимович взволнован и украдкой целует Володю, обвязывая его ухо чистым платком. Володя испуганно косится на Андрея.

— Вы только барыне не говорите, — робко просит Володя, как будто он виноват в случившемся.

— Едем домой... доктор перевяжет.

— Да право же, хозяин, ничего... Само пройдет...

Володя говорит почти весело, не желая расстроить охоты, и Сергей Никодимович легко поддается.

— Ладно, я пойду. А ты смотри, Андрей! Не стрелять без меня. Посидите тут, я скоро...

Теперь Володя хочет развеселить Андрея, но ухо горит, и неожиданно слеза выкатывается из глаза и подзет по щеке.

— Плачешь? Больно? — Андрей обнимает его и дует на раненое ухо. — Подожди. Я сделаю.

Он снимает платок, открывает рану и хочет ее полизать, как всегда делал с порезанным пальцем.

Володя дергается от прикосновения его языка.

Вдруг тошнота заставляет Андрюшу пригнуться к земле. Володя утешает его. Потом Андрей сидит у него на коленях и, играя гозырями черкески, слушает о родной Володиной станице.

Сейчас в Ботаническом саду Андрей вновь ощутил володино дыхание на щеке и на губах — солоноватый вкус крови. И тогда мучительный ком прорвался, и Андрей повалился в траву.

Все его тело напряглось в судороге плача; только руки, как-будто обретя самостоятельную жизнь, неловко и слепо поелозили около живота и распустили ремень.

Ущелье, прогретое лучами, источало душное земное тепло. Земля отдавала зимнюю влагу, струйками пара вознося ее к затухающей прорези неба. Прошлогодние мертвые листья шевелились, шурша раздвигались, открывая молодые ростки травы. Уже копошились между ними жучки, и отощавшие земляные черви сонно влачили в извилистых ходах.

Муравьи напоззли в путаницу волос, забрались за шею.

Андрей, выплакавшись, спал глубоко и крепко, как в детстве, с подложенной под щеку рукой, покрасневшись, слегка надув губы, прикинув к земле грудью.

— Вставай! Эй, вставай! Нализался...—сторож толкал его сапогом. — Сад закрывается.

Андрей в полусне распрямился и, шутя, схватился рукой за сапог.

— Володька, отстань! Ну, еще полчаса... поспать.

— Вставай, говорю!

Андрей вскочил, смутно соображая, где он.

— Иди, иди! Сторож пнул его в спину, надав коленкой.

— Ишь, не проспится... а еще гимназист.

«... Ах, да, гимназия... директор... неприятность. А Володька убит... Убит Володька... Нет его больше, не увижу никогда. Кто Володька? Почему он у нас жил? И мама его не любила, а папа баловал. Вот, он — слуга, казачок. А если бы был со мной... Никогда не увижу...» — Никогда! — резко сказал он вслух, сжал губы, подтянул ремень, отряхнул платье и пошел неторопливо, прямо и быстро, отцовской походкой.

«Никогда. Война — это значит никогда. Человека гонят под выстрелы, и он знает, что, может быть, через минуту наступит «никогда». Как можно согласиться на «никогда»?

Он застегнул воротник с подшитой белевской опрятной кромкой, такой знакомой, которую мать меняла два раза в неделю. И сейчас же зачесались муравьиные укусы.

«Вот — чешется. А у Володьки никогда не будет больше чесаться. Как это может быть, чтобы никогда не чесалось? Никогда — это значит неповторимо. Не повторится, ушло без возврата. Разве может что-нибудь не повториться? На Эриванской площади горит циферблат думских часов. Наверное, — девять. Девять — это маленькая стрелка на IX, а большая на XII... Как же не повторится? — В жизни, как на часах, все повторяется.

«А ведь неправда. Какая это ложь, что повторяется!

«Дом, Аннинька, Володя, ружье — ушло; совсем ушло, т. е. они есть, но другие... и я другой, каждый день другой. И, как ни старайся, не вернешь, не повторишь их».

— И не надо! — крикнул он и сжал руку в кулак. — Не надо, и чорт с ним! И сам сделаю, чтобы не повторилось, все сломаю! И по-новому сам сделаю!!!

И как только он додумался до нового, вспомнилось, что ведь это самое говорил студент о войне, о политике, о всей жизни. Другими словами, а смысл тот же: сломать и сделать по-новому.

Андрей решительно повернул в город, поехал к студенту.

— Гоги нет в городе, — встретил его товарищ.

— Уехал?

— В Батум, к дядьке...

Андрей соображал: билет до Батума третьего класса, еда...

— Слушай, Сандро. Мне нужны деньги.

— Много?

— Двадцать рублей. Сандро, достань, — он схватил его за руку, — достань непременно... я не знаю как, если не достанешь.

Сандро покачал головой.

— Баба?

— Да нет же... Ну, пусть баба, все равно; так достанешь?

— Двадцать не могу. Вот — одиннадцать.

— Да у меня шесть... Когда батумский поезд?

— Андрюшка, что такое? В чем дело?

— Скажи адрес брата.

Он записал адрес и, не попрощавшись, заторопился к вокзалу.

Гоги в Батуме не оказалось. Он был где-то на Чаквинских чайных плантациях. Дядя его, старый именитый грузинский князь, подозрительно встретил гимназиста, приехавшего налегке, даже без подушки.

— Кто вас послал? Опять товарищи Гоги? Мальчишки забавляются, а мы потом—выручай. Не скажу, где Гога. До свиданья.

— Передайте, что его спрашивал Замковой.

— Грозненского Замкового сын?

— Да, у отца дела в Грозном... Только он ведь не в Грозном живет.—Андрей сказал название родного города.

— Сергей Никодимович?

— Да. А я—Андрей Сергеевич,—гордо заявил Андрей.

— Что ж, вас папаша отпустил?

— Нет... я сам...

Старик больше не расспрашивал, но уложив Андрея отдохнуть, пошел в город и, разузнав адрес конторы Замкового, послал ему телеграмму.

— Поживите денек-два,—радушно пригласил он Андрея.—Гога скоро вернется.

На третье утро—Андрей собирался уже возвращаться в Тифлис—твердые, легкие и странно знакомые шаги послышались в прихожей.

— Здесь?—спросил низкий уверенный голос, и отец обнял Андрея и прижал лицо его к колючей щеке.

— Едем обедать.

Отец был весел и держал себя с сыном непринужденно, как с взрослым, равным себе человеком. Только один раз Андрей заметил, как глаза его сблизились к переносице, придав лицу необычное растерянное выражение.

После обеда поехали кататься на лодке. Андрей не умел грести, не знал, как взяться за руль. Сергей Никодимович недовольно хмыкнул.

— Что ж дальше думаешь делать?

Андрей подобрался и сунул палец за ремень, чтобы было туже.

— Не хочу больше в гимназии.

— Гимназия—пустяки. Почему в строй отказался итти?

— Долго объяснять... не хочу войну.

— Кто ее хочет? Ничего не поделаешь, брат... А все магь винювата. Знал я, что чем-нибудь эдаким кончится. В Батум-то зачем поехал?—Чепуха ведь все это, что князь рассказывает?

Андрей подумал:

— Пока действительно чепуха. Это-то и скверно, что чепуха.

Вдруг он решил:

— Папа, как умер Володька?

Опять то же странное движение глаз. Сергей Никодимович налег на весла.

— Не знаю, брат, сам ничего не знаю.

Палец Андрея под ремнем набух и занял тупой болью. Он нарочно напряжил живот, чтобы стало еще больнее.

— Я тебя спросить хотел... ты не рассердишься?

— Ну?

— Ты ответишь? То-есть, правду скажешь?

— Ладно, валяй.

— Почему Володя всегда у нас жил?

Сергей Никодимович дернул плечом.

— Глупый твой вопрос. Казачок он был.

— Откуда?

— Из Червленной.

— Сирота?

Сергей Никодимович кивнул головой и сейчас же заиграл скулами, бросил весла и, близко заглянув Андрею в глаза, скороговоркой заговорил:

— Неправда, что глупый вопрос. И что сирота — неправда. Кровь всегда свое докажет. Брат твой был Володя, вот кто!

Андрей глядел на посиневший, скрюченный палец. Он не особенно удивился, словно ждал этого. Но признание отца наполнило его тревогой, и к горю от смерти Володи примешалась тайная и стыдная радость.

Сергей Никодимович угадал его мысль:

— Теперь ты у меня один остался.

— А мать знает?

— Не спрашивал. Едем ко мне.

— Совсем?

— Там посмотрим. А с гимназией обладим. Все равно скоро вакации.

Не заезжая в Тифлис, он привез Андрея в родной городок.

III. «1916». (У отца)

Массивная, с годами закруглившаяся, но все еще статная фигура отца оказалась неожиданно близкой и родной.

Андрей легко и неприметно простил Сергею Никодимовичу и непременно вечернюю пульку с разбойником и скачками, и экономку Прасковью, о которой Анастасия Исааковна не могла говорить без негодования, и нескладную грубоватую речь.

В штатском костюме Андрей выглядел солидным, серьезным и немного неуклюжим. И разговоры его с приятелями Сергея Никоди-

мовича: отцом Николаем и старым нотариусом, местным краснобаем и умницей, были серьезные взрослые.

— Ллойд-Джордж, прошу вас, замечательный политик, английский Витте, — говорил нотариус.

— Ну, похвала небольшая.

— А что же, прошу вас, Штюмер, Сухомлинов?..

— У нас были люди получше: Герцен, Бакунин, Чернышевский.

А эти Милюковы—дешевка. Немцы хотят Польшу, Ллойд-Джордж—Константинополь, а мы все равно ничего не получим.

— Вы, прошу вас, очень мрачно смотрите... Россия.

— Я не знаю России, и вы ее не знаете.

— Но однако...

Сергей Никодимович не без гордости подшучивал над отцом Николаем, не сумевшим опровергнуть учения Дарвина, изложенного Андреем кратко и точно.

Давно знакомая баллада Грига, от которой Сергей Никодимович, бывало, уходил в кабинет, под проворными пальцами сына обретала неиз'яснимую прелесть, грустной радостью полнила ожирелое сердце, тайною влагой обжигала багровые жилки под омутнелыми глазами.

«Так вот он какой, — открывал Сергей Никодимович все новые милые черточки в сыне. Не в дельца растет, — в аристократа. Что ж, и это не худо. Нарботал я не мало. Будет, что прожить. Ну, побесится первое время. А там... размах его у него наш, Замковых. Начнет ворочать...»

Отец молчаливо признал превосходство сына в умственных делах. С довольной завистью отмечал, как Андрюша двумя круглыми фразами зацеплял самую суть дела. Только про войну сын говорил с сердитой насмешкой. Сергей Никодимович избегал этой большой темы и никогда не говорил с ним о Володе.

Не понимал он и еще одного.

Андрей возвращался домой рано, ужинал наскоро в огромной прокуренной столовой с размалеванными грушами и арбузами и уходил к себе. Сергей Никодимович, грузно ступая мягкими туфлями, мимоходом задерживался у стеклянной двери спальни сына.

Раскрытая книга вспухала мятыми страницами на постельном коврике. Молочный теплый свет пронизывал узорное стекло абажура, располагался паучьими лапами по затененным обоям, опаловым блеском дрожал в недопитом бокале воды с коньяком. Комканный край простыни свешивался к полу. Худая рука у горла вцепилась в ночную сорочку и мяла и тискала ворот. Андрей вздрагивал, откинув голову. Из пересохших губ вылетали тревожные вскрики. Длинные, загнутые ресницы взметывались, открывая в прорези глаза желтоватый белок.

На утро он тщетно заставлял себя рано подняться. Вялой походкой, волоча ноги, шел под душ. Жирный завтрак оставался нетронутым. Андрей устало протягивался в качалке и глядел сквозь чугунное плетение балконной решетки на полдневный тихий бульвар.

Окончив дело, отоспав сытный часок после обеда, в благостное предвечерие Сергей Никодимович переодевался в просторную серую визитку и шел в клуб. Старик-швейцар, привычным жестом принимая резиново-шелковое пальто, с почтительной фамильярностью докладывал:

— Дык что Андрей Сергеич скучные что-то... Давеча барышни Хлудяковы приглашали в лунный денис играть, да Микола Семеныч, Чижова-то сын, все по телефону звонили: ежели, говорит, препожалуют Андрей Сергеич, беспрременно к ним направить — машину-де они получили новую, сто конских сил. Вместе пробовать желали.

— Что же, поехал сын?

— Какое!.. Прошли в библиотеку, книгу сменяли и на дирасу. Ежели, говорят, спрашивать кто будет, скажите, что ушел.

— Что так? — хмыкал Сергей Никодимович.

— И не придумаю, — сокрушенно вертел головой швейцар, — а только не в себе они. Жизни в них нету этой самой играющей.

— Ну, наговоришь еще бочку арестантов... «Жизни играющей!» А все мать виновата... Увезла! Воспитание ее!

На террасе, разгороженной вееролистными пальмами и легкими соломенными ширмочками, Андрей поднимался навстречу отцу.

— Ну, как, папа, удалось добиться нарядов на цистерны? — И, равнодушно выслушав ответ, провожал Сергея Никодимовича к ломберному столу, несколько минут следил за игрой и прощался.

— Я возьму экипаж. А Тимофея домой отошлю.

— Смотри, понесет «Витязь» без Тимофея.

— Ничего, справлюсь.

К одиннадцати «Витязь», взмыленный, широко раздувая бока, чеканил булыжник мостовой у садовых ворот.

— Кого прокатил? — подмигивал Сергей Никодимович сыну, любовно оглаживая вздыбленную гриву рысака.

— Один, — виновато отвечал Андрей.

Сергей Никодимович, недовольно морщась, кренил ногой кабриолет и размещался на кожаной подушке.

— Куда после ужина?

— Дома останусь.

— Монахом живешь.

Анниньки не было в городе. Андрей отказывался знакомиться с дочками отцовских приятелей.

Однажды Сергей Никодимович, удачно закончив крупную сделку, отправился со своим управляющим в единственный местный шантан. Сын управляющего усердно наполнял бокал Андрея кизлярским — «кровью земли», кахетинским «Цинондали», дербентским «Геджух».

Все было подготовлено заранее. Сергею Никодимовичу подали телеграмму, и он с управляющим спешно уехал. Тотчас же в кабинет ресторана вошли две женщины. Принесли еще вина.

Через несколько часов Сергей Никодимович осторожно приподнял побуревшую от пыли портьеру. Сын управляющего в обнимку с проституткой валялся на измызганном диване. Вторая женщина мирно похрапывала сидя, широко расставив ноги, полуоткрыв рот, похожая на сонную рыбу.

Андрей, подперши рукой подбородок, пристально разглядывал спящую на диване пару. Губы его искривились странной усмешкой.

— Это ты, п-папа? Поед-дем домой, — Андрей слегка заикался.

— Что случилось? Ты болен?

На Сергея Никодимовича поглядело совсем чужое лицо: долгая неживая ухмылка, острые, злые глаза, сомкнутые, бледные губы.

— Н-нич-чего, кр-роме разв-ве наг-глядной дем-монстрации ль-лю-б-бовных ут-тех.

Отец рванул сына к себе и вывел на улицу.

На другой день Андрей ежился под внимательно строгим взглядом отца. Заикание его исчезло. Однако какая-то неуловимая черточка, может быть, изгиб вздрагивающих губ, неотступно напоминала Сергею Никодимовичу вчерашний беспокоящий облик.

Пофыркивая и огрызая костяную ручку, написал он письмо Анастасии Исааковне, требуя подробного отчета о характере сына и о жизни его в Тифлисе.

Ответ его разозлил.

— Где ей понять нашу натуру, — ворчал он, читая о рассеянности Андрея, об увлечении его запретными книгами, полном равнодушии к женщинам. — Заперла его в курятник и удивляется, что малец заскучал.

Послал за Андреем. Посадил напротив себя. Вынул из несгораемого шкафа портфель, разложил планы, заметки, купчие.

— Вот что, брат, — старею. Устаю. Дела-то все прибавляется. Знаешь ты, во сколько нас теперь считают?

— Тысяч в сто?

— Хо-хо! Сто тысяч. Это я двадцать пять лет работал! Уморил. Выше бери, Андрейка! На сажень, на версту выше!!!

Он перегнулся через стол и вышептал цифру.

— Что, брат, дух захватило? Не веришь? Смотри.

До вечера Андрей просидел в кабинете отца над бумагами фирмы «Сергей Замковой».

— Тут башка нужна во! Этаким делом ворочать. Д-а... Я насиловать тебя не буду... Учись. Гимназию пройдешь, в Питер поедешь. А война кончится, — в Англию отправлю, в Оксфорд. Писали мне: шесть тысяч в год будет стоить. Наплевать, наши головы дороже, сторичей окупим. Только чур: вакации эти самые, отпуска — ко мне приезжай. Помогать будешь. Делу учиться.

— Согласен?

Сын молчал.

Перспективы, внезапно раздвинутые отцом, напомнили былые игры: постройку городов из кирпичиков и кубиков, картонных и де-

ревянных домов, нарядных церквей. Теперь игры могли сделаться явью. Андрей впервые осознал могущество этих гербовых бумаг с печатями, пестрых акций, чековых книжек. Но радости, буйной, оглушающей радости обладания не было. Годы тяжелого отрочества сделали свое дело. Не давала покою мысль, внушенная матерью, о бесцельности, внутренней ненужности отцовской работы, продолжать которую теперь приходилось ему.

«Нет, сломать все это, и — наново! Только как? Как начать, с чего?»

Андрей еще не успел преодолеть необъятного, вросшего в тысячелетия мира могущественных книжных мертвецов, но не мог уже жить с жадной непосредственностью отца. И потому сын, волнуясь, молчал, по привычке теребя свой ремень.

— Ну, так как? Боязно?

Сергей Никодимович просматривал длинные колонки цифр в каком-то отчете.

— Ничего, по началу трудненько придется, потом по маслу пойдет. Вот из С-кого склада ведомость прислали. Только не очень-то я им верю. Двадцать две лошади, пятнадцать развозок, бочек двойных штук двести по аулам да станциям. А продажа — курам на смех. Чтой-то крутит Степан Еремеевич, приказчик наш. Махни-ка туда, Андрейка. Погляди. Хоть новичок ты, да все — хозяйский глаз — остратка.

* * *

Юркий ярославец Степан Еремеевич подхватил чемодан, усадил Андрея на рессорную линейку и пустил кругленькую кабардинку по увертливой горной дороге к домику у самой реки. Андрей два дня прокорпел над бухгалтерскими книгами, к великому смущению приказчика, и отправил отцу заказное письмо. Степан Еремеевич совсем было пал духом: хозяйский наследник отклонял все любезности и даже не отведал знаменитых сунженских форелей, до которых большой охотник был Сергей Никодимович. Но настроение его поднялось, когда он прочел пришедшую с вечерним поездом почту.

«Эге, значит, дело совсем не в отпуске керосина и не в недостатке машинного масла, коли старик пишет, чтобы сынка прокатить по округе да свести со станичными красотками».

— Чего ж вы раньше не сказали? — ткнул он в живот остолбеневшего Андрея, — у нас здесь бабья до чорта; только мигни. Разлюли-малина.

На заречном лугу девки вели хороводы. Парней было совсем немного, да и те — больные или калеки. Всех здоровых взяли на войну. Старики хорохорились, притоптывали мягкими, без подошв, ичигами, нестройно вторили бабьей песне:

Да не цыбушек,
Не воробышек,
Он скакал-то, плясал

Да на улице,
Он манил-то, просил
Красных девушек.

выводила тонким голосом круглолицая баба.

А девушки говорят:
«Нам своя воля гулять,
Отцы матери велят».

подхватывали девки.

В стройные девичьи голоса врывался хор молодок:

Нам мужья не велят
Да на улицу ходить,
Хороводы заводить.
У молоденькой молодушки
Дите-то кричит
Колыбельное,
А другое-то кричит
Короватное.
К короватному дитю
Я сама-то пойду,
Прибаюкаю:
«Уж ты спи-то, усни,
Либо шут тебя возьми».
«Уж я спать-то не усну,
На улицу не пущу!»
«Я украдуся,
Наиграюсь!»

— Эй, Марфуша, спой-ка барчуку!

Круглолицая казачка подплыла к Андрею, подбоченилась и, ошупывая его воловьими, с поволокою, глазами, затянула:

Казакам-то, дружкам разлюбезным,
Ой, в поход явлено было;
Ой, да моему-то дружку разлюбезному
Речью сказано было.

Она истомно перегнулась к Андрею. От налитой, выпиравшей из пестроты лифа груди шел тяжкий, сладковатый дух.

Убираться милой стал,
Ой, да к полу-то ночи,
Он стал коня, милой, седлать.
Ой, да никто-то, никто разлюбезного
Провожать нейдет,
Ой, да нет ни батюшки, нет ни матушки
Роду-племени его.

Марфа жалостно причитала. Вдруг отпрыгнула, передернула плечом, гикнула:

Ой, да провожали его добра-молодца
Все товарищи друзья.
Ой, да нет ни батюшки, нет ни матушки,
Молодая его жена:
«Ой, да ты вернись-воротись, разлюбезный,
Ночуй ноченьку со мной».

И снова уныло, прижмурившись, жалостным придыханием растянула конец:

«Ой, да я рад бы ночевать, разлюбезная,
Да товарищи не ждут!»

— Что, али не понравилось?

— Нет, хорошо.

— Хорошо, да не дюже: с мужем мужа, без мужа хуже, а вдовой сиротой — хоть волком вой.

Она повела бедрами и вдруг брякнулась рядом с Андреем, облапив его шею.

— Да ты кто будешь? — смущенно спросил Андрей.

— С вечера девка, с полуночи молодка, на заре хозяйюшка...

Айда-те песни играть!

Но Замковой распорядился закладывать линейку.

— Куда ж, на ночь глядячи, ехать надумал? Приходи ко мне, — шепнула Марфа, — согрею.

Андрей неспеша шел по высокой горько пахнувшей полынью траве. Где-то мигали дальние огоньки, глухо звучал лай собак. Еще пахло гарью, коровьим пометом, свежестью вечерней росы.

— Отбрила, что надо! — раздался совсем вблизи насмешливый голос. — Счастье твое, барин, что не пошел. Быть бы тебе битым. — Андрей насторожился, стиснул в кармане бульдог, данный отцом на дорогу, и, не отвечая, двинулся дальше.

Но позади, чуть не вплотную, шел человек. В быстро густевших сумерках вырисовывались очертания большого могучего тела. Слышно было его совсем ровное дыханье. Человек, видимо, без труда поспевал за начинавшим спешить Андреем. Чиркнула спичка и вырвала из сумрака козырек фуражки, самодельную люльку, краешек молодого, с пушистыми усиками, лица. Человек закурил.

— Вы не пугайтесь, я худого ничего не думаю. Не узнаете?

Что-то знакомое послышалось в низком уверенном, с легкой издевкой голосе. Андрей пригляделся.

— Я — Семен, — бросил человек, — служащий бывший отца вашего. Неужто не помните? На плечах вас таскал.

Мгновенный стыд залил лицо Андрея: «испугался Семена!»

— Как же я вас не видел? Я ведь два дня уж на складе.

— Нечего мне на вашем складе делать. Прогнал меня ваш отец.

— Как так?

Семен помолчал и нехотя прсмолвил:

— Негоже на отца сыну жаловаться.

— А все же скажите.

— Ну, смотри, чтобы опосля в обиде не был. Прасковью-то знаешь, Сергея Никодимыча горничную? — перешел он на «ты».

— Ну?

— Полюбился я ей, вишь-ты. — Он махнул рукой и пошел дальше.

— За что же уволил-то?

— Нешто не понимаешь? С Прасковьей слюбился. Отец твой проноухал.

Андрей понял. Он давно слышал, что отец живет с Прасковьей, и когда-то вместе с матерью возмутился этим.

Открытие, сделанное в Батуме, показывало, что Сергей Никодимович и до женитьбы был далеко не безгрешен. Андрей не знал, кто была мать Володи, жива ли она, в каких отношениях с отцом, и не особенно этим интересовался.

К отцу нельзя было подходить с собственной меркой. Сергей Никодимович был настоящий казак, и запреты, окружавшие Андрея, были для него недействительны.

До сих пор Андрей ни разу не мог осудить Сергея Никодимовича. А осудить было необходимо. Иначе как же «сломать и сделать по-новому», без осуждения? Работа и вся жизнь отца казались ненужными, но сам отец был очень нужным. Андрей мечтал быть таким же стойким, как Сергей Никодимович, считал себя казаком, радовался каждому жесту, делавшему его похожим на отца. Представить себе Сергея Никодимовича в другой обстановке он не умел, и любовь к нему пересиливала нелюбовь к его делу.

Сейчас «отец-человек» столкнулся с отцом-хозяином крупного дела. Семен развенчал отца-человека, и это было так оскорбительно больно, как если бы открыли его самого, Андрея, самый дурной, стыдный проступок.

Надо было не поверить, спорить, доказывать, оправдать отца. И не было доводов.

— Что же ты теперь делаешь? — спросил Андрей, помолчав.

— А тебе зачем? — Семен поглядел остро и зло. — Выгнали человека, даром что десять лет на вас работал. Эх, да что!..

— Ты не думай, — неуверенно вдруг заговорил Андрей... — Мне очень жалко. Я понимаю, я не такой уж... Я очень чувствую... Право, не такой. Я книги читаю, запрещенные книги... революционные... — он с хвастливой гордостью выговорил последнее слово и тотчас же испугался.

Но Семен молчал.

— Вот, кончу гимназию, тогда, — Андрей запнулся: «Что, в самом деле, сделает он, окончив гимназию?»

Семен все молчал, шагая в ногу с ним и похрипывая люлькой. Андрей не видел его глаз, но, казалось, насмешливый взгляд спутника щекотал его щеки стыдом.

Уверившись, что Андрей окончательно замолчал, Семен наклонил к нему голову и презрительно-ласково сказал:

— Брось, барчук. И сам ты, и книги твои — барские. Брехня одна.

Андрей дернул свой ремень: «Книги барские». Что он понимает в книгах? а я позволил ему так говорить. Хорошо тоже, размяк, вот бы папа посмеялся!»

— Пойдем со мною! — твердо сказал он.

— К чему это?

— Увидишь.

Семен сплюнул, проворчал что-то. Однако пошел с Андреем. Подошли к конторе.

— Жди меня здесь. — Он быстро взбежал на крыльцо.

— Степан Еремеевич, мне нужно триста рублей. Срочно.

— А не многовато-ли? — усумнился приказчик. — Я вам скажу, она надуть вас желает. У нас красная цена — пятерка.

— Как вы смеете! С кем говорите?

Смущение, стыд за отца, все смятение недавних минут требовали исхода. Андрей кричал на оторопевшего приказчика, стучал по столу, топтал каблуками по досчатому полу и не заметил даже, как три белых бумажки очутились в его руке.

— Да что вы, да вот же они. И расписки не надо.

Андрей бросился к Семену.

— Слушай, вот деньги. Триста рублей. Пока. Тебе наверное нужно.

Семен недоуменно поглядел на него.

— Деньги ваши-то?

— Это все равно. Я даю, я отвечаю.

Он совал бумажки Семену, будто желая от них избавиться, сейчас же и навсегда загладить несправедливость.

— Ну, не думал я, что вы такие, — опять перешел на «вы» Семен. — Сергей Никодимыч крутенок... а триста рублей — деньги немалые. — Он мягко отстранил руку Андрея и дружелюбно поглядел ему в глаза.

— Эх, была не была, откроюсь я вам. Быть не может, чтобы выдали. Дезертир я, — прошептал он. — Не казак, — иногородний. Как батюшка ваш «с обороны» уволил меня, нигде работы не найду. На промыслах не принимают. В Баку ехать — денег нет. Да и строгонько там: касательно повинности воинской.

— Как же вы?

— Так и живу... груши околачиваю. Ждем, пока лучше не станет.

— Лучше?

Семен необычайно внимательно принял раскуривать люльку и повернулся уходить.

— А деньги? — сполошился Андрей.

— Не надо их мне.

— Возьми. Ведь от меня.

— Ну ладно, ежели жертвуете. — Он сказал это с особой многозначительной серьезностью. — Значится, в полное мое распоряжение? Куда хочу, туда и дену?

— А ты не себе разве?

— Нет, не себе, — людям.

Семен поспешно, будто раскаиваясь, что проговорился, взял бумажки, тряхнул руку Андрея и исчез в темноте.

— Встретимся, — тогда узнаешь.

* * *

— Поездкой твоей я доволен, — встретил сына Сергей Никодимович. — Степка теперь знает, что за ним в четыре глаза следят. Постережется.

— Вот что, отец, — Андрей спрятал глаза, — я взял там деньги.

Сергей Никодимович хитро поглядел на сына: «Значит, вышло, ежели деньги понадобились».

— Хорошо, хорошо. Не о том речь.

— Много денег. Триста, — выпалил Андрей, все еще не решаясь поднять глаза.

— Ого, для начала порядочно. Столько и певички не стоят. Щедрый ты будешь ухажор.

— Я не для того, — тихо сказал Андрей, — мне не нужно было.

— Вот как? — вскинул плечи отец, — не для «того»? Куда же ты их дел?

— Так... понадобилось.

— Андрейка, говори!

Наступило молчание. Андрей чувствовал, что эта первая раз-молвка может повести к разрыву.

— Ладно, — наконец, проговорил сын. — Деньги твои, я обязан сказать. Я отдал их Семену. — Он впервые коснулся взглядом отца.

— Какому Семену? — не понимал Сергей Никодимович.

— Семену, которого ты уволил со склада. — Теперь уже он не мог оторваться от налившихся гневом, застывших глаз Сергея Никодимовича.

— А ежели я тебя... выпорю, — тихо и придушенно проговорил Сергей Никодимович, вскочил и выбежал.

Вечером Андрей принес пачку бумажек.

— Здесь сто восемьдесят рублей. Остальные пришлю после. Найду урок.

— Где достал? — не глядя, спросил отец.

— Не беспокойся, не украл. Часы продал, что ты мне подарил, запонки, от карманных денег немного осталось.

— Кому продал?

Андрей назвал ювелира. Сергей Никодимович завертел ручку телефона.

— Говорит Замковой. Сегодня вам продали часы и жемчужные запонки. Немедленно пришлите.

— Теперь с тобой.—Он накрыл пухлой рукой, словно периной, узкую руку сына.

— О чем слышал, — помалкивай. Между матерью и отцом не тебе судьей быть. Про Прасковью—глупости, зря говорят. Обидно вот

что: благотворительствовать на чужие деньги — не штука. Это и мать твоя умела. Да толку мало. Ты не баба тешить себя подачками. Деньги свои спрячь... Часы и запонки... Ду-рак ты! — вдруг прорвался он, — да разве ж для того я их тебе дарил. Этак с отцовскими подарками обращаться. Первому прощальге поверил.

— Семен не прощальга, — несмело но настойчиво ответил Андрей.

— А я говорю, прощальга. Не на своем месте он. Рабочий—не рабочий, а так, леший его знает, кто. Лодырь, пустобрех. В деле, брат, надо быть крепким. Деньги швырять тоже можно, — на то и живаем. Да только чтобы польза была. Точка. Письмо твое дельное. Да опять же ни к чему все рассуждения. Без тебя знаю, что плут Степка.

— Почему же ты его не выгонишь?

— Погоди. Первое дело — человек он бывалый. Тертый калач. Второго такого днем с огнем не отыскать. А что на руку нечист, так ты мне покажи человека, чтобы на эдаком деле сидел и не попользовался. Смекни-ка, сколько там он наворует: пятьсот рублей в год. А барыша на пять тыся. То-то и оно. Пушай жулик,—мне с ним детей не крестить. Конечно, приглядывать за ним надобно... Теперь слушай,—ты ведь восьмой класс выдержал? Переводись-ка сюда. Будешь мне помощью. — Он понизил голос. — Как раз собираюсь шерстомойку ставить. Шерсть-то в Москву отправляют да за границу засоренную на сорок процентов. Вникни, во что это обходится: тарифы одни, да фрахты да сколько сгорит по дороге.

Сергей Никодимович увлекся: вбивал цифры кулаком в стол, вскакивал, тремя прыжками прошагивал кабинет и снова подминал податливые пружины кресла.

— Так останешься? Писать матери?

— Я сам напишу, — решил Андрей.

Письмо к матери было сухо и коротко. Андрей извещал Анастасию Исааковну о предложении отца, не высказывая своего желания, и спрашивал совета.

Вместе с ним Андрей отправил письмо Гоге.

« ... Ты мне нужен, вот как, — признавался он. — Была у меня надежда на отца, а теперь вижу: если придется ломать и делать по-новому, с него же начать надо. И просьба моя наверно смешная, потому так, что настоящих друзей у меня не было. Вот какая просьба: книги, беседы, слова и мысли, — помоги выбрать, переменить...

... А не сможешь,—пока по отцовской дорожке пойду».

— Читай,—швырнул Сергей Никодимович сыну распечатанную телеграмму.

Андрей прочел: «Немедленно выезжай, иначе больше не увидишь мамы».

— Ну?

— Еще подумаю.

В ответе Гоги было всего несколько слов:

«Насчет дружбы, товарищ Андрей, увидим. Так сразу в жизни не делается. Осенью я поеду в университет. Но книги дам, и переписываться будем.

«Если хочешь свернуть с отцовской дорожки, делай это собственной силой. Тут помочь невозможно. Дальше видно будет, во что ты вырастешь. Когда приедешь, поговорим».

— Надо ехать, — объявил Андрей отцу.

На вокзале Сергей Никодимович сунул сыну пакет.

— Распечатаешь в дороге. И постарайся использовать беспрепятственно. Ежели я, отец, тебе говорю, — вдруг разъярился он, — значит, дурного в том нет! Смотри, плохо будет, ежели в бабах толку настоящего никогда не поймешь. Женщина нам, брат, нужна. Особливо — Замковым. Без нее, что без воздуху. Дышать нечем. Кровь не бежит.

Сдернув шнурок небольшого портфеля, Андрей обнаружил в нем десять чеков на тифлисский банк по 25 руб., помеченных первым числом каждого месяца, и несколько дюжин презервативов.

Опять потянулись долгие чужие дни. Все дальше отходила мать. Все чаще вспоминались Семен и отец, и тогда распрямлялись плечи, и глаза упорно выискивали в книге нужное.

Анастасия Исааковна натолкнулась на неожиданно твердый отпор сына.

— Сегодня и завтра дома ночевать не буду. Приеду в понедельник после гимназии, — объявил он в первую же субботу.

— Куда же ты, Андрюша?

— Не скажу, мать. Дело есть.

— Матери не хочешь сказать?

Глаза Андрея сблизились, дрогнули плечи, и Анастасия Исааковна заметила, как явственно проступили мужнины черточки в мужавшем облике сына.

— Дело не только мое. Вообще, мать, тебе придется отказаться от своей опеки.

— А гимназия? Медаль?

— Чорт с ней, с медалью. Не до нее мне теперь. И не смей рыться в моих книгах. А то — уйду. Теперь уже совсем уйду.

Товарищи, к которым пригласил его Гога, собрались в Ортачелах, в саду винодела.

Несколько студентов в выцветших университетских фуражках, безусый, опасно посматривавший кругом прапорщик и тучный смешливый грузин в лаковых ботинках и цветном галстухе лежали в тени.

Пивные бутылки, консервные банки, окурки густо засеяли сухую, выжженную землю.

— А я говорю — предательство! — горячился грузин, стуча стаканом по башмаку. — Хотя бы и бессознательно. Если немецкие эс-де голосовали за кредиты, это значит, что нам сейчас нечего рассчитывать там на вмешательство рабочих масс.

— Настроение с того времени изменилось, — робко возражал прапорщик, — два года войны.

— Говорим о Циммервальдовской конференции, — пояснил Гога.

— О какой? — не понял Андрей.

— Погоди, узнаешь. Товарищи, это — новый парень, сочувствующий. Андрей Замковой.

— Грозненского Замкового сын? — спросил один из слушателей.

Пять месяцев назад тот же вопрос задал дядя Гоги в Батуме. Тогда он вызвал смутную гордость. Сейчас было стыдно.

— Ничего, товарищ, не важно, — ободрил его тучный грузин. — Выпьем. Не смущайся.

Андрей из благодарности выпил стакан водки. И сейчас же закружилась голова, и все кругом стало хорошо, привычно, свободно.

Само собой вышло, что Андрей, грузин и прапорщик-доброволец составили отдельную группку у столика в виноградной аллее. Студенты неодобрительно поглядывали на них, вполголоса продолжая спорить.

— Теперь хорошую водку трудно достать. Надо пользоваться, — угощал грузин. — А эти недотепы из пальца революцию высосать собираются.

На минуту Андрею показалось, что он делает совсем не то, для чего пришел. Толстый грузин, разя спиртной горечью, что-то нашептал ему о девочках рядом в публичном доме. Андрей отстранился и подозвал Гогу. Но Гога, вероятно, не слышал или не хотел подойти.

— Пойдем, пойдем, дорогой. Я тебя научу.

Андрей никогда не мог вспомнить дальнейшего. Он проснулся в душной маленькой комнате. Рядом, на несвежей простыне, храпела потная жаркая красная женщина. От растрепавшихся нечистых волос пахло салом и приторным вежеталем.

Андрей отряхнул ее жирную, точно бескостную, руку со своего бедра и почти задохнулся от внезапного ощущения страшной, невозвратимой утраты. Что-то, к чему он готовил себя в последние годы, пришло, совершилось и оказалось не радостным и нужным, но случайным, стыдным, отвратительным.

Он стал одеваться.

«Нет, какой негодяй, — сжимал он руки, выходя через четверть часа из публичного дома. — Знал, ведь, заранее знал, что так будет. Наверняка знал, хотел этого. Не отговоришься пьянкой. Сегодня-то трезвый был? Да и вчера, — для чего взял с собой презервативы? Теперь все пропало. Теперь как с Гогой о Марксе говорить? Революцию нельзя делать грязными руками. А я в первый же день опоганился».

Утро охватило его свежестью и деловой суетой. Торговцы с зеленью спешили на базар. Дворники поливали улицу. Солнце разузорило тротураы сквозь листву. Шумели река, дальний трамвай, мальчуганы, играющие в орлянку. Андрей невольно свернул в сад.

Вчерашние студенты удили рыбу, брызгались босыми ногами, играли в рюхи. Гога дружелюбно и просто, как будто ничего не случилось, подошел к нему.

— Куда ты вчера пропал? Напоил тебя Ваню? Он всегда новичков подпаивает. Недалекий парень, но работать умеет.

Андрей неудержимо, мучительно краснел. Но ощущение утраты неприметно исчезло, и вместо него появилось чувство спокойствия и уверенности; теперь он по-настоящему взрослый, как отец; ничего особенного не случилось. Он уже сердился на свое смущение и, чтобы переломить его, вдруг выпалил:

— Я вчера у девочек был.

Гога удивленно и серьезно посмотрел на него.

— Зачем же об этом рассказывать?

Андрей надвинул фуражку на глаза.

— Хорошего мало, — не смягчался Гога.

— Я—в первый раз,—шепнул Андрей и повернулся было уходить. Гога взял его под руку.

— Ты выбрал самый скверный способ... Впрочем, разве мы выбираем! Так оно и бывает, само собой. В том-то вся гнусность! Теперь, Андро, сумей об этом забыть. Учить тебя не приходится: сам понимаешь, в современном нашем обществе парню твоего возраста жениться нельзя. Не забывай только одного, брат: если не сможешь обойтись, удержаться, старайся, чтобы женщины не стали главным. Не поступайся для них ничем... пока не выберешь жены.

— Я никогда больше...

— Брось об этом. У многих так было. Завтра я еду. Вот список книг и кое-какие указания. Книжки будешь получать у брата. Только не подведи его.

Весь год Андрей изучал книги, оставленные Гогой.

Анастасия Исааковна с сомнением качала головой, видя под подушкой сына Плеханова, Ленина и мелко исписанные листы подпольных брошюр. Тоскливо грелась у печи, поджидая сына за полночь. Ночью всматривалась в дорогое, близкое и такое далекое лицо. Вымалывала у кого-то счастливой судьбы для сына, точно провидя его грядущие взлеты и срывы.

Мечта об Андрее Болконском не осуществилась. Андрей Замковой ни в чем не был похож на ее любимого героя. Но он был сын; Анастасия Исааковна приготовилась прощать и постаралась не заметить даже раврата, которому внезапно он отдался.

Андрей дал себе слово никогда больше не бывать в публичном доме и через месяц отправился снова. Потом осмелел, поддавался заигрываниям нестарой вдовы, жившей в соседней квартире, начал посещать варьетэ и шантаны и, казалось, перестал отличаться от сверстников-юношей из состоятельных семей.

Сергей Никодимович, читая письмо жены, ухмылялся и потирал руки.

«Ну, гора с плеч. Развратничает—это не бог весть что. Замковые все куралесили. Зато стал, наконец, мужчиной».

И начал высылать сыну больше карманных денег.

Весной Андрей сдал выпускные репетиции, получив вместо золотой медали серебряную, простился с матерью и, не заезжая к отцу, уехал в Петроград готовиться к конкурсу в Горный институт. Сергей Никодимович желал, чтобы сын его был инженером, и Андрей временно подчинился.

Отрочество было отжито. Открыло дорогу юности. Но след от него остался. И мстил всегда, всю жизнь.

IV. «1926»

Доклад Андрея затянулся. Отвечая на записки, прислушиваясь к спонентам, комкая свое заключительное слово, он волновался и все время думал о письме.

Когда его утром вызвали к телефону, и квартирная хозяйка сказала, что письмо спешное, он не догадался попросить ее взглянуть на штемпель. Потом не было времени позвонить. Как всегда, день разменялся на мелочи: в одиннадцать Андрей поехал в издательство, четыре часа просидел над отзывами и не успел сделать половины намеченного; обедал в столовой на Невском, невкусно и торопливо, чтобы не опоздать на конференцию работников печати.

Быйдя из редакции, он собирался уже ехать домой, но вспомнил, что сегодня партийный день, и отправился на кустовое собрание.

Андрей думал, что письмо от матери, и это было неприятно: прошло больше месяца, а он не только не исполнил просьбы Анастасии Исааковны, но даже не ответил ей. Главное же, он знал, что никогда не выполнит поручения, и не решался написать отказ.

В сущности, мать имела бесспорное право на пенсию: после разрыва с Сергеем Никодимовичем, она пятнадцать лет служила учительницей. Кроме того, у нее была справка о двенадцатилетней преподавательской работе в школе благотворительного общества, где она была попечительницей. Андрей знал, что пенсия ей необходима, и всетаки не мог заставить себя обратиться к ее старому знакомому.

Этот знакомый, когда-то бывавший в кружке Замковой, теперь занимал в Ленинграде один из самых ответственных постов. Недавно Андрею пришлось побывать у него по редакционному делу. Прощаясь, он назвал свою фамилию.

— А, Замковой! то-то я смотрю: что-то знакомое... Ну, как?

Андрей знал, что человек за столом одним своим словом может устроить переход его на любимую работу, сократить целый год стажировки, ненужных и хлопотливых дел, обязательных формальностей. Он поддался соблазну и начал было говорить. Но человек за столом посмотрел явно недовольно, и Андрей спохватился и поднялся уходить.

— Да... да... если у вас, товарищ, действительно есть необходимые данные... вы имеете право... конечно, добивайтесь... в крайнем случае... ну, пока всего.

Ответственный работник не сказал ничего неприятного и, пожимая ему руку, вскользь пригласил его заходить.

Ю Андрей чувствовал себя так, словно его при чужих заставили раздеться. Такое чувство у него бывало всегда, когда он встречался с партийцами, знавшими его родителей.

Хуже всего, что Андрей не мог даже сердиться на ответственного работника. То, что он знал про Андрея, вряд ли могло внушать доверие: избалованный мальчик, проказливый и капризный, которого он видел на вечерах Анастасии Исааковны, теперь оказывался членом партии, да еще просился на работу, требовавшую особого такта и опыта.

Впрочем, и сама Анастасия Исааковна могла в нем вызвать только неприятные воспоминания.

В 1905 году он был в числе пострадавших, а мать Андрея продолжала благополучно жить в особняке мужа.

Когда-то Семен сказал Андрею: «И сам ты, и книги твои—барские». Для Анастасии Исааковны революция 1905 года была барская.

А Октябрь для самого Андрея? да разве поверит кто-либо, кроме двух-трех самых близких друзей, что вся партизанщина, левозеровская работа была для Андрея чем-либо большим, чем романтическая забава барчонка, искавшего острых переживаний?

В 1917 году старик-нотариус, узнав, что Андрей изучает Маркса, не удивился.

— Марксизм, прошу вас, преползшая штука. Многие величайшие государственные умы считаются с этой теорией. В Германии, прошу вас, ее развили, освободили от крайностей. Вы, Сергей Никодимович, не беспокойтесь. Теперь молодому человеку необходимо быть в курсе. Все дело, прошу вас, только в выводах. Петр Бернгардович например, тоже марксист, но чрезвычайно умерен.

Если бы он знал, что вежливо слушавший его молодой человек в безукоризненном костюме и с аккуратнейшим пробором перед февральской революцией разбрасывал анархистские прокламации на заводе и только месяц назад изо всех сил свистел и топтал ногами, выпроваживая профессора Струве из аудитории!

Отец Николай тоже считал, что вступление Андрея в партию эсеров совершенно естественно.

— Всякий русский человек должен быть эсером или монархистом. Кадеты, меньшевики, большевики—это все инородцы.

Андрей не спорил. Не мог же он объяснять протоиерею разницу между левыми и правыми эсерами.

Только Гога, встретившись с ним на митинге, пренебрежительно заметил:

— Видно, Маркс-то не пошел впрок! Авантюрная твоя партия.

В двадцатом году, когда Андрей был кандидатом в коммунистическую партию, они встретились снова.

— Лучше поздно, чем никогда, — сказал тогда Гога, — но мало быть в партии,—надо стать коммунистом. Боюсь, что не сумеешь себя переделать.

Тогда впервые он понял, что от прошлого нельзя избавиться.

А много раз после?

Разве не приходилось ему опускать глаза при вопросе, когда он вступил в компартию, и мысленно прочитывать во взгляде спрашивавшего: «А, двадцатник, примкнувший, дешевка».

Это было несмылаемо. Вычеркнуть это было невозможно. Надо было или мучиться всю жизнь или примириться. Примириться до сих пор не удавалось. И, выходя от ответственного работника, Андрей скрипел зубами от злости.

«Сам виноват. Сам, сам! Тысячу раз решал — не нарывайся! А тут — на тебе, размяк, вылез со своими делишками. Теперь он думает, что я карьерист. И поделом, и верно думает. Потому что не надо было болтать. Не надо, не надо!»

А мать не понимала этого и считала совершенно естественным лезть к нему со своими просьбами. Ведь она «приняла советскую власть», как приняла в 17-ом году кадетов, эсеров и в 18-ом — грузинских меньшевиков.

У нее были знакомые во всех партиях, и со спокойной уверенностью она напоминала им:

— Я всегда была общественницей.

До сих пор Анастасия Исааковна искренне обижалась невниманием какого-нибудь перегруженного партийца, забывшего ей поклониться на улице.

— Да, когда-то я была нужна. А теперь забыли.

Читая письма матери, разговаривая с ней, Андрей не мог скрыть своего равнодушия и беспричинной досады. Он не только не чувствовал себя виноватым перед матерью, но, наоборот, не мог ей простить разлуки с отцом. Не раз упрекал себя в эгоизме. Старался быть нежным и раздражался по самому ничтожному поводу.

— Неужели же во мне нет сыновнего инстинкта?—удивлялся он и, наконец, решил, что это—органический недостаток, какое-то уродство.

Последний откровенный разговор с нею был в 17-ом году, когда Андрей приехал на Закавказскую конференцию эсеров.

Анастасия Исааковна жила тогда с братом-юристом, пожилым холостяком. Андрей обратил внимание на горничную дяди, молодую польку, в кружевном переднике и наколке, и вдруг вспомнил, что дядя всегда выбирал хорошеньких девушек, хорошо одевал их и платил им большое жалование.

Однажды ночью в комнате прислуги произошла встреча, исключавшая всякие сомнения в положении племянника и намерениях дяди.

Дядя осыпал девушку ругательствами. Андрей, сбросив одеяло, вскочил и бешеным отцовским голосом заорал:

— Перестань сию минуту! Деньги платишь, так думаешь, что купил ее? Уходи вон!

Дядя уволил прислугу и вскоре отомстил Андрею. Заметив близость племянника с новой прислугой Мариной, он за обедом объявил Анастасии Исааковне:

— Просто беда. Придется рассчитать Марину.

— А в чем дело?

— Представь себе, у нее люэс.

— Фи, гадость,—скривилась Анастасия Исааковна,—сегодня же откажу ей от места.

Андрей не доел своего супа и побежал к врачу. Врач обещал выяснить, болен ли он, через месяц. Андрей уговорил Марину сделать исследование.

— Счастлив ваш бог, молодой человек,—объявил врач, прочитав результаты анализа крови.—Ложная тревога.

Андрей заявил дяде:—Марина совершенно здорова, я был с нею у врача. Ты оболгал ее, как подлец.

— Что ты говоришь, Андрей!

— Погоди, мать. Он ревновал и хотел меня наказать. Только средство выбрал гнусное. Подлое средство.

Андрей рассказал ей о встрече в комнате Марины.

— Дрянь ты!—кричал он дяде,—чтобы ноги твоей у нас не было!

— Андрей, ты не имеешь права, этой мой брат. Он у меня в доме.

— Ах, так? У тебя! Значит мне здесь не место.

Андрей перебрался в гостиницу.

Мать пришла его уговаривать вернуться.

— Нет, не могу,—горячился Андрей.—Или он или я.

— Ты? А что ты для меня сделал? Оставил одну. Разве я на тебя могу надеяться? Ты — Замковой, ты в отца. Ты не...

Она хотела сказать «не Андрей Болконский» и запнулась.

... — Не еврей?—перебил Андрей.—Да, я знаю, ты хотела бы, чтобы я был евреем... Не еврей, не казак, а так, чорт знает что! Волodyкa был настоящий, а я...

Вдруг голос его сорвался, и он укрыв лицо рукой. Совсем тихо, хрипло, как бы издали донеслись слова:

— Вот, говорят, что от смешанных браков — лучшие дети. Не знаю, во мне это не вышло, не срослось...

Мать не совсем поняла его, да и не старалась понять.

Впервые сын раскрылся перед нею подлинным, на мгновение обнажилась его истинная сущность. Она не успела ее рассмотреть, но почувствовала, что Андрей несчастен.

Полчаса, которые Анастасия Исааковна просидела с сыном, глядя встрепанную и влажную голову, лежавшую у нее на коленях, запомнились единственным свидетельством материнской любви.

Потом Андрей причесался перед зеркалом, оправил галстук и поцеловал у матери руку... Анастасия Исааковна спросила, не нужно ли ему каких-нибудь вещей из дома. Андрей сказал, что обойдется, и извинился: ему надо было куда-то спешить. Анастасия Исааковна ушла.

Разговор не возобновлялся, и след от него как-будто сгладился множеством мелочей, дразг, дел, повседневных отношений. Но Андрей знал, что «две половинки в нем не срастаются» и не мог этому помочь. В самые последние годы «отцовская половинка» как-будто перевешивала.

И потому Андрей, возвращаясь с последним трамваем к себе на Петроградскую сторону, волновался:

«От кого письмо? Хорошо, если не из Тифлиса».

* * *

На столе, наполовину прикрывая стопку листов рукописи, лежал большой плотный конверт, надписанный неровными старческими, но все еще размашистыми, с резким нажимом, буквами. Почерк отца.

«Дорогой Андрейка!—прочел Андрей и радостно улыбнулся: старик давно уже не начинал писем таким обращением.—Дела, как всегда, — ни шатко, ни валко».

Андрей пропустил несколько строк.

«... Максимка, слава богу, здоров. Все спрашивает, когда ты вернешься. Я взял его опять к себе. Твоя жена за ним совсем не смотрела. Да что с нее спрашивать: ежели бы мать жива была, тогда дело другое. А так—шатается мальчонка один, без присмотра».

Андрей поиграл скулами и дальше не читал, а торопливо пробежал глазами, не вдумываясь в смысл.

«... Очень долго ты что-то сидишь в Ленинграде. Надеюсь, работаешь и справишься с дипломной работой. Не задерживайся, Андрейка, приезжай. Негоже оставлять жену с приятелем. Всегда говорил тебе: будь осторожней в знакомствах... Приезжай! Не прощу, ежели имя наше станут трепать на подолах.

Твой любящий отец Сергей Замковой».

И приписка:

«Еще кланяется Прасковья. Припасла для тебя орехового варенья: мне—и то скупится, все тебя ждет. Привез бы ей платок или другого чего из одежды. Конечно, ежели будут деньги. Приезжай».

Жалость сменила досаду, растворила ее в теплой родной волне, как встарь, наполнившей грудь.

Отец!—весь он в этой приписочке за строгим наставлением. И почерк иной: быстренький, смущенный, укрывающийся. Видно, написал не обдумав, как пришло в голову, и поскорее запечатал, чтобы не стало совестно своей нежности. Ведь строгость нужна, — сыну пишет.

Да и кому же еще писать... Скучно, поди, старику. Не с кем перекинуться, не с Прасковьей же.

Прасковья до сих пор жила с Замковым. Андрей давно привык смотреть на нее, как на члена семьи. Прасковья стала своим, доверенным человеком отца и пережила с ним все испытания. Андрей несколько раз заговаривал об их отношениях, но Сергей Никодимович сердился:

— Глупости...—обрывал он сына.—Сплетни, пакость одна. Прасковья—прислуга. Заруби себе на носу—при-слу-га. За Максимкой ходить кому-нибудь надо. Не мне же. А лучше няньки и не найти.

Не понять было, любила ли Прасковья Сергея Никодимовича или просто привыкла к нему, и менять жизнь было страшно: «Неизвестно еще, как обернется. Сергей Никодимович все говорит: подождите месяц—другой, никакой советской власти не будет».

Верностью своей «барскому дому» она очень гордилась и любила прихвастнуть ею «перед теперешней дрянью», рассказывая про злоключения, принесенные барину революцией.

18-й год не особенно тяжело отразился на делах Замкового. На промыслах сожгли около 200 тысяч пудов нефтепродуктов, разрушили дом управляющего, угнали в аулы лошадей. Но все было застраховано, и Сергей Никодимович незыблемо верил, что «стребует все до копейки, с кого причитается».

Когда белые вступили в город, Сергей Никодимович облекся в новый сюртук, взял извозчика (рысак был давно отобран) и поехал в военный собор к молебну. Вернулся обескураженный.

— Чорт их знает, в церкви с нагайками. Дикари какие-то. И названия разбойничьи: «Волчи сотни», «Шкура»... Положим, передовые отряды,—подбадривал он себя,—погодить нужно. Придет настоящая власть. Поглядим.

«Власть», действительно, пришла. И в первый же день поставила на городской площади виселицы. Сергей Никодимович вознегодовал.

— Сволочи!—орал у себя в кабинете,—остолопы! На свою голову гадят. Да ведь им после этого тысячный гарнизон здесь держать придется. Ой, про... дят они дело.

Однако «добровольное пожертвование», около десяти тысяч золотом, внес своевременно и без особого неудовольствия.

Градоначальник прислал к нему на постой штабного — полковника князя Белицина.

В первое утро Прасковья пришла к Сергею Никодимовичу с жалобой.

— Просто даже удивительно, — говорила она, — как же, князь, благородный. Нет, уж, видно, перевелись благородные, вышли все.

— Ну? Не нюнь! Говори толком, что он такое натворил.

— Да как же: пришли не в своем виде, Танюша открывала им... прибегла девка, плачет,—с'охальничать хотели. Еле вырвалась. Опосля того в ванной,—сказать срамно,—весь пол изbleвали.

Сергей Никодимович решительно поднялся и пошел на половину постояльца.

— Доброго здоровья. У меня разговор с вами. Верно догадываетесь?

— Не представляю себе,—процедил князь,—какие у нас могут быть разговоры.—Сергей Никодимович дернул плечом и заорал:

— Вы в конюшне жить привыкли? Так, пожалуйста, могу предоставить.

— Что? Мне—нотацию?! Да знаешь ли ты, мне стоит слово сказать...

Договорить он не успел.

Прасковья со вкусом рассказывала, как из двери вылетел полковник без шапки и распоясанный, как продребезжала по лестнице пущенная вслед ему бутылка, как Сергей Никодимович в два прыжка очутился у под'езда, как за постояльцем хлопнула выходная дверь.

— Аж стена задрожала!—хихикала Прасковья.—Так и думала, что стекла посыпятся. Да куда им против моего,—самодовольно заканчивала она,—крепкий барин, тароватый.

К Сергею Никодимовичу явился посыльный с приказом немедленно прибыть к градоначальнику. Замковой не поехал; вместо этого отправил в Новочеркасск срочную телеграмму и с кем-то долго говорил по телефону. В сумерки Прасковья спускалась в погреб и едва вылезла под тяжестью корзины, переполненной бутылками с заграничными ярылками. Вечером пришли какие-то оборвыши с ярко начищенными медными трубами и запиской «от его превосходительства». Едва разместили их на забытых, заваленных всяческим хламом, хорах.

Ночью ревел военный оркестр, люстра горела во все девяносто ламп, мундиры и френчи топотали по навощенному паркету. В кабинете за карточным столом генерал давал Замковому «б-благородное слово» завтра же наказать офицера, не уважившего святости очага. Полковник, князь Белицин, был забыт.

* * *

Все эти годы, до 24-го, Андрей почти не виделся и не переписывался с отцом. Разрыв наметился еще в 16-ом, когда Андрей, выдержав конкурс в Горный институт, неожиданно поступил в Психо-Неврологический и одним ударом разрушил планы отца видеть сына инженерном-нефтяником. Потом Сергей Никодимович готов был кое-как примириться с тем, что сын его эсер; но словечко «левый» оказалось совсем не таким безобидным, как он думал вначале. Во время августовского восстания в 18-м году в родном городке «просто эсеры» расстреливали большевиков, а «левые эсеры», в их числе Андрей, были знодно с большевиками.

Одно время даже главой местной «разбойничьей власти» был левый эсер, и Андрейка служил его секретарем. Потом ушел с большевиками в Тифлис. А в середине 19-го Сергей Никодимович вдруг узнал, что сын выслан из Грузии и, арестованный, находится здесь же, в городе.

Он поехал к Андрею. Встреча была смущенной и неловкой:

— Не понимаю,—ворчал Сергей Никодимович,—что они делают. Что делают, сукины дети! Жулики, проходимцы!

Он наскоро рассказал Андрею, как устроить побег, умолчав о данной им взятке. Потом наступило молчание. Говорить было не о чем.

— Что нового?—спросил Андрей вяло, больше из вежливости,—как дела твои?

— Чорт их знает, — заволновался Сергей Никодимович, — разве можно теперь что-нибудь знать! Разве это коммерческое дело! Да я в жизни столько не получал. Право слово: во время войны таких прибылей не было.

Но в голосе его не слышалось довольства. Глаза сошлись у переносицы, плечи беспокойно двигались под сюртуком.

— Не верю я! Не верю, чтобы это долго протянулось. Не солидно у них все, не крепко.

— Погоди, у нас будет покрепче, — сам не зная для чего, с'язвил Андрей. — Смотри, Ростов взят, говорят. Придется тебе уезжать. Впрочем, наверное заблаговременно приготовился?

— Олух! — вспыхнул Сергей Никодимович, — будь я проклят, если хоть копейку перешлю за границу! Будь я трижды проклят!! Здесь родился — здесь и сдохну.

Он предложил сыну денег. Андрей подумал и взял. Поцеловались.

Побег удался, Андрей пробрался в Чечню, в повстанческие войска красного атамана Рыкало.

Сергей Никодимович сдержал слово. Никуда не выехал и, когда повстанцы заняли город, затворился в своем особняке—стал выжидать.

На этот раз ожидание длилось недолго. Особняк был взят под деткоммуну, другие дома — муниципализированы. Сергей Никодимович внешне спокойно присутствовал при передаче промыслов и расписывался в документах. Он поселился на слободке в домике бывшего своего дворника. Нигде не показывался, ни разу не обратился к сыну с просьбой помочь ему укрыть остатки богатства.

Это спокойствие казалось подозрительным. По городу ходили слухи, будто Сергею Никодимовичу удалось припрятать огромные ценности: пуды золота, десятки пудов серебра, груды драгоценных камней. Наконец, к нему пришли с обыском; ничего не нашли и арестовали Сергея Никодимовича вместе с Прасковьей. Месяц он упорно отмалчивался на допросах. У следователя не было в руках ни малейшего следа. Но однажды в камеру привели приятеля Замкового, бывшего нотариуса. У него нашли старинную золотую табакерку с эмалью времен Елисаветы Петровны. Было известно, что Замковой—любитель редкостей, и нотариусу ничего не оставалось, как признать, что он взял драгоценную вещь на хранение. После этого начались обыски у всех его друзей.

Старик сдался. По его указаниям были разысканы ценности, действительно, на очень значительную сумму.

— Знаете ли вы, что вас ожидает за нарушение декрета о сдаче драгоценных вещей? — спросил его следователь.

— Не знаю и знать не желаю, не читал ваших декретов.

— Вы совершили тяжелое преступление.

— А что же, по-вашему, так к вам притти да выложить? Пятьдесят лет работал, всю жизнь, — заволновался старик.

— Не успели вывезти? Как же вы это так? — следователь был раздосадован долгими поисками и дерзким тоном Сергея Никодимовича и уколол его:

— Плохой вы делец.

— Об-болтус! — не выдержал старик.— За границу? Англичанам отдать? Изменником стать? Это у вас нет родины: пролетарии всех стран. Чтобы я, Замковой, продаваться!!!

Старик рассвирепел. Не помня себя, стучал по столу кулаками, бил в грудь, несвязно выкрикивал бранные слова. Когда его увели в камеру, он затих и стал ожидать решения своей участи.

Прасковья давно была на свободе. Она «выдержала, не сошла со своей точки, не выдала барского добра». Теперь дважды в день носила Сергею Никодимовичу передачу, ссорясь со стражей из-за каждой папиросы, которую, казалось ей, должны были непременно украсть. Тайком ходила к Андрею и не застала его: он был в отъезде.

В ЧК долго не знали, что делать с Сергеем Никодимовичем. Самая тщательная проверка не обнаружила участия его в каких-нибудь контрреволюционных организациях. История Замкового с князем Белициным как-то стала известна председателю коллегии. Да и Андрей к этому времени выдвинулся, как хороший работник. Хотели было выслать Сергея Никодимовича на север, но оказалось, что ему больше 60 лет, и высылке он не подлежит. В конце концов его освободили.

— Я вашего сына знаю, — сказал ему на прощанье следователь, — парень дельный; даже удивительно, из такой семьи — эксплуататоров. Не по заслугам.

— Это по-вашему дельный, — пробурчал Сергей Никодимович.— Хорош, да глуп. Все мать виновата. Воспитание ее...

После перехода к новой экономической политике некоторые из сподвижников Замкового, нефтепромышленников, как-то вдруг оказались на ответственных, превосходно оплачиваемых постах специалистов. Вспомнили и про Сергея Никодимовича. Предложили ему работу, требовавшую безупречной честности и коммерческого умения.

— А надо мной десяток ревизоров поставите? И мальчишек — начальством?

— Да, уже не без этого. Руководство и контроль... Вы же сами знаете.

— Не зря бы, — не стал говорить. Сами работать не научились, а верить боитесь. Оно и понятно: что с меня возьмешь, ежели надую? Обеспечения никакого.

— Не надуете... А надуете, так посадим.

— Посадить — дело простое. Да пользы что? Делу-то польза будет от того, что посадите? Убытки возместите? — Нет. То-то и оно... Все забрали, сразу. А я, сударь мой, привык отвечать за себя не шкурой, достоянием своим. Нет уж, спасибо. Не могу, чтоб мною помыкали.

В 1923 году ему вернули один из домов — ветхое двухэтажное здание, от которого отказался комхоз. Сергей Никодимович оживился, захлопотал, произвел ремонт, нашел солидных жильцов. Дом стал приносить до полутора ста рублей в месяц. Этого было достаточно, чтобы прожить скромно, но независимо.

Сергей Никодимович похудел, поседел, но остался таким же — прямым и крепким. Ежедневно до глубокой осени купался в студеной речке, где течение было так сильно, что опрокидывало лошадей, пилил дрова, хотя в том и не было особой надобности.

Появились у него кое-какие странности: ранним утром он выстаивал полчаса на углу у своего дома, неотрывно глядел вверх и беззвучно шевелил губами: должно быть, молился. В церковь же попрежнему не ходил и с попами не знался. Впрочем, однажды зашел послушать приехавшего в городок евангелического проповедника. И целый день плевался.

— Актер какой-то... на гастролях. А туда же, о боге...

Сергей Никодимович выписывал газеты: местную «Правду» и московские «Известия» и ежевечерне, оседлав нос золотыми, с чистенько протертыми стеклышками очками, аккуратно прочитывал все до последнего объявления. Прасковья, уложив Максима, боролась с дремотой, слушая комментарии его к резолюциям партс'езда и прениям на конгрессе Коминтерна.

В год, когда Андрей был назначен в родной городок преподавателем исторического материализма в только что открытом педагогическом институте, между ним и Сергеем Никодимовичем установилось подобие дружбы. Замковой старший ругал большевиков за то, что они «не умеют наладить собственные дела», издевался над Андреем и в то же время бережно хранил статьи сына, хвастал его успехами и с гордостью показывал его книжку военкому, занимавшему две комнаты флигеля по 10% коммунхозской норме.

— Замковых головы нигде не пропадут. Замковые в огне не сгорят, в воде не потонут. Коли бы все у вас такие были, пожалуй, Ленин и добился бы своего...

Андрей, вначале пытавшийся переубедить отца, под конец привык пропускать его воркотню мимо ушей. Он поселился на отдельной квартире. Старик любил захаживать к нему перед сном. Он молча усаживался в кресло, прислушиваясь к спорам молодежи, искоса, не совсем доброжелательно поглядывая на приятелей сына, давал советы шахматисту, попавшему в трудное положение. Андрей приходил к отцу, главным образом, за тем, чтобы послушать о первых годах его предпринимательской деятельности. В рассказах отца чувствовалась, несмотря на явное хищничество, какая-то удаля, что-то здоровое, креп-

кое, цельное, похожее на северные рассказы Джека Лондона, такое, чего не хватало Андрею, какая-то черточка отцовского характера, за-терянная сыном. Быть может, именно та, без которой так трудно становилось жить.

Дружба Сергея Никодимовича и Андрея едва не прервалась из-за сына Андрея, Максима.

* * *

Максиму шел седьмой год. Он уже научился читать, разбирая вывески знакомых магазинов, и целые дни проводил над сказками, которые покупал для него дед.

Макс был буянном, гораздо более шумливым, чем когда-то Андрей. Но шалил он в одиночку, со взрослыми или с детьми моложе себя, и в играх всегда командовал.

Как будто ранняя нездоровая страсть таилась в его внезапной ревности, щипках, валяньи по полу.

Он вступал в тот возраст, когда мальчики засыпают окружающих вопросами, допытываясь об устройстве мирка, в котором живут.

Но вопросы Максима были не совсем обычны.

— Что было раньше?—приставал он к деду,—ну, совсем раньше? Знаешь, когда меня не было, и папы Андрюши, и тебя, и твоего дедушки? Понимаешь, когда никого не было?

Сергей Никодимович пытался рассказать ему о развитии жизни на земле и о происхождении человека.

— А ты откуда знаешь?—недоверчиво поглядывал на него мальчик.—Ты читал? Да? В книжках?

— Ну, конечно,—соглашался Сергей Никодимович.

— Значит, это правда, что в книжках пишут?

— В научных книжках—правда.

— А почему они знают? Ведь их тогда не было? Значит, догадались? Выдумали? Да? Так вот, как про красную шапочку? Да?—что она с волком разговаривает?

— Нет, не так. Они много учились и узнали.

— Почему я не могу выдумать того, чего не было?

— Ты маленький.

— Нет, я уже понимаю,—упрямо качал головой Максим,—я тоже выдумываю. Вечером, когда в постели... Только я то, что было, всамделишное. Наверное, и Красная Шапочка была, и разговаривать могла со зверями. Раньше могли, теперь нет. Ты не хочешь сказать.

— А почему у меня вторая мама?—спрашивал он в другой раз. У других мальчиков одна мама, а у меня две?

— Отец твой женился во второй раз.

— А что такое женился?

— Взял вторую жену, стали вместе жить.

— Как это взял? Разве она вещь? Папе Андрюше было скучно, и он взял? Да?

— Ну, пусть так.

— Я знаю, дедушка. Папа Андрюша хотел играть, а мама умерла. Теперь он играет со второй женой. Это и есть взял? А если бы мама не умерла, я бы не позволил папе Андрюше с ней играть.

— Почему же? — не выдерживал Сергей Никодимович.

— Я... я сам бы игрался. Моя мама,—я бы с нею играл.

— Дурак,—прогонял его дед.—И где ты выучился этаким пако-
стям.

Максим, недоверчиво косясь на Сергея Никодимовича, уходил в свой уголок и принимался за чтение.

Последнее время упрямство его стало особенно беспокоить деда.

Однажды Максим, рассердившись на жену мануфактуриста, жившую в соседней квартире, плюнул с лестницы ей на голову. Сергей Никодимович сделал ему строгое внушение.

Не прошло и часа, как Максим повторил свой проступок.

— Послушай-ка, Максим,—взял его за ухо дед,—ежели ты сотворишь это еще раз, я тебя бить буду. Понял?

— Ладно, — кивнул Максим.

Перед вечером на лестнице снова послышались крики:

— Тебя научили!—надсаживалась женщина,—я буду жаловаться в милицию! Негодный мальчишка!

Сергей Никодимович больно отшлепал Максима.

Но мальчик непосредственно после наказания отправился на лестницу и, выждав, пока не показалась соседка, снова плюнул в четвертый раз за этот день.

Сергей Никодимович растерялся.

— Ведь ты же знал, что тебе достанется?

— Знал. Наверное — ремнем... — Максим принялся скидывать штанишки.

— Для чего же ты это делаешь?

— Мне нравится.

— Мало что нравится. Ведь потом будет больно.

— Ничего. Я мальчик, вытерплю: не девчонка. Это всегда так. Раз не позволяют, — значит приятно. А потом за это наказывают. Что я, не знаю?!

Сергей Никодимович, скрепя сердце, решил посоветоваться с сыном и рассказал Андрею этот случай. Андрей помолчал и затеребил свой ремень. Поднял глаза на отца и раздумчиво выговорил:

— Третье поколение. Оно будет решать окончательно... Все!..

Он стал ходить по галлерее. Сергей Никодимович следил за ним настороженно и тревожно, словно вз'ерошившись.

— Надо его переделать,—повернулся, наконец, Андрей,—я беру Макса к себе. Вы его разбаловали: перекармливаете, держите дома...

— Ты? Переделывать? Да ты раньше себя переделай!

— Я решил, папа, — просто ответил Андрей.

— Это мы еще увидим, кто решит. Мне наплевать, что ты решил. Тоже, отец. А где ты раньше был? Или эта, жена твоя? Воспитание ее! Думаешь, я не вижу? Ей мальчика доверить! Где раньше был, Андрейка? Как щенка его бросил! — «Решил»...

Сергей Никодимович отлично понял замечание Андрея о третьем поколении. Он сам думал так же: «они будут решать окончательно». И потому всеми силами противился желанию сына.

Андрей был украден у него сперва Анастасией Исааковной, потом революцией. Андрей занимался пустяками: окончил музыкальное училище и не стал пианистом. Вместо Горного института прошел два курса Психо-Неврологического и не стал продолжать.

Потом поступил на экономический, окончил, шел на профессора, а вот опять как-будто срывает. Виноваты были мать и революция.

Андрей был отрезанным ломтем. Все помыслы Сергея Никодимовича сосредоточились на единственном внуке, единственном Замковом, Максиме.

Ему положил он про себя передать дом. Его надеялся воспитать так, чтобы никакая революция не сломала. А что с ним сделает Андрей?

Сверстники Максима расхаживали в пионерских галстуках, с барабанами маршировали по улицам, распевали свои детские революционные песни, шумели на своих пионерских собраниях, летом уходили в свой лагерь.

«Уж что—что, а большевики знали дело. Недаром столько разговоров о «смене», столько денег на комсомол. Машина была налажена и ловко обрабатывала большевистских преемников».

Сергей Никодимович готовил смену себе. Себе, а не Андрею. До сих пор ему удавалось уберечь Максима от проклятой большевистской машины. А теперь Андрейка собирается бросить внука прямо на ее жернова.

— Не отдам,—кричал он сыну.—Что хочешь делай,—не дам.

— Возьму,—решительно отвечал Андрей.

Старик уступил.

Теперь эта трудная победа была разрушена: Максим снова жил у Сергея Никодимовича.

Андрей закурил, резким швырком отбросил письмо отца и разложил рукопись.

— Ничего, пробью себе дорогу, научусь настоящему делу, тогда будет и семья, будет и Максим.

Перо торопливо, жадно покрывало бумагу небрежной вязью строчек. Отцовский портрет на столе глядел на Андрея сердито и недоверчиво, а со стены брови Лассалья насупились черной литографской краской, и глаза испытующе следили, проверяя жизнь и работу семьи Замковых.

За живой и мертвой водой

Воспоминания

А. ВОРОНСКИЙ

«Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости, и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно-ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг делается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания».

Л. Н. Толстой.

Но маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

М. Ю. Лермонтов.

Камера одиночного заключения

Я был арестован вторично весной агентами охранного отделения в глухое, в зловещее и подлое время.

Одинокaя камера, куда меня поместили, находилась на четвертом этаже. Она показалась мне даже приветливой. Асфальтовый зернистый пол тепло блестел черным глянцем, от стен пахло свежей известью и мелом, но я уже не испытывал любопытства, какое бывает при первом заключении. В тюрьме самое неприятное — дверь. Естественную привычку свободно входить и выходить нужно постоянно ограничивать особым усилием. И тогда становится досадно, тоскливо и/скупно. К тому же я был свободен всего лишь три месяца...

А по утрам солнце горячо, молодо и щедро сплошной золотой россыпью прорывалось ко мне сквозь двойные решетки. И от него, и от счастливо воркующих на подоконнике голубей, и от майской неомраченной небесной сини хотелось жмуриться, потягиваться, улыбаться. Я тихо на-

свистывал, говорил сам с собой. Это было глупо. Я косился на дверь, опасаясь, как бы меня не увидел и не подслушал дежурный надзиратель.

Я решил заниматься гимнастикой, принимать солнечные ванны, снимал рубашку, подходил к раскрытому окну, подставлял желтым квадратам грудь, спину, плечи.—Всюду жизнь,—убеждал я себя.—И в тюрьме можно загореть и поздороветь, старина. Будь настойчив. — И я был настойчив.

От «ванн» пришлось отказаться. Постояв как-то ранним утром около часа у окна, я приступил к обычным упражнениям. На очереди был прием, который костлявый штабс-капитан, обучавший нас в семинарии гимнастике, называл «выпадом левой ноги с выбрасыванием соответствующей руки». Я делал «выпады» прилежно и сосредоточенно. Выражение моего лица было мужественно и непоколебимо. Твердо и сурово я тарацил глаза на стенку, выбрасывал руку вперед, будто пронзал смертельного своего врага, воинственно откидывал ноги, сопел, шипя командовал собой: раз-два, раз-два, и так увлекся, что не заметил, как около камеры внезапно звякнули ключи, открылась дверь, ко мне вошел начальник тюрьмы, его помощник, старший надзиратель. Я поспешил прекратить занятия. Начальник строго и тупо спросил:

— Это что такое?

Я с готовностью раз'яснил ему, что «это» называется выпадами. Мое объяснение начальнику почему-то не понравилось. Он грубо прервал меня. — Говорят, что вы постоянно смотрите в окно. За это у нас сажают в карцер.

— В окно я не смотрю, — миролюбиво возразил я ему, — но по утрам я принимаю солнечные ванны. Я — болен. Солнце мне очень полезно, в карцер же я садиться не расположен.

— У начальника пучился живот, дряблое бабье лицо его расплывалось мясистыми, багровыми, угрюмыми складками. От него пахло табаком и прокисшим потом. Словом, в нем я не нашел ничего приятного для себя. Очевидно, ему показалось, что я издеваюсь над ним.

— У нас здесь не курорт, а тюрьма, и вы не больной, а арестант. Сивачев, переведите его вниз, пусть там... полечится.

Он тяжело и неуклюже повернулся, показал мне гигантский и непристойный зад.

— Несомненная гадина, — сказал я вслух, оставшись один. — Мне остается ответить лишь холодным презрением. — Презрение, однако, не принесло мне отрады.

Меня перевели в полуподвальную камеру. О солнечных ваннах помышлять больше не приходилось. Жидкий и больной луч изредка жалко ложился на серый грязный косяк окна, через несколько минут он таял. По сырым углам ползали мокрицы. В ненастные дни я с трудом мог читать и писать. Посреди пола зияла огромная выбоина, словно от снаряда. Мне показалось, что в прежней камере я жил жизнью богов. О, гнусная человеческая приспособляемость!

Я составил себе расписание, как проводить время. Вечером и утром — гимнастика, обтирание, три часа — на немецкий язык; остальные часы я от-

давал Гомеру, Диккенсу, Ибсену, Толстому, Лескову, ленивым и вялым мечтаниям, неторопливым размышлениям и воспоминаниям. Меня лишили прогулок, на жалобы начальник не удосужился ответить. Я «гулял» по камере — пять шагов туда, пять обратно. Несносная яма путала мой шаг. От частых поворотов кружилась голова. Кровать с утра привинчивалась к стене. — Бывает хуже, — уверял я себя, в чем был, конечно, вполне прав.

Больше всего меня огорчал сосед. Стол и сиденье в камерах были сделаны из железных покрашенных в серую краску листов. Они держались на толстых болтах. Болты проходили насквозь через стену из одной камеры в другую. Заключенные, садясь на стул и облокачиваясь на стол, мало-по-малу расшатывали болты, кирпич и замазка около болтов от времени обсыпались, болты качались. Когда мой сосед или я присаживались, стул и стол заметно опускались в одной камере и поднимались в другой. Этим и воспользовался смежный заключенный. Он весил больше меня, и, когда садился, я приподнимался вверх. От скуки и безделья он начинал подпрыгивать на стуле, я тоже тряса и подпрыгивал. То же самое он делал и со столом. При этом он еще царапал не то гвоздем, не то еще чем-то по столу, и вместе со скрипом это царапанье назойливо лезло в уши. Он тряс меня и беспокоил царапаньем упорно и злостно. Я пытался переговорить с ним, но он не знал тюремной азбуки. От надзирателя я узнал, что мой сосед неграмотный, сидит за кражу со взломом. Он доводил меня до нервного расстройства, мешал читать, думать, но хуже всего было постоянное ощущение несказанной убогости и сирости его жизни. Он тупел от безделья. Скука его была угнетающе томительна и безгранична. Глядя на свои книги, на тетради и учебники, я сознавал себя счастливейшим. Подумать только, — с шести часов утра и до ночи он не знал, что делать с собой, он изнывал, раздражался и раздражал меня. Я просил надзирателя урезонить соседа, но он еще с большим упорством стал докучать мне. Он завидовал, что я могу спокойно сидеть, заниматься. Он то и дело вскакивал со стула, опять садился, принимался с ожесточением подпрыгивать.

Случилось, ночью меня разбудили нестройный шум и возня в коридоре. Справа от камеры звякали шашки, ключи, тяжело шаркали по асфальту сапогами, доносились неразборчивые, перебойные голоса. Шум приблизился. Кого-то тащили. И вдруг, покрывая все, раздалось громкое мычанье. В нем не было ничего человеческого. Мычанье перешло в крик, в надрывный и ужасный вой, в рев, в густое хрипенье. Я подбежал к двери, приложил ухо к глазку.

— Братцы, братцы же! Да как же это, братцы мои! Не могу я, ох, ой! — Дальше слова были невнятные, в них звучала звериная последняя тоска.

— Рот ему затыкайте, затыкайте рот!

— Да он кусается, ваше благородие!

— Мммыы!

— Сунь ему в рот платок!

Я ударил кулаком в дверь, схватил медную кружку, стал ею стучать, дрожа всем телом и выпучив глаза. Никто не отозвался на стук. Крики

и шум сразу оборвались. Я понял, что тащившие выволокли арестанта из коридора. Я бросился на койку, захихал жесткий угол подушки в рот. Сделалось омерзительно и страшно. Я не мог уснуть. Ночь была темна и безнадежна. На другой день сосед смиренно сидел на стуле. С тех пор он реже мучил меня. Догадка моя дня через три подтвердилась: один из дежурных «дядек» сообщил, что в ту ночь повесили уголовного. Я узнал также, что почти каждую неделю вешали политических. Я записал в дневнике с недо молвками, зашифровав некоторые места:

«...Ночью российские тюрьмы грезят страшными синими снами, ночью российские тюрьмы рожают кровавые немислимые бреды. Из потайных углов встают поруганные образы людей с выпученными, стеклянными глазами, с оттянутыми книзу фиолетовыми языками. Ночью, как у сов, становятся зрячими и острыми вурдалачьи глаза палачей. Ночью нисходит на землю ангел мести в пурпурных одеждах, с пламенным мечом и с черным огнем в очах. Бесчисленные рати — души усопшие, души удавленников — собираются вокруг него. Ангел мести выстраивает их рядами, в их руках загораются факелы. Он ведет их на восток, все дальше на восток. Вот отчего пламенеют русские зори, они напоены человеческой кровью, они цветут кровавым цветом, они зывают к мести, о мести, о мести!.. Русские зори зовут к восстаниям!..».

...Прошло месяца два со дня ареста. Однажды я был вызван в контору. В конторе сидел помощник начальника и молодая белокурая женщина. Ее лицо было задернуто темной вуалью в черных крапинках. Я с недоуменьем посмотрел на нее. Она беспомощно теребила цепочку серебряного ридикюля. Я неосмотрительно спросил дежурного:

— Вы меня вызывали?

Он с удивлением ответил:

— Вам разрешили свидание с вашей гражданской женой.

— Вот как,— пробормотал я смущенно. Вид у меня был совершенно дурацкий. Белокурая женщина поднялась, открыла вуаль.

— Здравствуй! Как ты изменился! Ты очень похудел.

Голос у нее дрожал и прерывался. Мы поцеловались сомнительным поцелуем, сели на скамью. От «жены» пахло пудрой, она показалась мне краше всех женщин, каких я когда-либо видел. У ней были воздушно-вьющиеся волосы, чуть-чуть вздернутый нос и светло-синие оживленные глаза; но больше всего меня поразило слово — жена! Оно звучало и стыдно и прекрасно. Я готов был поверить тюремщику.

Я спросил «жену», как она живет. Она ответила, что Митя серьезно заболел, у него коклюш. Его пришлось отправить в деревню к родным. Митя был видный комитетчик. Я понял, что она сообщает пароль и одновременно осведомляет, что Дмитрий вынужден покинуть город и организацию. Далее она рассказала, что тетя Феня здорова, попрежнему занята своим хозяйством и что она — моя жена — часто с ней встречается. Это означало, что тов. Феня, в ведении которой находились связи с тюрьмой, и устроила настоящее свидание (молодец Феня!). Еще я узнал, что дядя Федор (техника) по своим делам уехал в Петербург, что мой двоюродный

брат Александр (пропагандист) готовится к экзаменам и боится провалиться по математике, а мой племянник Володя (о ком она говорит?) увлекся охотой, совсем отбился от рук. Она старательно перебрала нашу родню, я получил превосходные вести, но мне никак на этот раз не удалось узнать, как зовут мою жену. Мысленно я назвал ее почему-то Катей. Когда мы расстались, она сказала, что в конторе оставлена передача, на свидание же она придет недели через две. Я с большой готовностью и с трепетом поцеловал ее.

В этот день я ходил по камере, забыв об уроках и книгах. Без смысла и без числа я повторял: жена, жена, жена Катя. И опять мне было стыдно и необычайно хорошо. Жена, жена Катя! Какие родные и близкие, какие необыкновенные слова выдумывает человек! Я пел вполголоса песни. Я пел песни о розовом утре, о барбарисе, о глазах, в которых цветет вселенная, сочинял мотивы, тут же забывая их. Надзиратель напомнил мне, что петь в тюрьме «не дозволяется»: — Если все станут распевать, то, сами знаете, будет большой беспорядок, а в тюрьме беспорядка не полагается. — В тюрьме беспорядка не полагается, — весело и беспечно согласился я с ним, припоминая, что у моей... жены! — податливые губы. — Не унывай, старина: мир отлично оборудован, вот в чем дело!

Наши свидания продолжались. Я вполне убедился, что жену надо иметь каждому мужчине. В имени я ошибся: жену звали Шурой. Пусть будет Шура, — пожалуй, это лучше. В одно из свиданий я заметил у Шуры синеву под глазами, между тем, губы у нее покраснели и припухли. Возвратившись в камеру, я поспешно спрятал и заложил среди книг тургеневский «Дым»: довольно всяких любовных историй, пора взять себя в руки, чорт возьми! Где учебник по физике? Ага, теплота, абсолютный нуль температуры, вас-то мне и нужно! Что такое ревность? Пушкин заметил, что Отелло неревнив, а только доверчив... — «Налейте в небольшую открытую колбу воды и, вставив термометр, нагревайте»... — Бессмыслица... Попробуйте нагреть что-нибудь в этой тухлой и пустой дыре. Да и зачем я буду нагревать, может быть, и жить-то не стоит?.. В очередное свидание я сказал Шуре какую-то неумную колкость, она посмотрела на меня с недоумением. Я постарался заглазить свою неучтивость. Шура ходила ко мне месяца три, потом уехала в Москву...

Что такое жизнь, если бы она не дарила мимолетных, навсегда памятных встреч с девушками и женщинами? О них мечтает человек. Позже эти встречи отцветают грустью и нежностью...

Изредка меня вызывали в жандармское управление для дополнительных допросов. Управление находилось далеко от тюрьмы, верстах в трех, я всякий раз при вызове радовался тому, что можно двигаться, дышать неиспорченным воздухом, видеть людей, небо и солнце. Дело мое вел ротмистр Балабанов, полный, добродушный, вялый человек с перстнями и кольцами на толстых, коротких и холеных пальцах. Он принимал меня предупредительно, предлагал папиросу, спрашивал о здоровье. Меж нами происходил, примерно, такой разговор:

— Скажите, — говорил он, положив руки на стол, растопырив с довольным видом локти и рассматривая кольца, — скажите, неужели кроме:

саквояжа, который мы взяли у вас при аресте, и того, что в нем находилось, у вас совершенно, совершенно нет никакого имущества?

На словах «совершенно» он делал ударение, а «саквояж» произносил вкусно и сочно и почему-то с явным удовольствием. В дражном моем чемодане жандармы нашли смену белья, несколько сборников «Знания» и том Г. В. Плеханова.

Способ допроса, к которому прибегал Балабанов, я уже изучил: «сначала усыпить внимание преступника, затем застать его врасплох». Он «усыплял» меня. Я отвечал:

— Вы знаете, г. ротмистр, что иного имущества, помимо обнаруженного при обыске, у меня нет.

— В самом деле, — соглашался Балабанов. Следовало еще несколько «усыпляющих» вопросов.

— А скажите, — поднимая глаза и стараясь пристально взглянуть на меня, продолжал допрос Балабанов, — вы не были знакомы «с товарищем» Петром?

Он «заставал меня врасплох». Я знал Петра, он был арестован в Москве.

— Никакого Петра я не знаю.

— Больше вы ничего не находите нужным прибавить к показаниям?

— Больше я ничего не нахожу нужным прибавить к показаниям.

— Благодарю вас; так и запишем.

Балабанов вздыхал, брал ручку, неторопливо записывал; записав, смотрел в окно на светло-зеленый куст акации, державший в себе груды солнечной руды, и, как бы раздумывая вслух, говорил, повидимому, забыв с правилами допроса:

— В сущности, вам можно даже завидовать: *omnia mea secum porto* — все мое ношу с собою. Никаких обязательств. Одного только не понимаю — зачем вам, сыну священника, заниматься революцией?

Обходя щекотливый вопрос о революции, я соглашался с ротмистром: действительно, очень приятно жить не имея прочной оседлости; к сожалению, в моем положении есть некоторые неудобства: существуют тюрьмы, ссылки, жандармские управления. Балабанов сочувственно кивал головой.

— В самом деле, это очень неудобно, но вы сами виновны во всех этих превратностях.

Он был очень вежлив, мой холеный ротмистр: избегал называть тюрьму — тюрьмой, жандармов — жандармами. Поговорив еще о «превратностях», он спешил закончить допрос, уже нимало не пытаясь «застать преступника врасплох». Отпуская меня, Балабанов неизменно с сожалением замечал:

— Вы неисправимы. До свидания. — Мы мирно расставались.

Но иногда в комнату входил начальник управления полковник Иванов, средних лет, поджарый, стройный, со скуластым, бледным и умным лицом. Мне казалось, что для начальника жандармского управления он слишком хорошо осведомлен о наших делах. Он знал о наших спорах, разногласиях, о группировках и течениях, о съездах и конференциях, умело-

ставил вопросы, его догадки часто были верны и остроумны. Полковник Иванов утверждал, что задача жандармов состоит в том, чтобы направить русское рабочее движение по эволюционному пути; между существующими революционными партиями большевики представлялись ему наиболее опасными, но он верил, что рано или поздно революционная романтика в России будет изжита, восторжествуют трезвость и реализм. Пример Запада очень показателен.

Я боялся Иванова. В моем деле его больше всего занимал случай с письмом. Случай был загадочный. Накануне ареста я неосмотрительно написал письмо заграничным товарищам. В нем, хотя и иносказательно, но все же довольно прозрачно сообщалось о состоянии организации, о моей в ней работе. За мной следили; я поручил опустить в почтовый ящик письмо своему родственнику, реалисту Николаю, Николай бросил письмо, как я ему посоветовал, на окраине, но его выследили, ночью обыскали и арестовали, на допросе допытывались, куда, кому и от кого было письмо. Николай заявил, что писал письмо он своему школьному товарищу, фамилию назвать отказался. Николая продержали под арестом несколько дней, освободили, но уволили из училища. Допрашивая меня, полковник Иванов уверенно утверждал, что письмо, опущенное Николаем в ящик, написано мной и что оно уличает меня документально. Я притворялся изумленным, но был встревожен: если письмо в руках Иванова, мне не миновать 102-й статьи, суда и каторги. Однако на допросах Иванов письма не показывал, и, в конце всех концов, я не знал, находится ли «вещественное доказательство» у Иванова. «Полковник знает о письме, — рассуждал я, — очевидно, оно им перехвачено: извлечь его своевременно из почтового ящика было очень легко. Но почему Иванов не пред'являет его мне и не передает дела прокурору?». Во время допросов полковник, сидя на краю стола и слегка покачивая правой ногой, заложенной на левую, спрашивал:

— По вашим заверениям выходит, что письмо писали не вы, но, может быть, вы объясните, кто является автором пространной корреспонденции, помещенной в апрельском номере центрального органа большевиков — социал-демократов? Напомню, в корреспонденции рассказывается о последних стачках в губернии и о тюремных порядках.

Я с неподдельным возмущением отвечал, что такой заметки, о которой он говорит, я никогда не писал и не читал. Иванов вынимал серебряный портсигар с золотыми монограммами и перламутровыми инкрустациями, гостеприимным и чуть-чуть небрежным жестом предлагал папиросу, клал на стол портсигар, не торопясь закуривал.

— Возможно, этот номер не дошел до вас, но заметка была написана вами, вами и больше никем, — заканчивал он твердо и уверенно, для большего веса негромко хлопая ладонью по столу.

Я с тоской глядел, как в перламутре портсигара переливалось небо, солнце и свет, горячо отрицал свое авторство, поражаясь в то же время сообразительности Иванова: заметка принадлежала мне.

— Вы писали письмо, которое опустил в ящик Леонтьев; вы корреспондируете в зарубежный орган большевиков, вы выступали на неле-

гальном собрании рабочих печатников, вы руководили местным комитетом. Все это точно, все это — правда, и вы знаете, что я говорю правду.

— Пред'явите письмо.

Еле заметная улыбка остро мелькала под жесткими усами Иванова вокруг его тонких и сухих губ. Потушив окурочек, он сцепившимися пальцами охватывал колено, покачиваясь, спокойно отвечал:

— Не торопитесь, все в свое время, все в свое время.

Я возвращался в тюрьму встревоженный и подавленный, подолгу не мог взять книгу в руки. Есть у Иванова письмо или нет? Сведется ли мое дело к простой административной ссылке, будут ли меня судить, чтобы отправить на каторгу? Эта неизвестность изнуряла, являлась настоящей пыткой. Шли дни за днями, дни за днями, однообразные, томительные, одинокие, с неотвязными мыслями все об одном и том же, с долгими одуряющими бессонными ночными часами, когда не знаешь, куда деть отяжелевшую голову, нервно зудящие ноги, и когда за окном благоухает хлебосольный июль или зрелый пахнущий яблоками и медом август.

Иногда я просыпался на рассвете. Предутренняя мутная прозелень еле пробивалась сквозь окно и решетки; неясно проступали своды потолка и грязные, словно набухшие чем-то мутным, стены. Книжки, стол, кувшин с водой, параша в углу тонули и как бы таяли в сумерках. В тюрьме стояла глухая, угрюмая подземная тишина. Застывшая неподвижность окружающего казалось грозной и зловещей. Воздух был удушлив и липок. Первое мгновение после пробуждения разум еще дремлет, в то время как наши органы чувств уже бодрствуют. Просыпаясь, я с жестокой, с неотвратимой ясностью чувствовал, что настоящее безотраднo, а будущее сулит беды и несчастья. Да, дверь заперта, я в тюрьме, я одинок, уходят самые здоровые годы. Кто знает, суждено ли мне быть когда-нибудь свободным, т.-е. чтобы меня не сторожили чтобы я мог ходить, куда хочу, бродить по лесным тропам, вдыхать запах зреющей ржи, встречаться с кем желаю, красть милые женские, невзначайные улыбки, или я уже причислен к мрачному синодику безвестных, имена же их ты, господи, веши!.. Хуже всего, что я не знал настоящей женской любви. Неужели я так и погибну никем не любимый и никого не любя?.. Я стискивал зубы, вбирал голову в плечи, сжимался в комок, подгибая ноги, плотно закрывал глаза, зарывался в одеяло из солдатского сукна. Жесткий ворс колот лицо, шуршала истертой соломой подушка, я старался замереть, заснуть, все позабыть. Мне вспоминались счастливые мелочи из детства: игрушки, пахнувшие свежими красками и лаком, уж, от которого я в страхе бежал, таинственный и неуловимый сверчок по вечерам; мне хотелось мечтать о прекрасном и несбыточном, но камера, но письмо, безотраднoсть заточения обрывали мечтания. Нет ничего хуже, когда человек лишается их... Человек должен жить выше на тысячу и восемь метров над землей. Почему на восемь, почему на восемь? Не сошел ли я с ума? Мне делалось страшно. Я погружался в тупое оцепенение. Но тут на помощь приходил рассудок. Он начинал свою работу с медлительным и трезвым упорством, он утешал и ободрял меня. Он напоминал о друзьях и товарищах за

тюремными стенами, ослабляя чувство одиночества, он говорил, что письма у Иванова нет, судебного дела не будет, — меня отправят в ссылку, а там вновь — воля, соратники. Я засыпал успокоенный.

...На пятом месяце заключения Иванов вызвал меня для нового допроса. Он был особенно любезен и вежлив.

— Повидимому, дело ваше будет передано прокурору. Тамбовское жандармское управление поручило мне задать вам несколько вопросов.

Из допроса я узнал, что в Тамбове арестована группа большевиков. Иванов предъявил несколько фотографических снимков. Кое-кого я узнал, но дал полковнику обычные отрицательные ответы. Я отверг также обвинение, будто я делал доклад на конспиративном собрании: на собрании я не присутствовал. На этот раз я сказал правду.

Иванов имел как бы даже участливый вид. Это рассердило меня. Подписывая протокол, я бранчливо сказал:

— Никакого письма у вас нет. Ваши расчеты на Тамбов не оправдаются.

Иванов поднял плечи, посмотрел сбоку на правый погон, рассудительно и вдумчиво ответил:

— Тем лучше для вас. Думается, однако, что с Тамбовом дело серьезное.

— Он предупредительно проводил меня до дверей.

Я пробыл в тюрьме еще два месяца в тягостных предчувствиях. Из полуподвала меня перевели на третий этаж. В ноябре я снова был вызван в жандармское управление. Меня принял Балабанов. Он сбрил бороду, заострив эспаньолку, она торчала у него под нижней отвислой губой нелепейшим образом. Пухлое румяное его лицо совсем закруглилось. Сыто и скучно он объявил:

— Придется вас отправить в ссылку. Вот постановление департамента полиции.

Я облегченно вздохнул. Прочитав постановление, Балабанов прибавил:

— Удачно отделались. Мы имели о вас проверенные сведения, не хватало кое-каких документов.

— А письмо?

Балабанов ничего не ответил, развел руками, показывая розовые ладони. Неожиданно сказал:

— У вас очень красивая кузина, которая передает вам книги. Недавно она играла Раутенделейн в «Потонувшем колоколе». Очень, очень недурно. Жаль, что вам не удалось видеть ее в этой роли.

Я весело согласился с ним.

— Да, и я жалею об этом.

Балабанов вытаращил свои маленькие глазки, с удивлением взглянул на меня, поспешно поднялся.

— Уведите арестованного, — крикнул он в полуоткрытую дверь молодцу-жандарму.

Спустя две недели начались этапные мытарства.

Случай с письмом так и остался неразгаданным. Будучи в ссылке, я справился о письме у заграничных товарищей. Они его не получили.

Под конвоем

Я ссылался на три года в Архангельскую губернию. Путь предстоял тяжелый. Пересыльным отводились самые сырые, подвальные помещения. Их кормили остатками и без того скудного арестантского котла, ими помыкали, их морозили, били, убивали. В темных, в пропахших человеческим калом и мочей, махоркой, ножным потом, таящих в себе полчища клопов длинных камерах, на нарах, под нарами, на мокром, загаженном полу копошились воры, убийцы, громилы, насильники, жулики, политики, оборванные, обовшивевшие, покрытые коростой, экземой, нарывами, чирьями, изъеденные сифилисом, чахоткой, цынгой, ревматизмами, умирали от тифа, от дизентерии и других тюремных бичей; камеры переполнялись в три, в четыре, в пять раз против нормы. В спертom, в закисшем воздухе глухо звучала мерзостная ругань, орали песни, играли в карты, дрались, охальничали, чавкали хлеб, стонали, хохотали, кашляли, свистели, гикали. Какой-нибудь случайно попавший «за бесписьменность» (беспаспортный) новичок, ошеломленный этими недрами тюремного быта, с недоумением, с ужасом останавливался у входа, не зная, что делать с собой, куда шагнуть, к кому пристать. Его мигom окружала орава с покойницкими, озорными, хитрыми лицами; услужливо и угодливо поддакивая, его вели к нарам, предлагали лучшие места, чай, вступали в приятельские беседы, выражали сочувствие, советовали. Новичок успокаивался, с доверием расспрашивал, как ему быть, благодарил. Спустя десять — пятнадцать минут он сидел с вывороченными, с вырезанными карманами, без шапки, его белье в узелке уже делили поспешно где-нибудь в углу камеры, присевши на корточках, ссорясь и глумясь. Нередко он плакал, над ним потешались.

В этапках я увидел последнее падение человека, позор его и потерю им своего образа.

Во Владимирской пересыльной тюрьме под нарами, на которых я спал, занимал место малый лет девятнадцати, с синим лицом удавленника, пучеглазый, с отвислыми слюнявыми губами, одетый в овчинный полушубок, кишевший паразитами. Его звали Марусей: он торговал собой, зазывая ночами арестантов под нары. За «ласки» ему платили гривенниками, махоркой, чаем, сахаром, побоями. Днем он кокетничал. Это было отвратительно. Он по-женски расслабленно вихлял бедрами, заворачивая кверху полушубок, складывал «сердечком» губы, «делал глазки», смотрел в зеркальце, немного больше медного пятака, слюнявил нечистую ладонь, чтобы пригладить сваявшиеся войлоком волосы. К нему относились с гадливым презрением, но его халатом накрывались многие.

Недавний его соперник по ремеслу, молодой парень с кривыми ногами и руками, лежал больным. К нему нельзя было приблизиться, до тошноты пахло калом: торговля собой довела его до того, что задне-проходная кишка у него ослабела, он постоянно испражнялся. Его пинали ногами, плевали ему в лицо, требовали от надзирателя убрать его в больницу. Он мычал, плакал, бредил по ночам, но чаще лежал с тупым и покорным видом животного, заживо сгнивая и разлагаясь.

Я познакомился с худощавым невысоким каторжанином Кастровым. В тюрьмах есть свои щеголи. Кастров принадлежал к ним. Серая куртка и брюки его из тюремного сукна были сшиты как-будто по заказу дорогим портным, но еще лучше он носил халат. Халат лежал на нем свободно и непринужденно, накинутый на плечи. Казалось, халат вот-вот упадет, но он не падал. Кастров держал его на себе незаметными привычными движениями спины, лопаток и плеч. В небрежности, с которой он носил его, не было ничего подчеркнутого. Расстегнутый ворот рубахи с болтавшейся тесьмой открывал крепкую, каменную грудь. Кастров ходил не спеша, расставляя по каторжному ноги, кандалы звякали у него слегка и мелодично. Тюремная шпанка уступала ему дорогу, он быглядел среди нее как хан. Ему с подобострастием носили кипяток, покупали папиросы, доставали водку. Он не замечал служающих. У него водились деньги. Кастров шел вторично на каторгу по громкому уголовному делу: он мастерски ограбил в Варшаве богатый ювелирный магазин путем подкопа, но поссорился со своей сожительницей — «марухой», она его выдала. Он отравлял также людей. Он отравлял стариков, старух, отцов, матерей, дядей, теток по наущению и по найму сыновей, внуков, племянников, родных, метивших в наследники. Кастров рассказал мне о нескольких способах отравления, к каким он прибегал. Один из них отличался простотой и зверством. Отравляемому в пищу ежедневно малыми дозами примешивается мелко-изрубленный конский волос. Он впивается в стенки желудка, они покрываются мельчайшими многочисленными язвами, — человек худеет, хиреет, умирает от худосочия.

— Ad patres отправляются тихо и незаметно. Почти никогда не догадываются произвести вскрытие.

Кастров рассказывал все это, нимало не рисуясь, точно и сжато. По его словами, он окончил реальное училище, он говорил по-французски, а его познания по физике и химии, по-моему, были даже обширны. Его слушались. Из вещевого мешка у меня пропала часть белья. Узнав о краже, Кастров подошел к группе уголовных арестантов, переговорил с ними вполголоса. Вечером белье возвратили с извинением. Я часто беседовал с Кастровым, но избегал смотреть ему прямо в глаза. Они у него были большие, студенистые, серые и беспощадные, они как бы раздевали человека догола, подобно спруту вытягивали щупальцы, охватывали с ног до головы, притягивали и поглощали. От его взглядов как-будто что-то терялось, утрачивалось важное и ценное. В них было нечто губительное.

В Бутырской тюрьме моим соседом оказался задумчивый, с вьющейся, еще ни разу небритой русой бородкой анархист-боевик. Часами шагал он по камере из угла в угол, крутя правое ухо и похрустывая пальцами. Он странствовал по этапу около года, харкал кровью, бережно собирая кровавые сгустки в грязный платок. Его лицо словно подернулось паутиной и стало почти старческим. История его скитаний была необычайна. Его отправили в административную ссылку. В Иркутске он повстречался с товарищем, тоже боевиком-анархистом, который шел обратно из ссылки: охранники уже во время ссылки раскрыли его участие в круп-

ном террористическом деле, пред'явили ему статью, угрожающую смертной казнью, потребовали его обратно. Федоров — так назывался мой сосед — предложил смертнику «смениться», то-есть пойти вместо него и под его фамилией. Они так и сделали. Каждый из них пошел обратно: Федоров в тюрьму, кажется, в Саратов, смертник — в ссылку. Нужно было выиграть время, чтобы смертник успел дойти до места назначения и оттуда бежать. Но по дороге в Саратов Федоров уговорился тоже «смениться» с уголовником, у которого к концу пришел срок заключения, заплатил ему за это тридцать пять рублей. Вместо Саратова он пошел во Владимир, уголовного отправили в Саратов. Там, испугавшись, он назвал себя раньше условленного срока. Федоров не успел выйти из тюрьмы, был переведен в Саратов под фамилией смертника, просидел в одиночке два месяца и даже давал показания. Он удачно скрывался от тюремщиков, потому что его заключили в другой корпус, не в тот, где сидел раньше его товарищ, а среди следственных властей произошли перемены. Однажды начальник тюрьмы, обходя с прокурором камеры, всмотревшись в Федорова, усомнился в нем. Но то ли Федоров был очень похож на своего смертника-товарища, то ли начальство запаматовало, — время было горячее, арестантов не знали куда девать, — во всяком случае тюремщики не сумели с твердостью установить настоящую личность Федорова. Он продолжал выдавать себя за смертника, чтобы продлить время. Он заявил, что где-то, скажем, в Твери, у него есть родные, они будто бы могут опознать его и подтвердить данные им, Федоровым, показания. Его отправили в Тверь. Родных не оказалось. Федоров утверждал, что родные были, да выехали, назвал родных в другом городе. Убедившись в обмане, прокуратура распорядилась вновь его доставить в Саратов. Я встретился с ним в Бутырках, когда он снова шел в Саратов. «Именующий себя Федоровым» ждал известий от друзей на свободе, и, хотя все сроки давным-давно миновали, он был столь строг к себе, что, несмотря на свои по-истине ужасные мытарства, все еще не решался назваться.

— Подожду еще недели две-три, — говорил он глухо, словно испрашивая совета. — Недавно я написал на волю письмо: если в течение месяца не получу ответа от товарищей, я открываюсь. В разговорах он несколько раз повторил мне проникновенно:

— Каждый человек изморяется сочувствием, любовью к самым обиденным, к тем, кто находится в тягчайшем положении. Вот Горький... разве его мы ценим за мастерство? — Он покачал отрицательно головой. — Нет, его ценят за его любовь к босякам, к дну, к самым пропащим. Это самое дорогое в нем.

Завистливым и грустным взглядом этот милый и чистый юноша смотрел, как я собирал вещи для дальнейшего следования по этапу. Я прощался с ним, как с умирающим, зная, что жизнь таких, как Федоров, всегда обрывается трагически быстро... Страшная вещь, мои юные друзья, самодержавие!..

В Ярославской пересыльной тюрьме пришлось сидеть в камере, кишевшей клопами и вшами, как нигде. Стены были сплошь усеяны кро-

бавыми, жирными пятнами от раздавленных паразитов. На второй или на третий день моего пребывания в этой тюрьме нас известили, что товарищ прокурора обходит камеры и принимает заявления. Когда он зашел к нам и спросил, нет ли каких-нибудь жалоб, ему молча подали треснувший стакан, заклеенный сверху бумагой. Стакан на три четверти был наполнен бурой, шевелящейся и вспухающей массой.

— Что это такое? — с недоумением спросил молодой представитель прокурорского надзора, разглядывая странное подношение, но не решаясь взять стакан в руки.

— Это вши, собранные нами сегодня в камере с пола.

Чиновник отвернулся, ни слова не говоря, вышел из камеры. Обхода он больше не продолжал. Своеобразная «жалоба», пока мы сидели в Ярославской тюрьме, никаких последствий не имела.

В Вологде меня едва-едва не пристрелил старший надзиратель. Днем параша обычно выносилась из помещения. Надзирателям надоедало постоянно открывать и закрывать дверь, впускать и выпускать пересыльных. Один из дежурных «дядек» отличался особой тупой наглостью. — Подождешь, — ты у меня не один... не стучи, не подойду, — и заставлял ждать. Это было мучительно, позорно и оскорбительно. С некоторыми случались обмороки. Доведенные до иступления, с распухшими мочевыми пузырями, с резью и коликами в животах, мы вынуждены были однажды прибегнуть к обструкции. Вооружившись жестяными кружками, чайниками, ручками от швабр, досками, сорванными с нар, пересыльные принялись дубасить в дверь. Тюрьма наполнилась грозным грохотом. В камеру ворвалась разъяренная толпа надзирателей во главе со старшим. Нас стали избивать. Старший, старик с длинной веерообразной бородой, в синих угрях, ударил меня в грудь кулаком. Я схватил его за рукав засаленного мундира, стараясь удержать руку. Рукав треснул подмышками. — Ах, ты, рестанская морда, — захрипел старик, выхватывая трясущимися руками наган из кобуры. — Пристрелю! — завизжал он тонко и задыхаясь. Кровь горячим потоком хлынула у него к лицу, стала его душить, пухлые мешки под глазами сделались огромными и багровыми. Студент Борис Корень бросился к нам, оттеснил меня в угол камеры. Старик ударил его по голове ручкой нагана, пытаясь достать меня, но между мной, им и Борисом уже протиснулось несколько пересыльных. Произошла свалка. Нас загнали на нары, избили до синяков и кровоподтеков. Появился начальник тюрьмы с солдатами, грозил расстрелами, но к вечеру удалил ненавистного нам надзирателя, узнав в чем дело. Доступ в уборную был отвоеван. Больше того, нас не торопили, мы могли пользоваться уборной почти с царственным величием и с полным сознанием, что выдержали неравный, но славный и победный бой. Кто-то звонко кричал: «Умрем за ватерклозеты!» Кто-то начертал на стене: «Жизнь на радость нам дана». Борис Корень декламировал: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым»... Я же, несмотря на ощущение благодетельной легкости во всем организме, по природной склонности размышлял о случайности и бренности человеческого существования...

...Архангельск... Неделя ожиданий. Губернское управление должно определить место ссылки в пределах края. Наконец, назначение объявлено. Итти нужно по тракту больше пятисот верст, около двух месяцев. Ранним утром партию принимает конвойная команда. Нас, пересыльных, пятеро: трое «политиков», аграрник, «бесписьменный». Конвойных тоже пятеро. Старший Иван Селезнев, низкорослый, корявый, лопухий, с нагловатыми и почему-то тоскливыми глазами вызывает нас по списку. У стола с сонным видом — пожилой, облысевший поручик, начальник конвойной команды. Следует обычный опрос: имя, фамилия, куда идешь, казенный полушубок есть? — Есть. — Валенки есть? — Есть. — Портянки есть? — Есть. — Рукавицы есть? — Есть. — Проходи, обыскать. — Селезнев сердито и грубо покрикивает на нас и на конвойных: — Повертывайся живей, тут тебе не на полатах лежать, не задерживай... Ты у него в карманах пошарь, развяжи мешок, бушлат деретряхни, посмотри в валенках... — Он выслуживается перед офицером, старается показать, что строг и исполнитель. Он требует, чтобы конвойные прощупывали складки одежды, ищет деньги, но больше глядит на поручика, чем на нас. Конвойные с лицами, на которых готовность и покорность, бесцеремонно разбрасывают по полу наше скудное имущество, вытряхивают из карманов старательно махорку, выворачивая их, заставляют раздеваться. Они подлаживаются под тон Селезнева, с опаской следят за офицером.

Партия принята, мешки и узлы связаны, погружены на подводы. Их три: одна для конвойных, другая для наших вещей, третья для меня: я — «привилегированный»; последний раз скрипят тюремные ворота, партия трогается в путь-дорогу.

...И вот уже приволье... Какое очарование может сравниться с этими первыми упоительными ощущениями радости и счастья, когда после долгих месяцев тюремного мрака человек вдруг видит, что перед ним раскинулась ослепительная снежная равнина! Должно быть, недавно была метель. Девственный снег лежит вблизи дружными глубокими сугробами. Они похожи на замерших странных чудовищ. Вот хребет гигантского допотопного зверя, вот вытянулась змея, вот горбится черепаха, вот добродушно высунулась тупорылая голова с седыми космами, здесь видна одна огромная мохнатая лапа, а здесь распростерлись гигантские крылья белой птицы. Дальше сугробы сливаются в одно необозримое поле. От красного низкого солнца снег сверкает, искрится, сияет, горит, блещет, играет и переливается небесной радугой цветов. Снег режет глаза, он вьет и сечет по ним. От него веет бодрой свежестью, он чуть-чуть пахнет дикими, сырыми еле уловимыми целомудренными запахами. Атласную поверхность хочется трогать и нежно гладить рукой. Местами чернеют кусты, кривые березки стоят одинокие, покинутые, будто замороженные. Вдали — отягченные грубоватой зеленью леса. Край неба почти сливается в розовом тумане с краем снегов, но все же едва заметная линия кладет благородную и свободную границу меж ними. Да, сколько свободы! Свободны небеса, свободны беспечальные и гостеприимные дали, свободна каждая снежная пушинка, звериные следы, полеты птиц, все мы, — и я, и я тоже свободен!

Все говорит о торжественном, о вольном утверждении ничем не стесненной жизни.

Морозный воздух озонирован и легок. Будто состоит он из хрупкого хрустала. Я опьянел, рад, что могу двигаться, бреду нетвердым шагом за подводой. Впервые я чувствую нездоровые отеки на лице, дряблость кожи. Мороз обжигает, мне кажется, что я смотрю на все через бинокль: и дорога, и равнина, и деревья дрожат, они необычайно яркие, и каждый предмет будто обведен голубоватыми полосами... Удивительно, как можно было жить в мрачном подвале, дышать зловониями. Какой чудовищный бред!

Однотонно звенят в ушах серебряные колокольчики, это—от малокровья. Дорога лежит впереди двумя спокойными полосами. Они желты от солнечных лучей, будто намазаны маслом. Мудрая простота белого безмолвия успокаивает. Хорошо бы побежать, сделать какую-нибудь нелепость: вот толкнуть этого рослого конвойного в сугроб, затеять с ним возню или запустить в него снежком. Снежки! Снежки в родной деревне! Когда приходил первый первопуток и наступала оттепель, я до изнеможения дрался с деревенскими ребятами в снежки. Потом подмораживало, нянька Аграфена мешала коровий помет с соломой, обливала водой, получались чудесные, гладкие и скользкие ледяшки! Как близки и сродны были тогда все вещи, сколько отрады таили в себе самые простые из них!.. Вот тоже мыльные пузыри... Небо немного заволочлось, снег посинел, падают пушистые снежинки. Одна из них задерживается на реснице, я ощущаю ее холодок и легкую чистоту,— мне чудится, что и сам я стал чище и лучше... В сущности я не плохой человек, даже совсем хороший, и не такой, как все. Я многое уже испытал, дважды сидел в тюрьме, иду теперь в неведомую ссылку. Я профессиональный революционер, мне доверили окружную организацию. Еще могу гордиться, что полковник Иванов не сумел перехватить письма, а он умный, у него — деньги, агенты, полиция, и все же у него ничего не вышло. Меня не так-то легко поймать: я ведь чертовски изворотлив, пожалуй, неуловим. Отвага, хитрость и решительность — это мои качества. Да, я похож на революционного Следопыта. Меня всюду ищут, преследуют, а я на глазах у врага совершаю отчаянные и невероятные подвиги: сегодня перепиливаю решетку, скрываюсь, завтра появляюсь в театре, спокойно слушаю до конца оперу, стреляю из браунинга... В кого?.. Хотя бы в начальника тюрьмы. Скрываюсь... Подвожу поджоп под тюрьму. Освобождаю... Кого освобождаю?.. Свою жену Шуру... мы уезжаем в Италию... Шурины волосы пахнут сеном. Отдохнув, мы возвращаемся в подполье... руководим повстанческим отрядом, скрываясь в дремучих заповедных лесах... награбленное у помещиков отдаем крестьянской бедноте... власти трепещут... Слава о наших подвигах гремит по всему миру... Потом...

Но тут я замечаю конвойного, с которым я недавно хотел повозиться в сугробах. Он бредет в развалку, небрежно держит винтовку за плечами. Сбоку у него нелепо болтается сабля. Он дымит махоркой, покрякивает, тянет что-то однообразное, не обращая на меня внимания. Я обижаюсь. Это правда: я немного размечтался и хватил, что называется, через край, будто я неуловим. Жизнь всегда складывается иначе, чем представляется

в мечтаниях. Сейчас я арестован жандармами, но если я арестован и иду по этапу, может быть, на верную смерть и мучения, то конвойный, во всяком случае, обязан стеречь меня по настоящему, быть начеку, а не распевать песни, волоча за собой ружье, которое к тому же, вероятно, еще и не заряжено... деревенщина, невежество, обломовщина... А, впрочем, не пристежь ли на подводу... что ни говорите, а сословные преимущества и в тюрьме имеют свое значение.

В сани вместе со мной садится старший Селезнев. Лицо его цветет маком от мороза. С довольным видом, хозяйски он оглядывает растянувшуюся по тракту партию. Скрипят полозья, лошади машут головами, от них валит сизый пар, пахнет прелестным терпким лошадиным потом. Барахтаясь и падая, я надеваю ямщичий тулуп, от него идет кисловатый здоровый запах, овчины тепло льнут к телу, отвороты индевеют.

— Землячок, не хотите ли покурить? — Селезнев непослушными руками достает пачку дешевых папирос. Я медлю, вспоминая, как Селезнев кричал на нас в тюрьме, но курить давно хочется.

— Берите, берите. Приедем в посад, купим.

Я беру папиросу.

— А зачем вы высыпали у нас табак при обыске?

Селезнев с готовностью подносит зажженную спичку, смеется, показывая ряд сильных зубов, снисходительно и назидательно поясняет:

— Служба. Должны действовать по уставу. Начальство требует. Сами видели, начальник конвоя самолично присутствовал при отправке партии. Наше дело солдатское: спрос большой, большой спрос с нас. Вот мы едем с вами, кому что, а у нас забота, чтобы все в исправности было, как бы до места добраться по-хорошему, тихо и вполне интеллигентно. Разрешите посадить на вашу подводу еще товарища.— Не дожидаясь ответа, он зычно зовет:— Нефедов, сажай сюда одного политикана и сам присаживайся.— Рослый Нефедов, тот самый, с которым мне захотелось валяться в снегу, закутанный в башлык, садится на край саней, вместе с ним неуклюже лезет в сани щуплый меньшевик Климович. Селезнев продолжает рассуждать:

— Нет, нам беспрерывно надо доехать в аккурате. Ты, Нефедов, поглядывай за партией. Не дай бог, что случится,—горя хлебом. Военный суд, он, брат, потачек не дает, нет, он не дает их.

Нефедов отвечает глухо и невнятно: рот у него закрыт башлыком.

— Вот и я говорю, нужно без баловства ехать. Набалуешься, а там кусай локти.

Смысл их разговора для меня загадочен. Подумав, решаю: конвойные боятся, не сбежит ли кто-нибудь из пересыльных с дороги. Я неприязненно смотрю на Селезнева.

— Не бойтесь, не уйдем: нет расчета бегать с дороги.

— Об этим мы спокойны, об этим мы не думаем, — замечает Селезнев. — Расчета бегать вам нет с дороги, это вы правду сказали.

— Тогда в чем же дело? Чего вы опасаетесь?

Селезнев счищает сосульки с рыжих усов, хлопает руками по валенкам.

— Разные случаи в жизни бывают. Одно на другое не выходит. Главное — итти нам без малого два месяца. Надо содержать себя в строгости, — дай бог, и доползем как-никак без сурьезных поступков.

Нефедов, не оборачивая головы, соглашается.

— Без этого нельзя, содержать себя надо в сознании.

— Вполне интеллигентно.

Разговор попрежнему для меня темен и непонятен. Я все же думаю, что конвойные боятся побегов ссыльных.

Северный день угасает. Снег посинел еще больше, стал темно-фиолетовым в рытвинах, мороз забирается за пазуху, под рукава, щемит колена. Время от времени то один, то другой из нас слезает с саней размяться, согреться, похлопать рукавицами. Ломит в висках. Показывается мутный зеленорогий месяц. Меж туч он расплывается лимонным тусклым пятном. Скоро ли посад? Но перегон большой. Тянется дальняя тропа-дорога, обложенная молчаливыми необозримыми равнинами, напоминая одинокую, полузабытую русскую песню... Сумерки... снега... Мир лежит в глубокой умиротворенной тишине. Теперь я всем своим существом верю, что буду вновь свободен. Благословенна жизнь... Одолевает дремота. Мне снится, будто я говорю громким и чистым голосом, тут же забываю, что сказал; почему-то голос звучит со стороны, все более и более отдаленно, затем он замирает... Первый отрадный сон за семь месяцев...

...В посад мы приехали поздним вечером. Этапная изба давно не топлена. Она разделена досчатой некрашенной перегородкой на две половины: одна для пересыльных, другая для конвойной команды. Старуха, с бельмом на глазу, принесла вязанку дров, сердито бросила ее на пол, не взглянув на нас, и, ни слова не сказав, ушла. Скоро боьшая русская печь уже дышала благодетельным теплом, играя синим огнем. Селезнев, сидя на скамье и разматывая лортянки, сказал хитро подмигивая и посматривая на пересыльных:

— Запирать вас, господа политики, на ночь или как?.. Эх, куда наша чни шла, дышите, одним словом, без запору, беру грех на свою душу. — Помолчав, осмотрительно и начальственно распорядился, обращаясь к конвойным: — Приказую, ребята, в посад не отлучаться. Сидите дома при полном исполнении служебной программы; который не исполнит, пойдет в наряд без очереди, поняли?

Солдаты неопределенно переглянулись. Курносый и конопатый Китаев, с рассеченной верхней губой, пробормотал из красного угла:

— Там посмотрим. По обнаковенному. Не в первый раз идем.

Селезнев вскочил со скамьи, стукнул кулаком по столу, с непонятной для меня яростью крикнул:

— Я тебе дам по обнаковенному. По обнаковенному, — передразнил он его, — а в военной тюрьме не сиживал, не хаживал в арестанском халате с бубновым тузом на спине?

Китаев упрямо и спокойно ответил:

— Сколько разов ходили, ничего не было. Дойдем без арестанских рот.

— Дойдем, — подтвердили уверенно конвойные. — Доползем... кто с ногой, кто без ноги... Может, кто и ордена получит, — прибавил кто-то полушутливо, полузагадочно.

Не видя поддержки, Селезнев смяк, бессильно опустил снова на скамью, смачно высморкался на пол, покрутил головой, неубедительно выругался:

— Идолы, прямо идолы. Ты им про службу, а у них на уме... вон что. Ну, только я этого не допущу.

Конвойные ничего Селезневу не ответили. Не понимая все еще, в чем дело, я, однако, заметил, что старший в чем-то сдал.

С обиженным видом Селезнев вынул из кармана зеркало, долго рассматривал в нем свое лицо, зверски таращил глаза, расправлял и закручивал усы, надувал щеки, вытянув и широко расставив ноги. Отложив зеркало в сторону на стол, он вытащил засаленный и истрепанный футляр с очками. Позже я узнал, что стекла были простые: Селезнев носил очки «для полной интеллигентности». Не решаясь показывать их в казарме, он щеголял ими во время отлучек в город и этапных маршрутов. Он бережно и осторожно вертел теперь их в руках, примерял, морщил нос, обводя избу присутствовавших тупым и напыщенным взглядом. Он походил на дикаря и на ребенка, занятого затейливой игрушкой.

Наполнив чайник кипятком, я ушел в отделение для пересыльных. Рядом со мной на нарах расгюложился меньшевик Климович. Он был хил, тощ, сутул, подслеповат, грудь имел впалую, одно плечо выше другого, пенснэ со шнурком сидело на носу всегда криво. Вместо бороды и усов у него росли растрепанные кусты, которые он постоянно теребил. Голова, руки, ноги у Климовича болтались как у куклы с ослабнувшими связками. Он был в'едлив и зол в спорах. Политические споры действовали на Климовича неотразимо. Обычно молчаливый и безразличный к тому, что делалось кругом, он, едва его ухо улавливало нечто дискуссионное, настораживался, оживлялся, нервно поправлял пенснэ, спешил туда, где спорили, подпрыгивая ногами и руками, точно боясь опоздать; в недолгом времени уже доносился его несильный, но скрипучий и визгливый голос, покрывая другие голоса. — Маркс утверждает... Плеханов отрицает... ленинский анархобланкизм ведет... — дальше следовали в обычном порядке: авантюризм, политический шантаж, жалкое эпигонство, вы передергиваете, вам надо почитать, невежество не аргумент, абсолютный идиотизм и т. д. Во время споров Климович еще больше худел, делался как бы меньше ростом, глаза у него ожесточенно блестели, спор часто кончался личными оскорблениями, гвалтом, склокой, третейскими судами. Будучи пересыльным, Климович ухитрился, несмотря на постоянные обыски, сохранить несколько номеров центрального органа меньшевиков. Пощипывая булку, прихлебывая рассеянно чай из кружки, он шуршал тонкими листами, потом заметил с видимым удовольствием:

— Разногласия обостряются. Я насчитал уже восемь вопросов, по которым мы расходимся с вами, большевиками.

Он скороговоркой перечислил эти вопросы, загибая пальцы. Мне же казалось, что Климович уже давно утратил способность охватывать наше движение в целом, забыл о нашей конечной цели. Самое главное для него — вот эти семь-восемь пунктов, они важны и нужны ему сами по себе, независимо от того, кому и для чего они полезны. Вся жизнь должна уложиться в эти восемь, в десять, в пятнадцать пунктов. Была самодовольная ограниченность во всем, что говорил он и делал.

Нехотя я вступил с Климовичем в спор. Климович доказывал, что нелегальный аппарат отжил свое время: сейчас нужно прежде всего «использовать легальные возможности». Подпольные организации могут теперь существовать лишь в качестве подспорья к открытой работе в профессиональных союзах, в рабочих клубах, в кассах взаимопомощи. Спор неожиданно перебил Кучуков:

— Представьте, — звонко крикнул он, входя в арестантскую, — со мной случилось несчастье: ужасно обварился кипятком. — Он подробно рассказал, как это с ним случилось. Грузин Кучуков тоже был социал-демократом, но «диким». Высокий, черный, курчавый, он обладал непомерно огромным, унылым носом с горбинкой, на кончике которого почти всегда висела мутная капля неизвестного происхождения. С Кучуковым, как с чеховским Епиходовым, постоянно случались «несчастья»: то живот схватило, то стакан разбился, то ремень потерялся, то руку он зашиб, то палец отморозил. Речь свою он привык начинать словами: «Представьте, какое несчастье со мною случилось». Подробности «несчастья» излагал с величайшей готовностью и как бы даже с радостью, во всяком случае с очень бодрым видом, что совсем не соответствовало его носу. Впрочем, он отличался еще добродушием, был общителен, готов помочь товарищу.

Климович, не дослушав Кучукова, уткнул нос в газету, пренебрежительно и с досадой пробурчав: — Всегда вы неуместно, Кучуков, впутываетесь в разговор.—Кучуков сконфуженно замигал глазами, промолвив примирительно: — Прошу извинить меня.

У стола безучастно сидел большеголовый и смирный самоедин Семен, лет двадцати пяти. Жирные черные блестящие волосы стояли у него крепкой завидной щетиной, лицо тоже лоснилось от жира и здоровья. Он отправился на богомолье в Саров без паспорта; в Вологде его арестовали «за бесписьменность». Когда его спрашивали, он отвечал односложно, неопределенно улыбаясь. Почему-то он старался молиться украдкой, уходя от нас в угол, горбатясь, нагнув голову, мелко и быстро крестясь. Может быть, он это делал потому, что над ним нередко издевался Иван Ногтев. Ногтев сначала называл себя аграрником, но потом выяснилось из его же разговоров, что его выслали по приговору сельского общества за неуживчивость и за драки. Он утверждал, что у него отняли землю, огород; главными своими врагами считал брата и местного священника. Он — жилист, жилы точно натянуты на нем, но скопческое, почти безволосое лицо старообразно, иссечено резкими, длинными морщинами. Глаза часто становятся неистовыми, загораясь зеленым огнем. Нас, политических, он не любил, но видел,

что мы заступаемся друг за друга, поэтому, вероятно, свою злобу он предпочитал срывать на самоедине.

— Дурья твоя башка, — ругал он Семена, лежа на нарах, — к святым захотелось. Идиёт! Мало еще тебя учили. Я бы тебя года два в клоповнике проморил... Ну, что ты устави́л на меня буркалы свои, дубина стоеросовая?

Семен опустил голову, обычно, по-лунному, улыбаясь, — глубоко и гладко начал икать.

Утомленные большим перегонном, непривычным свежим воздухом, мы рано улеглись спать. Из комнаты для конвойных доносился залиvistый храп. Наша камера осталась не запертой, караульную службу нес Нефедов, но и он скоро уснул. Ночь длинна, — северная, глухая, грязная, лохматая ночь. Сны спокойны, забывчивы.

Утром Селезнев отправился к знакомому посадскому фельдшеру, получил на имя Кучукова удостоверение, что он, Кучуков, заболел в дороге, не может идти пешком, нуждается в подводе. Мы легко разместились на четырех подводах. Десять часов, а на востоке лишь слабо рдела заря. Солнце поднялось медленно, — тусклое, сонное, недовольное, — будто только для того, чтобы осмотреться хозяйским оком и убедиться, все ли в порядке на земле. И опять снега, сугробы, озонированный воздух, ветра, перелески кусты, дорога, скрип полозьев, пофыркивание лошадей, небо, облака, причудливо громоздящиеся друг на друга... «Там в небесах есть острова, у них золотые берега». Селезнев всю дорогу был весел, предупредителен, суетлив. Ему не сиделось на месте, он то-и-дело пересаживался то на одну, то на другую подводу, чем-то был озабочен.

На третьей остановке по маршруту полагалась дневка. Утром после чая я с разрешения Селезнева отправился гулять по посаду. Посад вытянулся в одну длинную улицу. Деревянные дома добротны, окна прорублены высоко над землей, местами украшены русской резьбой. Нет ни садов, ни галисадников, не видно наших риг, скирдов соломы и сена. Скотина и сено в подвальных помещениях, под домами, они заменяют на севере и ригу, и двор. На улице почти безлюдно. Прошла дородная, пунцовая от мороза девка с озорными и вызывающими глазами, проплелась старуха, остановилась, прислонила ладонь ко лбу, вглядываясь слезящимся, неприязненным взглядом в чужака. Бросилась с лаем под ноги одуревшая от скуки шелудивая собака, но тут же трусливо понеслась в сторону... Мальчонка в огромных валенках, в шапке, нахлобученной на уши, протащил салазки на гору. — Дяденька, дяденька, — не докончил, сел в санки, полетел вниз. Кое-где на задворках хлопотали по домашности бабы. Все просто, понятно, вековечно, заведено исстари, — не нами началось, не нами и кончится. Таких селений на Руси десятки тысяч, живут в них миллионы людей из поколения в поколение однообразной, безвестной жизнью. Иван родит Петра, Петр — Ивана. Ивана и Петра новые Иваны и Петры в положенные сроки снесут на кладбище, и все так же, как и раньше, будет проходить по улице пунцовая озорная девка, плестись нивесть куда старуха, мальчонка — кататься на салазках, цвель зори, манить неведомые дали.

Но люди живут, они довольны по-своему жизнью, они не скитаются, не ожидают роковых стуков в дверь и звонков, не сидят обреченными в тюрьме и в казематах, ничего не хотят знать ни о Платоне, ни о Ньютоне, ни о Марксе. Значит, у них есть своя правда; этой правдой живы не сотни и не тысячи, а сотни миллионов людей в России, в Китае, в Австралии.

Может быть, эта их правда и есть единственная, настоящая правда, а моя, другая правда — правда ограниченная, нужная только немногим... Но кто сказал, что у миллионов людей, живущих не по-моему, должна непременно быть своя правда, что их жизнь по-своему осмыслена и оправдана? Жизнь расточительна. Безликая, могучая, неистребимая, всевластная, слепая в своей стихийности, она безумно, дьявольски расточительна. Какое ей дело, что сотни поколений Петров и Иванов живут бесцельно и бессмысленно, коснеют в мраке, в ничтожестве, в изуверстве? Лишь бы творили ее волю, волю необузданной стихии. Ей ничего не стоит даром отдать века, тысячелетия, народы, страны темной бесконечности, даром народить миллионы существ только для того, чтобы они зачем-то, неизвестно зачем, удобрили землю жирными туками, убрали и возделали ее. Наверное, вот в этот самый миг разлетелись в куски, погибли бесследно миллионы миров... Твори волю стихии, а чтобы человек не бунтовался, не скучал, не мучился, она дарует ему свои ничтожные улады, пошлые, жалкие иллюзии. Люди цепко держатся за них: иначе — тьма, бессмыслица, отчаяние, экклезиаст... А все же бунтоваться нужно. Против экклезиаста, против невнятицы и бессмыслицы, против неприкаянности и сирости существования. Человеку нужен бунт: он есть существо бунтующее, он не терпит нелепицы. Но тогда как же трудно тем, кто берет на себя всю тяжесть этого всесветного восстания против жестокой, бессмысленной и щедрой силы, кто отваживается итти крестными путями познания добра и зла!

Неподвижно лежал посад, он точно врос в землю, вышел из нее. Двери, ворота были наглухо закрыты, окна блестели холодно и враждебно. Да, я — один. Я — чужой здесь.

...Вечером Селезнев напялил с трудом очки, оставил солдатика Настюхина караулить нас, сказав ему строго, но чего-то не договаривая:

— Погляди за партией. Мы — на часок, посидим у знакомых. К ночи вернемся.

Он ушел вместе с остальными конвойными.

Настюхин около часа ожесточенно и мрачно чесался, поглядывал в темное окно, сопел, плевался, потом стал одеваться.

— Посидите тут без меня. Сходить к земляку надо. Тут недалече.

Мы остались одни. Ночью никто из конвойных в этапную избу не явился. Стало светать. Пора было ехать, перегон предстоял большой, из конвойных никто не показывался. Мы прождали их еще часа полтора, не дождавшись, пошли искать по посадку; бродили долго, расспрашивали встречных, не видали ли где солдат; нам отвечали: не довелось. Дошли до конца посада, остановили бабу с рыхлым, ноздреватым носом.

На вопрос о «солдатиках» баба, сильно окая, ответила:

— Встречать не встречала. Только где же им быть, как не у Марьяшки. У ней они, — негде им больше быть. Вон на краю изба стоит справа, туда и сходите.

Изба с осевшими углами, с покривившейся, сползающей крышей выглядела значительно хуже соседских. Мы постучали в дверь. Никто не отозвался на стук. Нам пришлось долго щелкать щекоткой, бить кулаками, ногами, звякать в оконца. Открыл дверь Нефедов. Он посмотрел на нас заспанным, мутным взглядом, ни слова не сказав, ушел обратно в избу. В полутемной просторной избе на лавках валялись наши конвойные, неистово храпя. На столе стояли пустые бутылки из-под водки, тарелки с остатками селедки, трески, которая нестерпимо пахла тухлыми яйцами и рыбьим жиром. К этим запахам примешивался винный перегар и ножной пот. От такой потрясающей смеси нос Кучукова сразу взмокнул, набух и стал малиновым. Селезнева мы нашли за пологом на кровати. Рядом с ним, выставив голые и круглые пятки, лежала полураздетая женщина. Она-то, повидимому, и была Марьяшка. Селезнев спал на спине, раскинув ноги и руки, будто силясь с удивлением что-то припомнить. Мы разбудили его не без усилий.

— Селезнев, — сказал я ему, — пора ехать. Еще не выправлена по дорожная, а время близится к полудню.

Селезнев смотрел на нас несколько мгновений совершенно очумелым взглядом, не шевелясь, потом разом сел, уставился на свои разутые ноги с кривыми пальцами и синими ногтями, остервенело почесал бок, затылок, после чего на него напала величайшая распорядительность. Покосившись на женщину, лежавшую рядом с ним, он прохрипел.

— Марьяш, вставай, гости пришли... Эй, поднимайся, — орал он на конвойных, вращая налитыми кровью глазами, — живо поднимайтесь, черти-лопоухие. Без никаких. Господа арестанты за вами пришли. Нефедов, Китаев, Настюхин, Панкратов, ехать надо!

Конвойные зашевелились, приподняли головы, стали одеваться. Селезнев продолжал поучать:

— Вам бы, мужичью, только водку лакать да на полатях чесаться, а того не понимаете, что на царской службе в аккурате надо себя содержать, прокураты окаянные, навязались вы на мою душу. Что я вам говорил вчерась? Я про устав воинский вам говорил, а им слова как об стенку горох. Видали вы их, — продолжал он разглагольствовать, приглашая нас в свидетели, — от'ехать не успели, а им уже удержу нет... Нефедов, беги одним духом в этапную, возми в сумке бумаги, выправляй лошадей. С вами, с дьяволами, в год не доедешь, не то что по маршруту.

Нефедов, наскоро одевшись, вышел из избы. Селезнев шагнул к столу, пошарил глазами по бутылкам, не найдя, чем опохмелиться, набросился на Настюхина.

— Идиёт! Я зачем оставил тебя в карауле? Я на то тебя поставил, чтобы ты сию же минуту в кабак убер? Ты должен был господ арестантов караулить, за порядком наблюдать, бесстыжая твоя харя. Тебя кто просил приходить сюда? Тебе воинский приказ был даден, а ты наплювал на

него. Ты что думаешь, я с тобой цацкаться буду? Нет, братец ты мой, на службе не цацкаются, на службе за эти дела по головке гладить не будут, ежели ты караул не несешь и винтовку бросаешь. Винтовка, она, брат, священная вещь, ты ее беречь должен пуще своего глаза, идол распратаковский!

С кровати поднялась Марьяшка, молодая, грудастая баба, с круглым и миловидным лицом.

— Ты что это собакой набрасываешься на всех? Иди на двор, там и лайся, а тут — моя изба.

Селезнев присмирел, сказал примирительно:

— А ты, Марьяш, не путайся не в свои дела. Вставай лучше, кваску принеси, а того лучше — соточку: башку крутит.

Марьяшка проворно и споро оправила одежду и волосы, надела валенки принесла квасу. Селезнев жадно отпил, поставил ковш на стол, расправил мокрые усы, подмигнул мне и Кучукову, показал глазами на ночную подругу, хитро шурясь, промолвил:

— Не хотите ли кваску, хороший квас... Я об чем беспокоюсь, я об том беспокоюсь, чтоб вполне интеллигентно было, умственно и по-хорошему, вот об чем я думаю.

Марьяшка в упор рассматривала Кучукова.

— Вот это нос, так нос, и где такой рос, отродясь не видала.

Кучуков сконфуженно заулыбался.

— Представьте, такое несчастье...

Марьяшка вплотную придвинулась к нему, сложила на груди руки, заглянула внимательно долгим взглядом в глаза Кучукову, бесстыже и просто сказала:

— С таким ни разу не спала, верное слово.

Напуская на себя строгий вид, Селезнев заявил:

— Ну, ты не очень. Не полагается. Они—на манер казенного имущества: обязаны в сохранности доставить по месту назначения.

— От меня не убудет. Сама я с вами, с непутевыми, казенной стала.—Она ловко стала убирать посуду со стола, смела крошки, придвинула к нам ноздреватые и пышные шаньги, треску.

— Чем богата не побрезгуйте... Ай, самовар поставить?

От чая и угощения мы отказались: пора было выезжать.

Марьяшка стала у притолки, оглядывала нас веселым, открытым взглядом. Провожая, хлопнула Кучукова по спине.

— Оставайся, парень, на ночку! И денег с тебя не вьюму. Очень нос у тебя долгий.

Кучуков любезно ответил:

— Представьте, такое несчастье, не могу.

Мы выехали из посада к часу дня. С похмелья конвойные угрюмо молчали, но на морозе повеселели. Селезнев подсел ко мне, по обычному начал пространно рассуждать.

— Ну, что вы с этим народом поделаете! Ровным счетом ничего не поделаете с ним. Случись проверка, — не миновать суда. Прямо сказать,

не народ, а разбойники с большой дороги. Ты им только дай волю, они покажут тебе кузькину мать, они тебе наделают искурсий разных. Нет, их в рукавицах в ежовых держать надо... И подтяну, во как подтяну. Дружба дружбой, а служба службой, верно я говорю?

Я сказал, что верно-то верно, но что он, Селезнев, и сам не отстаёт от своих сослуживцев.

— Я-то, — ответил он с изумлением и даже с негодованием, — я-то? Да неужто их одних можно пустить шастать по посадкам? Никак невозможно это. За ними больше чем за арестантами смотреть надо. Отпустите их одних, они такой... церемониальный марш устроят, что звезды на небе попрячутся, — одна дыхнуть. Их не то что утром, — на третий день не сыскать. Вы про то думаете, что я с ними хожу, дак я это единственно для порядка. Слов нет, иным разом выпьешь, побалуешься, — это уж как есть, но только за ними обязательно надзор нужен. При ихней необразованной отчаянности они сокрушить могут все, как вельзевулы какие. Я их сквозь вижу; я, может быть, сто пудов соли с ними с'ел, потому есть я сверхсрочный и даже награждение имею за японскую войну.

В этапное помещение партия приехала с большим опозданием. Селезнев старательно распорядился, потребовал, чтобы хозяйка подмела пол, жарче натопила печь, но после обеда стал задумчив, долго сидел на лавке, снимал и надевал очки, курил одну за другой вонючие папиросы, наконец, заявил, ни к кому не обращаясь:

— Пойти сходить к старосте поговорить о подводах на завтрашний день. Вы, ребята, сидите без отлучки, я разом.

Когда он ушел, Настюхин мрачно заметил:

— Сказал, что пошел к старосте, а бумаг с собой не взял.

— Знаем, какие подводы ему зандобились, — в тон ему прибавил Нефедов. Наступило тяжелое молчание.

— Чтой-то жарко, и к чему так накалили печь, не погулять ли по посадку? — нерешительно предложил Настюхин. Китаев с готовностью отозвался:

— Пойдем, пошляемся, ночь-то велика.

Они оделись и ушли. Нефедов, державший караул, долго и бесцельно возился с винтовкой, оглушительно вздыхал, икал, расковырял до крови прыщ на щеке, потом подошел к Панкратову, солдатику с бледным, худым лицом и с такой тонкой шеей, что в ворота его мундира свободно умещался и его подбородок.

— Панкратов, ты посиди тут: земляка мне надо повидать. Чего тут вдвоем сидеть, — сколько не сиди, кроме винтовки, ничего не увидишь.

Панкратов ничего не ответил. Нефедов ушел. Минут через десять после его ухода Панкратов молча оделся, заглянул в наше отделение.

— Так что, товарищи, посидите тут и за казенным добром поглядите: что ж мне одному-то делать, раз все ушодши.

Он оделся не торопясь и как бы даже нехотя.

Прошло часа три-четыре, — никто из конвойных не возвращался. Мы уже укладывались спать, когда за окнами послышался шум, дверь

настежь распахнулась, в избу ввалился Селезнев, за ним — другие конвойные. Все были пьяны. Селезнев имел растерзанный вид: шапка у него с'ехала на затылок, шинель не застегнута, пояс он где-то, видимо, потерял. Он ступал тяжело, наклонив вперед голову, водил кругом остекляневшими, полубезумными глазами.

— Покоряйся, — заорал он, увидя нас и растопыривая багровые пальцы. — Покоряйся, говорю я, унтеру с двумя нашивками! Покоряйся без всякого разговору, с почтением и... сотрясением мозгов. Ппачему никто меня не слушает, ппачему не исполняют моих приказаний, рраз я вполне... интеллигентный... сверхсрочник?.. Этта что такое? На каком таким оснобании? Хочу, чтобы порядок был, чтобы все происходило по воинскому уставу и.. присяге его императорскому величеству... Замыкай на замок всех арестантов, расставляй караулы, объявляю осадное положение, запирайся в крепость и никаких гвоздей!.. А... Что я сказал?!

Он шагнул к столу, взмахнул рукой, на пол полетели со звоном кружки, хозяйские тарелки, чайники.

К Селезневу подбежал Нефедов, схватил его за руку. Лицо его горело пятнами от пьяного возбуждения.

— Ты не дури, не балуй! Чего посуду бьешь? Думаешь, старшой, так тебе изгиляться над нами дозволено! Найдем и на тебя управу. Надоел ты нам, пьяный пустобрех! Ты пошто нам покою не даешь, пошто куражишься над нами? Вот скрутим тебя, да еще морду набьем!

Селезнев с удивлением поглядел на Нефедова, внезапно озверел, дрожащим от бешенства голосом, брызжа далеко слюной и обнажая блеснувшие по-собачьи клыки, захрипел:

— Ччто такое, меня по морде, свое начальство по морде, с нашивками! Берите его под арест! Я покажу тебе, как бунты устраивать! Погодь!

Он бросился в угол, где стояли винтовки; следом за ним кинулся и Нефедов. В углу они вцепились друг в друга, сопя и рыча.

Вдруг Китаев крикнул испуганно:

— Берегись, у него ружье! Убьет!

Из-за сгрудившихся конвойных вокруг дерущихся мы не разглядели, каким образом у Селезнева в руках оказалась винтовка, но он уже держал ее на перевес, крепко сжимая приклад, дико озираясь и щерясь. На шее у него вздулась и напряжилась жила. Задыхаясь, он хрипло шептал:

— Не подходи, стрелять буду! Всех перестреляю!.. Изувечу!

Конвойные бросились в сени. Мы вбежали в арестантскую, захлопнули дверь. Самоедин полез под нары. Я, Кучуков, Климович жались в углу. У меня мелко дрожали колена.

— Никому не одобровать, — бушевал за дверью Селезнев. — Порешу начисто. Бей врагов, спасай Россию!

Гркнул выстрел. У Кучукова глаза превратились в два яичных белка. Должно быть, такие глаза были и у всех у нас. Наступила тишина. Ее пререзал истошный крик Селезнева:

— Аа-а-а-ай! Убили, братцы, убили!.. Держите!.. Смерть моя пришла!.. Спасайте!..

Мы рванули дверь. Селезнев катался по полу. Около него валялась винтовка. В избе, кроме нас и его, никого не было. Кучуков схватил винтовку, остальные бросились к Селезневу, он продолжал орать. Мы подняли его с пола, положили на скамью. Вбежали конвойные. Никаких следов крови ни на полу, ни на Селезневеве не было видно.

— Помираю! — вопил Селезнев, схватив себя за голову, суча ногами.

— Братцы, конец мой пришел.

— Да никто в тебя не стрелял, — убеждали его, — это ты сам нечаянно выстрелил, только и всего.

Нефедов протиснулся к Селезневу, серьезно и деловито ударил его кулаком по лицу, сурово пригрозил:

— Поговори у меня, в кровь изуродую, понимаешь.

Селезнев притих, некоторое время смотрел на потолок неподвижным взглядом, приподнялся, почти трезвым голосом спросил:

— А кто за казенный патрон отвечать будет? Я за казенный патрон не в ответе.

Патроны конвойным выдавались по строгому учету. Селезнева убедили, что дело как-нибудь сладится, он стал опять пьянеть, его вывели на двор. Я посоветовал для скорейшего протрезвления натереть Селезневу уши снегом.

— Натрем, как следует, — одновременно заявили со зловещинкой Нефедов и Настюхин. В самом деле, когда Селезнев возвратился в избу, уши у него стали иссиня-фиолетовыми, разбухли, мочки точно наполнились водой. Подсев к столу, он заплакал. Я решил, что Селезнев плакал от чрезмерно усердного растирания ушей, но ошибся. Старший держал в руках поломанную оправу от очков без стекол: в суматохе очки разбились. По щекам Селезнева текли крупные пьяные слезы, он вытирал их кулаком, хлюпал носом. Неизвестно, насколько все это было натурально; возможно, Селезнев несколько и «представлялся» «вполне интеллигентным». Во всяком случае, в его тоне была некоторая изнеженность.

— Не могу я без очков, — хныкал он, — у меня деликатность в глазах от бессрочной службы с двумя нашивками. Они, сиволдаи, не понимают, что глаз беречь надо: у кого лупетки, а у кого тонкость и пронзительность наскрозь. Я, может, порошки от глаз глотал и к доктору ходил, — об этом у них понятия нет. Я награждение за глаз имею. Куда я денусь без очков? Его высокоблагородие заказывали при отправке: «Гляди, — говорит, — Селезнев, в оба», а как я буду смотреть в оба, ежели я теперь без очков и ежели стеклянные колеса выскочимши из обручей и одна железка осталась...

Он крутил головой, дергал себя за волосы, продолжал бормотать. У Кучукова оказалось запасное пенснэ, он предложил его Селезневу. Селезнев полез к нему целоваться, пришел в неопишимо-восторженное состояние, по-моему, однако, отчасти искусственное.

— Милай!.. По гроб жизни буду помнить. Вот она настоящая образованность: пинсне с веревочкой, даже одевать боязно; одним словом, при полной интеллигентности. Да я теперь... скажи: Селезнев, — и... все готово!..

Он осторожно надел пенснэ и, хотя едва ли стекла приходились ему по глазам, восхищенно заявил:

— Сидят, распротуды их... прямо как у доктора какого или политика, однова дыхнуть... Сидят... как куры на нашести... и не падают... до чего люди доходят, а?

Нефедов ядовито посоветовал:

— Ты их надень лучше на уши, подходяще будет.

Кругом рассмеялись: оттянутые уши у Селезнева принимали чугунный оттенок. В пенснэ, с раздувшимися и почерневшими ушами, он казался, в самом деле, забавным.

Селезнев и конвойные скоро уснули, пересыльные долго не могли успокоиться.

— Представьте, какое несчастье случилось, — сказал Кучуков. — Они в пьяном состоянии перестрелять нас могут, как вы думаете?

Я согласился с ним.

Климович, натягивая на себя одеяло, воспользовался случаем отметить ошибки «анархо-бланкистов».

— Вот вам опора демократической диктатуры: сермяжная Русь, широкие натуры: «не гулял с кистенем я в дремучем лесу», «размахнись рука, раззудись плечо» и так далее, а, в общем, свинство.

Ногтев привстал с нар.

— Ты, баринок, крестьянство не замай, не трогай его. Ты — сам по себе, а мужики сами по себе. От ихней жизни и не того понаделаешь.

— Это, что же, Селезнев от трудной жизни едва не перестрелял сегодня нас всех?

— Я не про Селезнева. Селезнев от стада отбился, я про крестьянство.

Утром Селезнев встал с опухшим лицом, с синими ушами, с мешками под глазами и с трясущимися руками. Оправившись, он попытался обнаружить обычную распорядительность. Завел речь о том, что все надо делать «по-хорошему», «в аккурате», потому, если распуститься, то долго ли до греха. Я напомнил Селезневу о вчерашнем его поведении. Селезнев заявил, что он ничего не помнит, опять стал длинно и бестолково рассуждать: мало ли чего не бывает с человеком, быть молодцу не в укор, не всякое лыко в строку, где же и побаловаться служилому человеку как не в этапах, пытался свалить вину на других конвойных, которые поступают не по воинскому уставу: неслухи, только о том и думают, где бы налакаться. Я сказал Селезневу:

— Все-таки, Селезнев, вчера вы чуть-чуть нас не перестреляли, так не годится. Эти безобразия надо прекратить.

— Беспременно надо прекратить, — согласился Селезнев, — а я об чем говорю, об этом самом. Тут шутки плохие. Месяца два тому назад в этих самых местах проводили партию арестантов; конвойные опились, затеяли из-за девок драку, за винтовки схватились, с пьяных глаз ухлопали одного из своих, да арестанта ранили в ногу, пошли под суд. Нет, тут сурово содержать себя надо, тут...

Селезнева перебили. Случай, рассказанный им, никому из пересыльных не показался утешительным. Кучуков заявил:

— Нужно что-нибудь предпринять, чтобы вы не пошли под суд и чтобы все целы остались.

Нефедов положительно и решительно предложил:

— Винтовки надо прятать куда подальше в этапках.

Конвойные с готовностью поддержали предложение Нефедова.

— Дело говорит, запереть надо винтовки на замок по приезде.

— И чтобы ключ был на руках не у нашего брата.

— У нашего брата оставлять ключ никак невозможно.

Селезнев обиделся.

— Чудно вы говорите. У кого-же тогда ключ сохраняться будет?

Китаев, пришивавший пуговицу к шинели, поднял голову.

— Хозяйке будем отдавать.

— Хозяйке не сгодится, — возразил Нефедов. — Шут их знает, кто они такие, хозяйки-то. Нашим тоже нельзя. Придется отдавать ключи кому-нибудь из политиков. Вам и будем отдавать, — решил он, обращаясь ко мне.

— Дело говорит... верно... лучше всего, — охотно согласились с Нефедовым остальные.

Селезнев, скрывая растерянность, усиленно дул на квас в ковше, ерзал по скамье, мычал, попытался приосаниться, из этого у него ничего не вышло; наконец, и он сдался.

— А что же, это и впрямь лучше будет. Раз вы при полной интеллигентности, то можете соблюдать порядок, как и что и вообще...

Повеселев, приказал начальническим тоном:

— Постановляем в этапных избах, на остановках винтовки без разговору сдавать господину товарищу политикану Вороньскому. Винтовки приказываю запереть на замок, ключ держать во всей строгости воинской службы, никому его не давать, как имеем мы дело с казенным имуществом и как есть винтовка для солдата священная вещь, которая...

Я перебил Селезнева:

— Вам, Селезнев, я тоже ни винтовки, ни ключей давать не буду.

Селезнев обиженно, но неуверенно и смущенно попытался отстоять свои права.

— Ну, это как сказать. Между прочим, я старший конвойный.

— С надранными ушами, — ввернул кто-то из конвойных.

Присутствовавшие посмотрели на уши Селезнева, переглянулись, раздался смехок. Селезнев невольно поднес руку к левому уху, пощупал его, точно хотел убедиться, на месте ли оно, потом достал пенснэ, спустил очко со шпенька, ни к селу ни к городу пробормотал:

— Сигают на манер блохи, — видать, пружинка не нашинского производства.

— А как быть с саблями? — спросил Кучуков. — Сабли тоже надо отбирать, может случиться несчастье.

Предложение Кучукова конвойные встретили тягостным молчанием.

— Саблей тоже можно убить человека, — продолжал убеждать конвойных Кучуков.

— Еще как можно убить-то, напололам, — вдохновенно подтвердил Панкратов, вытягивая сухую и тонкую шею из-за непомерно большого и засаленного воротника.

— Сабли я буду тоже отбирать, товарищи, — заявил я твердо, заметив колебания конвойных.

— Ужасно как сигают, не нашинская пружинка, — пробормотал еще раз Селезнев, потея.

Так произошел переворот, и был установлен новый порядок. Едва мы приезжали в посад или в село, занимали этапную избу, я вызывал хозяина или хозяйку дома, спрашивал, где чулан, солдаты сдавали винтовки и сабли, я замыкал их в чулане. Выдавалось оружие лишь тогда, когда мы совершали переезд. Селезнев был доволен, утверждал, что теперь все находится «в аккурате», «по-хорошему», «по-образованному» и что он, Селезнев, умеет во время распорядиться.

Настоящего порядка, однако, не получалось. Сдавая на хранение винтовки и сабли, конвойные как-будто с облегчением чувствовали, что с их плеч снимается всякая ответственность. Лишь только мы прибывали в этапную избу, они, пообедав, отдохнув и напившись чаю, начинали шептаться о каких-то Домнах, Надюхах, Маньках, о приятелях, знакомых и земляках, подмигивали друг другу, грубовато и добродушно шутили и переругивались, одевались, уходили, иногда на всю ночь.

Давно уже были забыты караулы, давно перестали помнить, что мы — арестованные, а они — конвойные, и даже Селезневу надоело распоряжаться и разглагольствовать. По утрам мы нередко искали по посадкам наших конвойных, — мы завладели всей их немудрой канцелярией, выправляли подорожные, вступали в переговоры с ямщиками, с хозяевами этапных помещений, улаживали ссоры между солдатами. Глядя со стороны, можно было думать, что не нас, пересыльных, они «препровожают по этапу», а мы их. К загулявшим конвойным присоединялся Ногтев. Мы держались особняком. Впрочем, конвойные приносили с собой водку, с готовностью и радушно угощали нас. Благодетельный огонь разливался по жилам, охватывало радостное, головокружительное возбуждение, чувства освобождались от обычного контроля сознания, откуда-то выплывали новые ощущения, казалось, давным давно утраченные, — в них было что-то ребяческое, детское, непосредственное, как-будто мы приобретали другое «я» и снова приобщались к первоначальным истокам жизни. Наступал глубокий, глухой сон без сновидений. Утром просыпались вялые, обессиленные, неохотно поднимались с нар. Кучуков утверждал, что с ним случилось очередное несчастье, хватался за голову, словно сомневался, на месте ли она, говорил, что у него дым в глазах. Климович, который редко пользовался угощениями конвойных, осуждающе шуршал листами газет и книг, Ногтев угрюмо отмалчивался, самоедин улыбался непонятной, блуждающей улыбкой.

Иногда мы пытались заняться политическим просвещением наших конвойных, но успеха не имели. Конвойные выслушивали нас вежливо, на

первый взгляд даже внимательно, поддакивали, соглашались, сочувственно смотрели на нас, но старались перевести затем разговор на другие более житейские темы: «оно конечно», «вестимо», «известное дело», «это уж как есть», говаривали они, вздыхали, и тут же кто-нибудь из них обращался к товарищу: «Сергея, сходил бы ты полукрупки купить, полукрупка вся вышла», или «пойти поискать по посаду свежих селедок на уху, сказывают, большие теперь уловы пошли». Селезнев хитро щурился, либо принимал простоватый и дурашливый вид, твердил с неискренним изумлением: «Скажите на милость, до чего люди доходят, одно слово — политика...» Выразился он и более определенно: «Ваша правда, только не нашего ума это дело: политика — она дело вполне сурьезное, тут разобраться надо, что и к чему. Служилому человеку она не подходит».

После таких и подобных разговоров я ожесточенно спорил с Климовичем. Он доказывал, что у большевиков много народнических иллюзий. «Усадьбы палить, — на это готово ваше трудовое крестьянство, но к настоящей политической борьбе оно не способно». Я советовал Климовичу блоки с кадетами, на что он подчеркнуто спокойно соглашался. Кучуков старался примирить нас.

— Понимаете, с одной стороны, несомненная неосознанность, но с другой, знаете, эти люди симпатичные, простые...

...С некоторых пор мы, пересыльные, заметили среди конвойных какое-то непонятное нам беспокойство. Они чаще сидели по вечерам в этапах, легко раздражались, ссорились друг с другом, скрытничали, перешептывались по углам, умолкали, когда мы к ним подходили, имели сдержанный и как бы виновный вид. Скоро все разъяснилось.

Однажды Селезнев зашел к нам в арестантскую, долго нес туманную ерунду, справлялся о нашем здоровье, есть ли у нас жены, дети, родные, из каких мы губерний, уездов и волостей, наконец, смущенно промолвил:

— А что, товарищи, как ехать-то дальше? Выходит нам крышка и каюк; то-есть, — поправился он, — крышка не крышка, а... очень даже деликатное положение получается. Говорил я им, вельзевулам, в аккурате надо содержать себя, а они, известно, неслухи: ну, и доигрались, добегались, допились до полной всевозможности.

— Но в чем же дело, неужели несчастье случилось? — оживленно спросил Кучуков, вытирая очередную каплю на носу.

Селезнев отвел глаза в сторону, вверх, поводил ими по потолку, зачем-то погладил рукой доску на нарах, разом вспотел, стал еще более лопухим, не своим голосом сипло ответил:

— Положенье того... Пропились мы до тла. Казенные деньги пропили.

Пересыльным полагалось суточное содержание, жалкие гроши. Существовать на них было нельзя. У политических имелись свои деньги, тщательно зашитые в платье пред отправлением партии. Первые недели эти деньги мы и тратили в расчете, что потом казенные суточные помогут нам перебиться. Свои рубли мы уже успели израсходовать. Теперь оказалось, что казенные деньги пропиты конвоем.

— Это что же, — сказал едко Климович, — вы, г-н Селезнев, для полной интеллигентности пропили наши суточные?

— Да-с, пропили, — соболезнующе и сокрушенно согласился старший. Увидев, что его сообщение отнюдь не порадовало нас, он, повидимому, в утешение прибавил:

— Мы и свои деньги безусловно пропили.

— А хлеб? — спросил я.

В Архангельске конвойным выдали хлебный паек. Караваями хлеба была доверху нагружена их подвода. За последние дни хлеб куда-то исчез.

— И хлеб пропили, — доложил вполне объективно Селезнев. — Осталось дня на три.

— Нехорошо это, — выговорил я Селезневу.

— Чего ж тут хорошего, — вполне рассудительно поспешил опять согласиться Селезнев. — Ничего в этом хорошего нет. Упущение с вашей стороны вышло, товарищи. Когда винтовки под замок брали, обязательно нужно было вам и за казенными суммами наблюдение иметь: на то вы и образованные, а тут что — одно невежество.

Селезнев понес обычную окоlesiцу. Прекословить ему было бесполезно. Положение, однако, и вправду оказалось куда как незавидным. Итти по этапу предстояло еще недели три. Нам угрожал голод.

(Продолжение следует)

О Льве Толстом

(К столетию со дня рождения)

1828—9/IX—1928

1. П. С. КОГАН. Л. Н. Толстой.— 2. Л. ВОЙТЛОВСКИЙ.
Проблема войны и революции в произведениях Л. Н. Толстого

1. Л. Н. ТОЛСТОЙ

П. С. Коган

I

Столетию со дня рождения Толстого показало, каким благоговением окружено это имя во всем мире. Читающее человечество преклоняется перед ним. Его «юбилей» всюду рассматривается как великий праздник человеческой совести и мысли. В нем чтят не только гениального художника, но и неутомимого искателя правды, смелого обличителя лжи, лежащей в основе всего уклада современной жизни. Толстой, быть может, наиболее читаемый из великих писателей. Его произведения переведены на сорок европейских и восточных языков. Но эта беспрецедентная слава автора «Войны и Мира», неотразимое обаяние его художественного гения не могут скрыть от нас тех сторон его учения, которые неприемлемы для нашей революции, противоречат ее методам борьбы.

Но, хотя многие идеи Толстого представляются несомненно вредными с точки зрения октября, — советское правительство издает впервые полное собрание всех его сочинений.

II

Толстой вырос в обстановке родовитого барства, принадлежал к высшему дворянству. Его дед по отцу был казанским губернатором, дед по матери — генерал-аншефом при Екатерине Второй. Он рос барином и на всю жизнь не мог отрешиться вполне от тех склонностей, которые приобрел в уютной усадебной обстановке. Светлым было его детство, «все люди казались ему исключительно хорошими», — и это в те страшные годы, когда многомиллионное русское крестьянство носило позорные цепи невежества, нищеты и рабства, когда «хорошие» люди пороли на конюшнях мужиков

и прокучивали добытые их непосильным трудом богатства. Крепостное право прошло как-то мимо Толстого. Он как-будто просмотрел, что оно — основная причина окружающего его зла. В Казани в университете он учился плохо и «отдавал дань молодости», как было принято деликатно выражаться по отношению к барчукам. Не окончив университета и покинув его, он вступил в тот период своей жизни, о котором сам писал в своей «Исповеди»: «Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал... И за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так жил я десять лет!».

В этих покаянных заявлениях — вся душевная драма Толстого. Он сын класса, находящегося на последней ступени нравственного падения, класса туенядцев-эксплоататоров, которые веками привыкли к праздному существованию, благодаря подневольному труду подвластных рабов. Толстой во всей полноте использовал преимущества этого класса. Но он живет в эпоху сотрясения экономической мощи дворянства, в эпоху связанной с ним духовной опустошенности этого класса. Наступление революции экономических отношений, ломка данной экономической структуры возмущаются не только агрессивной революционной деятельностью эксплуатируемых классов, но и душевным смятением, тревожным душевным состоянием или, как обычно выражаются, «пробуждением совести» среди наиболее чутких и передовых представителей господствующего класса. Покаянное настроение, муки совести, потребность «заплатить долг народу», — это душевное состояние, как известно, было характерно не только для Толстого в ту эпоху, когда крепостной строй разрушался, а вместе с ним сотрясалась и вся система традиционных представлений о долге, морали, красоте, рушились привычные оценки достоинства человеческой личности и колебалась сложная великолепная надстройка чувств и идей, венчавшая вековую историю помещичьего господства. Все зло, существующее на земле, предстало перед «пробудившейся совестью» Толстого в форме отношений между помещиками и крестьянами. Толстой не выходит за пределы деревни. Здесь возникли его сомнения в правильности жизни, которую он вел, здесь в системе деревенского уклада искал он выхода, думал найти «правду». Город и рост индустрии остались вне поля его внимания. Идеал праведной жизни он мог вывести только из тех требований, которые сознательно или бессознательно пред'являло крестьянство. Учение Толстого было в сущности ничем иным, как идеологическим обоснованием этих требований. «Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчислить землю, создать на место полицейского классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов» (Ленин, «Лев Толстой как зеркало русской революции»).

III

Оттолкнувшись от своего класса, стремясь сбросить с себя свое барство, Толстой остался в рамках деревенских отношений и мог примкнуть только к крестьянству. Вне поля зрения остались не только город и рабочее движение, но и революционная часть крестьянства. Сожженные усадьбы и убитые помещики ничего не говорили ему. Он был идеологом той огромной крестьянской массы, которая, по выражению Ленина, «плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «хозяев» совсем в духе Льва Николаевича Толстого».

Источник художественного творчества и моральной философии Толстого скрыт в этих двух социальных фактах: сотрясении экономического положения, а вместе с тем и системы воззрений дворянства, а, с другой стороны, начавшемся оформлении требований крестьянства. Из двух сил, стоящих в поле зрения Толстого, одной он принадлежал по своему происхождению, по своим вкусам и привычкам, другая была единственным идеалом, который он мог противопоставить первой. Вся литературная деятельность Толстого есть великая автобиография, обширное повествование о том, как метался между этими двумя мирами «великий писатель земли русской». Это повесть о том, как изошренное сознание разочарованного барина приводится к крестьянской правде. Толстой пишет не о крестьянах, как таковых, он пишет о их действии на совесть людей его круга. У него есть свой исходный угол зрения: это совесть господствующих, — в сущности, это почти основная тема всех его произведений. Благодаря своему гению, своему непревзойденному умению проникать в самые глубокие тайники человеческой души, Толстой сумел расширить эту тему до небывалых пределов, озарить таким ярким светом моральный мир человеческой личности, что его творения остаются неиссякаемым источником для понимания этой «вечной» проблемы. Мы знаем относительный характер всех проблем, знаем, что они возникают в зависимости от условий момента. Но уже Маркс указал на то, что среди меняющихся форм общественных отношений есть черты, присущие всем социальным структурам на протяжении всего известного нам периода человеческой истории. Таким признаком является, например, эксплуатация человека человеком, общая эпохе и рабства, и крепостничества, и наемного труда. И в человеческом сознании, и в отражающей его изменения литературе такие проблемы остаются «вечными» и будут оставаться таковыми, пока человечество не вступит в эру коммунизма, и эксплуатация станет историческим воспоминанием. В этом смысле вечен и Толстой. На тех формах эксплуатации, которые застали его, Толстой озарил нравственную трагедию, сопровождающую все эпохи больших экономических переломов.

Все его произведения, повторяем, написаны на одну эту тему, достаточно обширную для того, чтобы занять жизнь великого писателя. Начиная с Николеньки Иртеньева и кончая Нехлюдовым из «Воскресения», перед нами длинная галерея баловней судьбы, ищущих правды, бегущих от того, что считается «настоящей» жизнью в их среде, — деклассированных героев, не находящих себе места, не умеющих до конца примкнуть к чужому классу, потому

что нельзя оставаться баринком по образу жизни, по своему имущественному положению и стать крестьянином по своим идеалам. Когда Николенька впервые серьезно задумался над жизнью, когда он увидел людей, не обращающих на него никакого внимания, он не сделал и не мог сделать всех выводов, которые вытекали из его наблюдений. Почувствовав, что пробудившемуся уму не могло дать удовлетворения служение пустым и призрачным идеалам светского общества, он занялся самоанализом, внутренней работой над своим сознанием и своей совестью — вместо того, чтобы искать тех, кто уже в те времена сознавал, что все дело в устранении основной причины зла, в борьбе против крепостного права, в коренном изменении социальных отношений. Ум барчонка, хотя и совестливого, с молоком матери всосал идею незыблемости своих привилегий, и, рассказав историю Натальи Саввишны, этой живой иллюстрации к известному афоризму: «Рабы теряют все, даже желание сбросить свои цепи», Иртеньев заканчивает свою повесть такими словами: «Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся ее жизнь была любовью и самопожертвованием. Я так привык к ее бескорыстной нежной любви к нам, что и не воображал, что это могло быть иначе, нисколько не был ей благодарен и никогда не задавал себе вопроса: «А что, счастлива ли она? Довольна ли?». Здесь впервые противопоставлены друг другу два сознания: мятущееся, лишенное твердой опоры сознание совестливого барина и твердое, не знающее сомнений крестьянское сознание с естественным представлением о долге, о задачах жизни, о своем отношении к окружающему миру. Наталья Саввишна не думает о каких-нибудь изменениях. Она безраздумно принимает и просто выполняет то, что возложено на нее судьбой, она не анализирует и не критикует. Ей поручено хранить барское добро и служить господам, ей в голову не придет спросить себя, почему она должна принести себя в жертву жестоким эксплуататорам и благословлять этих самодовольных эгоистов. Вывод Толстого: Иртеньев должен притти к правде Натальи Саввишны, к этому отречению от излишеств, от страстей, от самонадеянного вмешательства в чужую жизнь, от наивной веры в то, что человек может взять на себя «дело бога» — устройство жизни других людей.

IV

Та же антитеза и тот же вывод в «Утре помещика». Та же ирония по отношению к тем, кого Толстой называл общим именем «мы, богатые, ученые», и то же преклонение перед мужицкой правдой. Нехлюдов — разновидность Иртеньева, Чурис — Натальи Саввишны. Нехлюдов, богатый барин, хочет устроить счастье своих крестьян. Жизнь разбивает его иллюзии. В консерватизме, в бедности крестьян, в их спаянности с бытом, с полуразвалившимися избами, грозящими обвалом, есть мудрость, есть твердые устои. Барская затея разбивается об эти устои. «Человеческие» условия жизни, которые Нехлюдов хотел предоставить своим крестьянам, им не нужны, красивым каменным избам они предпочитают свое «заведение мужицкое, тут искони заведенное». И совет, преподанный автором Нехлюдову, напоминает вывод

его трилогии. Ясно представил себе Нехлюдов тройку потных лошадей и красивую сильную фигуру Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Простором и волей дышит жизнь ямщика. Тройки, несущиеся мимо с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком, постоялые дворы с белыми широкогрудыми хозяйками, поэзия ночлегов под открытым небом,— вот, что хотел отнять он у Илюшки во имя чуждых ему предприятий, рожденных в культурном уме барина. «Зачем он не Илюшка?». Не учить народ, не переделывать его жизнь на свой культурный лад, а учиться у него, смириться перед правдой, — вот, что рекомендует Толстой людям своего круга.

Каждое следующее произведение Толстого есть развитие и углубление этой же темы. Мы уже назвали все творчество Толстого его обширной автобиографией. Обогащаясь новыми впечатлениями, Толстой вносил в них тревогу своей совести, постоянно захватывая в круг своего внимания все новые сюжеты. Оленин и казаки (в повести «Казаки») — это снова противопоставленные друг другу ложная светская и естественная примитивная жизнь. «Ах, зачем я не Илюшка?» думал Нехлюдов. «Вот ежели бы я мог сделаться казаком Лукашкой, — думал Оленин, — красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночьку, без мысли о том, кто я и зачем я, — тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастливым». Но на нем, как и на всех великосветских героях Толстого, тяжелыми гири повисли предрассудки и привычки его класса, и он не в силах забыть своего «сложного уродливого, негармоничного прошедшего».

Ранние повести Толстого были как бы подготовкой к его грандиозной эпопее «Война и Мир», где проблема морали, проблема столкнувшихся двух нравственных стихий разработана в масштабе мирового сюжета. Наполеон и Россия — не только воюющие физические силы. Это — борьба двух принципов, двух систем действия, двух исключаящих друг друга подходов к назначению человека. Здесь не отдельные герои, здесь огромные массы, два сложных мира, воплощающих во всей глубине любимую антитезу Толстого. Наполеон — образ самонадеянной личности, наивно уверенной в своей мощи и в своем праве организовывать жизнь людей, устроить их судьбу. Это — апофеоз индивидуализма, последняя вершина, на которую способна взобраться человеческая гордость. Наполеону противопоставлены Каратаев, Кутузов, Тушин, солдаты, наконец,— весь русский народ (крестьянство), как носители противоположного начала, как воплощение толстовского идеала смирения и коллективизма, как люди правильных действий, правильной жизни и правильного отношения к своему долгу. В противоположность Наполеону Кутузов знает, что не дело отдельной личности вершить судьбы человечества. «Он ничего не придумает, ничего не предпримет, но он все выслушает, все запомнит, все поставит на место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, — это неизбежный ход событий; и он умеет видеть, умеет понимать их значение и, в виду этого значения, умеет отречься от участия в этих

событиях, от своей личной воли, направленной на другое». Свой любимый образ носителя крестьянской правды Толстой раздробил на этот раз на ряд образов. Он показал его в каждом солдате, в особенности в Платоне Каратаеве, который, по справедливости, считается наиболее глубоким и ярким воплощением нравственных идеалов Толстого.

И другой мотив своих рассказов, повесть о том, как замученный анализом интеллигент-аристократ приходит к народной правде, здесь разработан автором в сложной истории душевного развития двух героев романа — Андрея Болконского и Пьера Безухова. Андрей начал с преклонения перед Наполеоном, с зависти этому гордому ничтожеству, его эфемерному могуществу и величию, начал с идеала самонадеянной личности, суетного тщеславия и честолюбия и кончил гимном любви: «Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что я люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Пьера к праведной жизни приводит Платон Каратаев. «Он долго, — говорит Толстой, — в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собой, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, он искал этого в филантропии, в масонстве, рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе, он искал этого путем мысли, — и все эти искания и попытки, все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве».

V

Толстой до конца остается верным себе. В центре его внимания всегда внутренний мир аристократа. Крестьянство для него не социальная категория, не самостоятельный мир, в природу которого он проникает независимо от своего круга. Он видит крестьянина только в его отношении к барину. Можно подумать, что и важен и ценен для него крестьянин только потому, что он служит к исправлению барина, что он является оздоравливающей силой для испорченного великосветского общества. Еще пятьдесят лет тому назад предтеча марксистской критики Ткачев, хотя и в преувеличенно резкой форме, но по существу правильно отметил эту черту в произведениях Толстого. «Все герои романа Толстого «Анна Каренина»: Левины, Вронские, Облонские, Каренины и т. д., — говорит Ткачев, — люди, обеспеченные материальным довольством, довольно ограниченные в своем нравственном и умственном развитии, заняты исключительно личными интересами, живут вне потока общего жизненного движения, не ощущают на своем моральном и умственном складе никаких влияний времени или, если и ощущают, то стараются отнестись к этим влияниям как к пустякам, не имеющим существенного значения». Один из любимейших героев Толстого, «сельский дворянин» Левин, хотя и предан целиком заботам сельского хозяйства, но они для него «не особенно тяжёлы и, кажется, служат больше развлечением, чем в самом

деле насущным жизненным трудом». Ведение хозяйства не есть для Левина работа, которой он должен поддерживать существование. Она — приятное препровождение времени, притом не установившееся, бессистемное, имеющее в себе прелесть эстетических ощущений.

Несмотря на резкость критика, не видящего в творениях Толстого их положительных ценностей, Ткачев по существу прав. «Опростившиеся» герои Толстого — не крестьяне и не могут стать крестьянами, потому что они обеспечены, для них крестьянский труд не представляется жизненной необходимостью. Ход событий давно уже подтвердил несостоятельность социальных идеалов Толстого. История не последовала за его указаниями. Русский народ не пошел на выучку к Каратаевым и Акимам. Не смирение, не покорное выполнение всякого жизненного задания, каково бы оно ни было, являются лозунгом нашего дня. Следующее за смертью Толстого десятилетие развернулось под иными лозунгами. Непреклонная борьба за переустройство жизни, насильственное ниспровержение капиталистического порядка, построенного на эксплуатации, действительная передача земли и орудий производства трудящимся, — таковы лозунги, с которыми выступил пролетариат.

Обаяние учения Толстого, конечно, не в его утопической проповеди, не в содержании этой проповеди, не в методах, предлагаемых им, не в смирении или пассивном «неделании». Обаяние его творчества — в огромной нравственной силе, в неутомимом искании правды, в неустанной напряженной работе великого ума и совести, в суровом отношении к себе, в постоянном стремлении к нравственному усовершенствованию. Именно это свойство Толстого позволило Плеханову говорить о любви к нему «отсюда и досюда»: Есть нечто, за что и мы можем не только принять Толстого, но и признать его великую ценность для нас. Между великими утопистами и революционной практикой есть известное сродство. Толстой порицал всякого поднимающего меч, независимо от того, находится ли этот меч в руках царского палача или революционера. Но его обличительное слово попадает, однако, в цель только тогда, когда направлено против меча в руках деспота. Оно не страшно тому, кто идет с мечом против деспотизма. Сам Толстой знал, что есть разница между смертной казнью, произведенной царскими тюремщиками, и убийством, совершенным террористом. Кто ищет отвлеченного «общечеловеческого» идеала, тот рано или поздно где-то встретится с теми, кто ведет планомерную, — пусть кровавую, — борьбу за эти идеалы. Когда в настоящее время перечитываешь публицистические и философские произведения Толстого, его проповедь, направленная против революции, его религиозные и «опростительские» идеалы, его «неделание» кажутся бледными и безвредными. Но зато могучим и действенным остается его обличительное слово, направленное против всех форм эксплуатации, против эгоизма и морального падения господствующих классов. И ревом революционной трубы звучат те слова, в которых изображает он потрясающие картины нищеты и страданий эксплуатируемого большинства. С Кавказа Толстой писал своим знакомым: «Как вы мне все гадки и жалки... Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с припома-

женными волосами над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно невеличкие губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет в гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыносимо гадко... Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится все, что вы говорите и думаете, все ваши желания счастья и за меня и за себя».

Толстой двулик. Определение границ «отсюда и досюда» — одна из важнейших проблем толстовского мирозерцания. Мы имеем ее авторитетное разрешение в следующих строках Ленина, указывающих пролетариату путь использования великого литературного наследия, оставленного творцом «Войны и Мира»: «Умер Толстой, и отошла в прошлое дореволюционная Россия, слабость и бессилие которой выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат. Он раз'яснит массам трудящихся и эксплуатируемых значение толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности не для того, чтобы массы ограничивались самоусовершенствованием и вздыханием о божеской жизни, а для того, чтобы они поднялись для нанесения нового удара царской монархии и помещицкому землевладению, которые в 1905 году были только слегка надломаны и которые надо уничтожить. Он раз'яснит массам толстовскую критику капитализма не для того, чтобы массы ограничились проклятием по адресу капитала и власти денег, а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу своей жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания капитализма, научились спланировать в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество, без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком».

2. ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО ¹⁾

Л. Войтоловский

«...Нерадивым и политически пассивным надо признать человека, который искажает самую сущность марксистской критики, боясь громким голосом произнести результат своего добросовестного социального анализа».

А. Луначарский. «Тезисы о задачах марксистской критики».

Во всей мировой литературе, по единодушному признанию самых выдающихся художников слова, опрошенных специальной анкетой вскоре после смерти Толстого, нет произведения равного по своей художественной значи-

¹⁾ Для настоящей статьи частично использован наш труд «История русской литературы». (Т. 1, ГИЗ).

тельности роману «Война и Мир». «Исполинские образы этого грандиознейшего памятника искусства давно переросли их национальное содержание», — писал американец Вильям Ллойд Гаррисон. «Все уже отказались считать его иностранцем», — заявил Виктор Маргерит. Он — не русский, а гражданин мира, — повторяли на разных языках единогласно и дружно бельгийцы, итальянцы и немцы. Ярко и образно выражена эта мысль японским писателем Наоши Като:

«Его душа, подобно звезде, не любит жить в одиночестве... И все мы со всех концов земли взволнованно следим за каждым трепетанием его духа, уподобляясь самому смелому из его героев Андрею Болконскому, когда тот, раненый на поле сражения, ловил блуждающим взором далекий свет далекой звезды, будившей в его потухающем сознании сотни светлых и волнующих мыслей о жизни и смерти...»

Однако, по компетентному отзыву русской академической критики, за романом «Война и Мир» установилась прочная репутация «национальнейшего из национальных произведений». Образы «Войны и Мира» помогли Толстому раскрыть всю глубину своих воззрений именно потому, что в них отразилась «квинт-эссенция национального духа». «Война и Мир» — писали в порыве увлечения даже некоторые марксисты — это поистине наш национальный эпос, отразивший в себе всю Россию, — со всеми ее сословиями, национальными типами и душевными особенностями, со всеми ее полями, дубравами, со всем русским раздольем, тоской и ширью.

Произведение это, — указывали другие, — носит характер сугубо патристический и автобиографический, построенный на мемуарах и личных воспоминаниях ближайших родственников Толстого, и так как Толстой, автор «Войны и Мира», говорил от имени всех своих сановных и родовых предков, стоявших все время у кормила правления, и, таким образом, естественно отражал в себе правящую Россию, то в созданных им темах и образах заодно отразились не только бытовые, но и все духовные черты и особенности национального русского уклада. Это и делает Л. Толстого, по утверждению покойного академика Д. Н. Овсянко-Куликовского, писателем «самым русским» и роман его «Война и Мир» — произведением «самым национальным».

Роковой датой «Отечественной войны» выставляется 12 июня 1812 года, день, когда Наполеон, по словам тогдашних историков, неожиданно для всех и вопреки всем стратегическим и дипломатическим соображениям, отдал приказ о наступлении, и великая французская армия перешла границы России.

Что же двинуло эти потоки людей? Отчего сотни тысяч народу, отрекшись от своих человеческих чувств, с запада на восток, через всю Европу ринулись друг на друга и шли, шли среди грабежей и поджогов, убивая, воруя, обманывая и совершая тысячи преступлений с таким радостным выражением на лице? Была ли эта война неизбежна и почему? Что увлекло на этот рискованный путь Наполеона?

Существуют сотни ответов на эти вопросы. Политики, стратеги, ученые растолкуют нам каждый на свой лад, как две огромные человеческие лавины, стоящие двумя враждебными лагерями друг против друга, осуществляют задачи полководцев и дипломатов. И чем больше времени протекло от начала

исторического события, тем больше путаницы и наивной уверенности вносят историки. Каждое поколение изобличает в ошибках и заблуждениях своих предшественников, будучи твердо уверено, что указанная им причина и является самой важной. Каждое поколение по-своему оценивает потоки крови и жизнь отдельного человека и смотрит на поля сражений с точки зрения своих моральных и политических идеалов.

Наше революционное время как-раз переживает такую эпоху решительных классовых переоценок. Мы ищем причины исторических фактов не в титанических действиях отдельных героев, а в коллективном творчестве масс. Для нас тщеславие, ненависть, национальные предрассудки сами по себе не могут служить источником кровавых раздоров. Странники диалектического образа мыслей, марксисты и ленинцы, мы не поверим, чтобы разлад между Наполеоном и Александром I мог создать отечественную войну. Нас не убедят, что стоило бы только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку, что стоило бы только Наполеону «возвратить герцогство герцогу Ольденбургскому, и войны не было бы. Наша мысль проникает гораздо дальше. Как в царстве природы все великое вырастает из земли, так и в истории — для нас — все великие события берут начало в недрах коллективного духа и коллективной воли. Масса, толпа, презираемая «дворянами» всех мастей, «чернь» — вот подлинная мастерская истории и всего человеческого творчества. Тут рождаются гении и великие реформаторы, тут зреют войны, победы и мировые события, и всякая цивилизация сгнивает и умирает, если она только не получает новой жизни из этих подпочвенных слоев.

С нашей революционно-социалистической точки зрения переход Наполеона через Неман является событием, predetermined всем ходом тогдашней истории, и Наполеон служил помимо собственной воли орудием для достижения определенных общечеловеческих целей. Его действия совпадали в своих планах с действиями, намерениями и желаниями миллионов трудового крестьянства и tiers état — так называемого «третьего сословия» французской буржуазии и только благодаря этому получили историческое значение. Наполеон «взлетел к славе» на гребне могучей волны, под напором новых экономических сил. Такова вера нашего социалистического века, который гордится тем, что снял «героев» с их высоких театрально-буржуазных котурнов и восстановил рабоче-крестьянские массы в их законных, ограбленных буржуазной наукой правах. С этой точки зрения каждая отдельная личность является законной и неотделимой частицей истории, неразрывно связанной с классовой родословной великих событий и великих «героев». И оттого для нас истолкование исторических фактов перестало носить характер анекдотической биографии Наполеонов и Меттернихов, перестало служить ареной для отважного сочинительства клакеров и выдумщиков, выдающих свои безответственные фантазии за действия и планы исторических личностей. Каждое историческое событие имеет не свободное, а экономическим детерминизмом исторических фактов предудказанное значение; и в этом смысле роль Наполеона в истории является такой же неизбежной деталью, как и роль последнего из его мамелюков.

И вот чрезвычайно интересно, что формально на этой же точке зрения стоит и Толстой в «Войне и Мире».

«Для нас, потомков, неисториков, не увлеченных процессом изыскания, — говорит Толстой, — и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел итти на службу, и не захотел бы другой и третий, и тысячный капрал и солдат, на столько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского, и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции, и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и т. д. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало-быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И следовательно ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться... Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось,—были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей, и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин».

Итак, выражаясь словами Толстого, ничто не причина. Люди запада двигались на восток и убивали друг друга, подчиненные каким-то неизбежным законам. Событие совершилось, потому что должно было совершиться, и по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин: и герцог Ольденбургский, и Пруссия, и английские интриги, и дипломатические переговоры, и почести в Дрездене, и расходы по содержанию армии, и потребность приобретения таких выгод, которые окупали бы эти расходы, и привычка к войне и т. д., и т. д. Все это

сплелось, перепуталось и развернулось произвольным — в историческом смысле — ходом отечественной войны. Потому что ход исторического процесса не знает разрозненных явлений. Потому что на ткацком станке истории из всего этого множества дипломатических, политических и психологических причин прядется одна — единая, цельная и неразрывная нить, которая называется жизнью человечества.

Казалось бы, что если действия совершались отнюдь не по воле тех, «от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершалось или не совершалось», и если действия Александра и Наполеона «были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору», то, оставаясь на почве реального истолкования непреложной действительности, Толстому надлежало глубоко призадуматься над многим... Но тут обрывается формальное сближение между историческим фатализмом Толстого и экономической необходимостью в понимании исторического материализма. Оружие критики выпадает из рук гениального художника. Еще далекий от той колоссальной внутренней ломки, которой продиктованы были Толстому «Исповедь» и «В чем моя вера», автор «Войны и Мира» пишет — после некоторого пессимистического раздумья — своему другу, певцу беспечальных очарований на лоне «беспечальной, бесстрадальной» феодальной старины — А. Фету:

«... Теперь лето, и прелестное лето, и я, как обыкновенно, ошалевая от жизни и... забываю свою работу...»

Оружие критики притупляется, и у «ошалевшего от жизни» Толстого слагается пантеистически-беспечальное мировоззрение, родственное поэзии Фета; создается та философия, которой крепко проникнуты все любимые герои Толстого, и основной итог которой выражается у Толстого так:

Весь мир, вся вселенная — это одна великая и светлая тайна, к постижению которой восторженно устремляется человеческая мысль. И чем глубже проникает последняя в сердце природы, тем радостнее «ошалевает от жизни» человек, тем ближе он к познанию бога. Ибо жизнь есть бог, таящий в недрах своих могучее всеисцеляющее средство — для всех немудрствующих лукаво. Блаженны кроткие духом: им уготован мир после всех страданий войны. Но горе мятежникам и протестантам!

* * *

Таким безумным мятежником, «ассирийским царем Ассархадонем», который «завоевал 23 царства и разорил все города этих царств, и сжег их, и всех воинов перебил, отрубив им руки и ноги», — рисуется Толстому Наполеон.

Наполеон был герольдом тогдашней демократии. В лице Наполеона и его завоевательных планов демократия вносила в жизнь новые пароли и лозунги и торжествовала свою великую победу над миром. И сам Наполеон отлично сознавал свою миссию и с гордостью говорил о себе:

«Я не император одних солдат, я — император крестьян и плебеев»...

Над ратными подвигами, над великим воодушевлением и неустрашимостью его гвардии царил дух предприимчивой промышленности, дух третьего

сословия, из рядов которого вышел Наполеон. Имя Наполеона сделалось тайным революционным лозунгом для закрепощенных народов, вернее, для тех его классов и групп, которые только ждали сигнала, чтобы выступить на сцену. И оттого так легко под знамена с французскими орлами стекались все элементы этого всемирного «промышленного братства».

Под грозное буханье наполеоновских пушек падали сильнейшие твердины европейской реакции. Старый мир силой оружия хотел отбить нашествие новых идеалов и собрал «священный союз» из всех феодальных властителей Европы, чтобы бороться с Наполеоном. Но он с улыбкой бросал в неприятельские армии свою магическую взрывчатую фразу: «я—император плееев», — и толпы неаполитанских, тосканских, баварских, австрийских, голландских, польских, албанских, португальских солдат с радостью устремлялись за ним, скованные теперь одною общею цепью — желанием свободы. Наполеоновский порох, — как иронически говорили тогда, — обладал умением внушать самые дерзкие мысли о праве и справедливости, и ружье немецкого бюргера начинало стрелять так же метко, как и ружье помещика-феодала.

То, что в 1805 году носило название Наполеон и Винценгероде, а в 1807 году называлось Наполеон и Беннингсен, то в 1812 году получило название — Наполеон и Кутузов. Но по своему социально-политическому смыслу, на всем протяжении наполеоновских походов это было вооруженное столкновение между отживающим натуральным хозяйством крепостника и новой промышленной Европой. Французское дворянство — в лице эмигрантов — уже успело внушить к себе серьезное недоверие не только в Европе, но и в России. По словам историка А. Сореля, «французское дворянство в лице эмиграции повезло с собой за границу напоказ все свое убожество, являя собою наглядные причины своего вырождения и упадочности... Чваңливые, бездарные и продажные, они в изгнании выказывают такую же неспособность управлять собою, какую выказали ранее в управлении государственными делами... Беззаботно и бесстыдно подтрунивая над своей окруженной опасностями «заразительной родиной», они беззастенчиво строили воинственные планы, как приколоть штыками реакционной Европы «взбесившуюся Францию» ¹⁾).

Столкновение Александра I с Наполеоном в 1812 году для многих в России конкретно поставило вопрос о выборе между феодальным самодержавием и «безумством французских идей». Смысл этого выбора давно был понятен российскому дворянству и красноречиво подчеркивался судьбою «таможенного советника» Радищева и друга его И. П. Пнина, издателя «С.-Петербургского журнала» и автора книги «Опыт о просвещении относительно к России». Однако 1812-й год для многих по-новому осветил не столько личность А. Н. Радищева, сколько с о д е р ж а н и е его книги и лицемерное, лживое поведение царицы и царской опричнины. Несмотря на все свое преклонение перед Руссо и Вольтером, екатерининские вольтерьянцы свирепо обрушились на книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», охарактеризовав ее, как наглую «проповедь бунта против помещиков, напол-

¹⁾ Цитир. по кн. М. Балабанова: «Россия и Великая Фр. Революция», изд. 2-е.

ненную защитой крестьян, зарезавших помещиков» (из отзыва кн. Безбородко). А сама Екатерина подсказала суду расправу с «сочинителем оной книги», выразив свою «монаршую волю» в «Примечаниях» к книге Радищева, где последний именуется «бунтовщиком хуже Пугачева». Быть на стороне Наполеона — это означало быть заодно с Радищевым, с революцией, провозгласить себя открыто сторонником мятежа. Это раскололо дворянство на множество группировок, в достаточной степени отразившихся в записках, письмах и художественных произведениях, связанных с эпохой 1812 года. Сам Александр I в письме на имя вел. кн. Екатерины Павловны в разгар неудач писал:

«Чтобы быть справедливым, должен признать, что ничего нет удивительного в моих неудачах, когда я не имею хороших помощников, терплю недостатков в деятелях по всем частям, призван вести такую громадную машину в такое ужасное время и против врага, адски вероломного и высоко талантливого, которого поддерживают соединенные силы всей Европы и множество даровитых людей, образовавшихся за 20 лет войны и революции».

И далее, обращаясь к характеристике наших военачальников, он в том же письме высказывается в следующих решительных выражениях:

«В Петербурге я нашел всех за назначение главнокомандующим старика Кутузова: это было единодушное желание. То, что я знаю об этом человеке (отчасти вспоминая то, что произошло в Аустерлице от лживого характера Кутузова), заставляло меня сначала противиться его назначению; но когда Растопчин в своем письме от 5 августа известил меня, что и в Москве все за Кутузова, не считая Барклая и Багратиона годными для главного начальства, и когда, как нарочно, Барклай делал глупость за глупостью под Смоленском, мне не оставалось ничего другого, как сдаться на общее желание. И в настоящую минуту я думаю, что при обстоятельствах, в которых мы находились, мне нельзя было не выбрать из трех, одинаково неподходящих в главнокомандующие генералов, того, за которого были все».

Что касается самого дворянства, на волю которого ссылается в этом письме Александр I, то оно обнаруживало в своих настроениях самую пеструю неустойчивость. В кругах, ближайших к театру военных действий, царил нескрываемый ужас. Но тем смелее взлеты патриотического духа в столичных гостиных, которые все наполнялись самыми отчаянными французодами.

«Кто, — рассказывает Пушкин, — высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр; кто отказался от лафита, а принял за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедывать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни».

Дамы в своем аховом патриотизме зашли еще дальше. «Многие из них, почти все, — по словам Ф. Вигеля, — оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки, а, поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались».

Обязанность вооружать этой антипатией к французам столичные гостиные взял на себя тогдашний московский генерал-губернатор граф Растопчин. Он почти ежедневно выпускал «шутовские афишки», написанные каким-то

особенным, якобы простонародным слогом, который современник Раstopчина А. Бестужев-Рюмин в своем «Описании происшествий 1812 года» с раздражением именует «пошлым и площадным», а купец Маракуев в своих «Воспоминаниях» называет «глупыми прокламациями, написанными языком деревенских баб».

Французам приписывались самые гнусные привычки, Наполеон именовался «зловредной гадиной», а неприятельскую армию храбро забрасывали шапками на каждой странице. Впереди всей этой громокипящей армады шел «Русский Вестник» под редакцией С. Глинки, заподозривавшего в антинациональных симпатиях каждого, кто отказывался подтягивать их шовинистические арии или кто пытался заметить, что французы совсем не так тупы. Но таких смельчаков было не особенно много.

Между тем русская армия все отступала и отступала. В рядах происходил обычный в таких случаях внутренний разлад. Багратион доносил на Барклая, Беннингсен — на Кутузова. Требования главнокомандующего не исполнялись. И русское общество, прислушиваясь и вникая, стало понемногу выходить из-под шутовской опеки растопчинских афишек. Появилось много недовольных, фрондирующих дворян. В светских гостиных дамы освободились от кокошников, а мужчины с самым азартным озлоблением распевали сатирические куплеты на чистокровном французском языке:

Vive l'état militaire
Qui promet à nos souhaits,
Les retraits en temps de gerre,
Les parades en temps de paix!

(Да здравствует военное сословие, которое сулит нам о т с т у п л е н и я во время войны и п а р а д ы во время мира).

Конечно, большинство этих доморощенных якобинцев исправнейшим образом получало свой дворянский пенсiон и вне критики правительственных неудач исполнено было самой высокой благонамеренности. Но начальству не прощалось ни малейшего промаха. Толстой обессмертил одного из таких якобинцев в лице бывшего исправника, который при всякой новой неудаче в войсках с жаром кричал:

«— Ведь это не шутки шутить... Хорошо, кто один. Одна голова и бедна — так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество... Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после 'этого?.. Эх, перевешал бы разбойников...

— Да ну, будет, — успокаивал знакомый дворянин.

— А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, — сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча».

Но были и такие, у которых недовольство и ропот принимали совершенно иной характер. Смысл этого недовольства и источники, которыми оно питалось, ясно указаны в воспоминаниях декабристов А. Бестужева, И. Якушкина, кн. Г. Волконского и др. В головах отдельных мечтателей зародились надежды, что начавшееся пробуждение составит важный период в политической жизни страны. Открыто разбирались главные язвы России: закоснелое

невежество народа, крепостное состояние, повсеместное лихоимство, грабительство, неуважение к человеческой личности; и, не встречая отпора со стороны начальства, в присутствии которого велись такие беседы, молодежь искренне верила в неизбежность и близкое осуществление предстоящих реформ.

Для всей этой молодежи Наполеон не был демоном разрушения, каким изображали его всешутейшие растопчинские афишки. Но она испытывала к Наполеону какое-то смешанное чувство. С одной стороны, Наполеон являлся в ее глазах прямым олицетворением всех мятежных и воинских доблестей, и она преклонялась перед его героической натурой, простершей смелые руки к владычеству над миром, для расправы с тиранией. Она угадывала в нем виновника тех лучших дней, которые предстояло пережить России, и мирилась с его своеволием, жестокостью и гордой самоуверенностью революционного победителя. Но была и другая сторона, с которой было труднее мириться. Освободительные силы войны тонули в ее разрушительной работе. Это была борьба России с Наполеоном, столкновение родины с неприятелем; и ряд униительных поражений подсказывал молодежи сложные, смешанные чувства.

Вся эта двойственная психология превосходно изображена Толстым в лице Андрея Болконского. Томимый честолюбивыми замыслами Болконский мечтает сделаться Наполеоном России, чтобы подобно последнему влиять на исторические судьбы своей родины. Ему грезятся сложные опасности, смелые планы, сражения, героические усилия и героические победы, делающие его народным героем и ставящие его во главе управления Россией. Но события идут своим независимым ходом и помимо воли Болконского подчиняют его своему неотвратимому, роковому могуществу, своей неизбежной необходимости. Болконский чувствует себя пленником какого-то «общего движения», и вера в способность отдельного лица управлять судьбою событий начинает казаться Болконскому наивным ребячеством. От этих мыслей тускнеет и блекнет в его глазах героическое величие Наполеона. Болконский начинает присматриваться к Кутузову и вскоре приходит к выводу, что вся сила его заключается в том, что он познал тщету героических усилий и давно подчинил свою личность чему-то, что «сильнее и значительнее» его собственной воли.

«У него не будет ничего своего, — думал про него князь Андрей. — Он ничего не придумает, ничего не предпримет, но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли — э т о н е и з б е ж н ы й х о д с о б ы т и й; и он умеет видеть, умеет понимать их значение и, в виду этого значения, умеет отречься от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое».

В той нравственной работе, которая совершается в душе Андрея Болконского, есть много привнесенного самим Толстым.

* * *

«Спросит нас Запад, что великое и мятежное мы вынесли из тайников нашего духа? И мы укажем на Толстого, и этого будет достаточно». Так

писал один из величайших противников Толстого, сам потрясатель основ и мятежник — Достоевский.

«Толстой был в известном смысле новатором необычайной силы, и по сравнению с ним революционный социализм кажется банальным и робким», — писал вскоре после смерти Толстого Жан Жорес.

Но решительнее всех заявляет об этом Ленин:

«Толстой — зеркало русской революции».

И тут же, во избежание всяких неясностей и кривотолков, бросает в сторону скептиков:

«Сопоставление имени великого художника с революцией, которую он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным» (курсив мой. *Л. В.*). И действительно, прибавим мы от себя, какой уж он — Лев Толстой — революционер? Разве мы не знаем, что среди всех многочисленных тем, привлекавших к себе Толстого, только тема о революции совсем не занимала его. Он писал так жадно, «ошалевая от жизни», о чем и о ком угодно: о любви, о войне, о смерти, о подлецах, о купцах, о помещиках, о деревенских бабах, о пленках, о водке, о фальшивом купоне, о чертополохе, о деревьях, о скачках, об умирающей лошади, о маркерах, о разбойниках, — нет такой темы, к которой не потянулся бы огромный и жадный писательский инстинкт этого жизнелюбца-художника, нет того уголка на земле и в душе человека, которого не осветил бы изнутри и снаружи потайной фонарь его магического всепожирающего пера. А декабристов — Пестеля, Рылеева, Бестужева, — а Пушкина, Орлова, Раевского Толстой... не заметил. И надо сказать всю правду: умышленно обошел. Он вспомнил о каждой мелочи прошлого в «Войне и Мире», с любовным умилением рассказал он о том, как пьянствуют гусары, и как ворует изюм у мамы Петя Ростов, и как любит Наташа пожелтевшей пленкой, вылизал каждую подробность и каждый пустячок. А когда подошел к поездке Пьера Безухова к декабристам, когда предстал перед ним вопрос о восстании на Сенатской площади, и надо было реализовать сон Николеньки Болконского — о его расправе с бунтующим офицерством, когда необходимо было столкнуть лицом к лицу любимых героев Толстого с нелюбимыми им революционерами, он оборвал свой роман и поставил точку... навсегда. Сорок лет носился Толстой с планом романа «Декабристы». Изучал, копался, подбирал главу за главой. Бросал и опять возвращался к этой теме. И всего успел написать несколько набросков, полных ядовитой иронии и нескрываемой антипатии к революции. Ездил к Прудону и Герцену и в то же время систематически высмеивал малейшие проблески общественной оппозиции. Вспомните его ядовитые насмешки над либералами и славянофилами в «Анне Карениной». Вспомните, с каким упоением он развенчал Петра Первого, и Пушкина, и Шекспира, как издевательски грубо говорит он об алкоголизме и сифилисе Петра Великого, о «революционном фразерстве» Александра Пушкина. Во что превратилась под его пером курсистка-революционерка Халтюпкина (одна фамилия чего стоит!)? И если говорить до конца, то ведь он раз навсегда провел железную черту, отделяющую революционеров от всего остального мира, и провозгласил в своих рома-

нах: все, что отмечено знаком революции, обречено на неизбежную гибель. Ибо, что такое «Война и Мир», как не увенчание торжествующего консерватизма? Счастье дается только людям, не мудрствующим лукаво, только Ростовым, Денисовым и Куракиным, т. е. тем, которые едят, пьют, целуются и живут по заветам доброй и крепкой старины. Терзаются и погибают в несчастиях Болконские, пытающиеся перестраивать мир и жизнь по своему мятежному усмотрению. Оттого брюзжит в деревенском заточении старик Болконский. Оттого так несчастен Андрей Болконский. Оттого тоскует Мари Болконская, пока не приходит к выводу, что жить надо просто, по старине, и, выйдя замуж за Николая Ростова, не приобщается к их несложной и немудрствующей житейской философии. Ни ум, ни геройство, ни удельный вес человека не имеют никакого значения в глазах Толстого. Кто хочет внутренней тишины и безоблачного счастья, тот должен заниматься охотой и картами, как граф Илья Андреевич Ростов, или думать о тройках, о красивой венгерке или о панне Пшездецкой, как его сын Николай. Все остальное — от лукавого, от бесцельных и мятежных исканий Андрея Болконского, который в конце концов приходит к нечаянному сознанию:

«Тяжело мне стало жить в последнее время. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла...»

Другими словами, революция — это не только борьба с правительством и традициями, под революцией Толстой разумеет все, что так или иначе противится фатальному ходу вещей. Жить надо просто, как Ерошка в «Казаках», а не заниматься политикой, математикой и всякого рода бунтарством. Оттого Толстой не пропускает ни одного случая, чтобы изобразить как можно гаже и ничтожнее и «жирные ляжки» Наполеона, и его «опухшее желтое лицо», и все его дерзостные планы. Толстой никак не может простить этому дерзкому смельчаку, что он так властно вторгается в установленный порядок вещей и «кромсает мир, как пирожное», т. е. хочет насильственно изменить — по своему революционному плану — течение жизни. Десятки раз Толстой с презрением повторяет, что Наполеон похож на ребенка, который, сидя внутри кареты, дергает шнур, будучи твердо уверен, что это он управляет лошадьми и выбирает дорогу, по которой едет карета. Не щадит он и маленьких Наполеонов, всех этих «помощников штаба, помощника первого отделения, начальника штаба второго корпуса», как титулует он Альфонса Карловича Берга, одного из многочисленных адъютантов при флигель-адъютанте, тоже свято уверенных, что история делается в штабных канцеляриях. Это, впрочем, не мешает Толстому расценивать этих крошечных Наполеонов совсем по-другому, когда они под именем Бенкендорфов и Уваровых, Клейнмихелей и Дуббельтов вносят свои коррективы в историю под видом усмирения декабристов. Ибо тогда они выступают в качестве «карающего меча» в руках исторической Немезиды, не выносящей вмешательства революции. Не как патриот и ненавистник французов, а как фаталист, прославляющий покорность «ходу вещей», Толстой окружает любовью и сочувствием Кутузова. Потому что Кутузов не борется с судьбой, не берет на себя роль вершителя и хозяина жизни и плывет по течению, покорно сознавая, что он —

только слепое орудие в руках «высшей неведомой силы», все равно как бы она ни называлась по имени — Александр Первый, Аракчеев, или Настя Минкина, любовница Аракчеева.

Толстому одинаково ненавистны не только Наполеоны и наполеончики, подвигающиеся на поле сражения, но и те, что выступают под флагом учености — науки, техники и промышленности. Научный строй мысли рисуется Толстому, как та же революционная слепота, самонадеянно вступающая в единоборство с природой. И он с нескрываемой ненавистью бросает вызов за вызовом докторам, инженерам, экономистам. Доктора — либо невежды, либо шарлатаны, а всего чаще и то и другое вместе. Лечение Ростовой и Кити Щербацкой — это циничная комедия, неизменно кончающаяся «получением гонорара в самую заднюю часть ладони». Инженеры морочат голову людям совершенно бессмысленными фикциями, как, например, электричество, химия и гальванизм, а на деле все их прославленные открытия исчерпываются электрическим креслом для умерщвления людей, бомбами, подводными минами, градусником для измерения крепости спирта и усовершенствованными нужниками. Тогда как «ткацкий бабий станок, соха, топоры, цеп, грабли, журавль, ушат — все такие же, как были при Рюрике». По его глубокому убеждению и дарвинизм, и спиритизм, и политэкономия — это вполне друг друга достойные, одинаковые «плоды просвещения», созданные людьми с «умственно вывихнутыми мозгами». От Андрея Болконского — через Пьера Безухова Толстой приходит к «мужицкой правде» Платона Каратаева. Но преклонение Пьера перед правдой Платона Каратаева и стремление Болконского подчиниться «общему движению», т. е. стихийной народной правде, — действительно родилось и окрепло впервые в сознании русской интеллигенции в эпоху отечественной войны.

Едва наполеоновские войска перешли через Неман, точно чья-то невидимая рука растревожила умы крепостной деревни, и она судорожно заметалась в своих тяжелых цепях. Бунты, разбои, пожары разлились широкой рекой позади и впереди неприятельской армии. Многие, и в том числе Александр I, приписывали волнения влиянию наполеоновских агентов. Но граф Растопчин пытался направить его мысли совсем по другому пути.

«Все злые слухи, распускаемые с целью напугать, встревожить и обвинить вас, — писал он в секретном донесении на имя царя, — все это идет от мартинистов, и всех неистовее университет, состоящий из якобинцев — профессоров и воспитанников. Кутузов, заражающий умы, при покойном императоре был полицейский шпион; Чеботарев и Дружинин — завзятые якобинцы. Если войска будут терпеть еще поражения, и если полиция затруднится сдерживать негодяев, проповедующих бунт, то я велю некоторых повесить».

Осуществил ли свои угрозы Растопчин — неизвестно. Но войска продолжали терпеть поражения, и брожения в деревне принимали все более грозные размеры. Крестьяне, по словам таких свидетелей, как Д. Свербеев, Ц. Ложье, А. Хомутова и друг., «вели себя, как разбойники». Народ ожесточился, и помещики меньше боялись неприятелей, чем собственных мужиков. По донесению тверского гражданского губернатора Кологривова, в Волоко-

ламском и в соседних уездах крестьяне вышли из повиновения помещикам и учинили в имениях господ форменный грабёж. При этом, бунтуя, крестьяне говорили, что отныне они принадлежат французам, поэтому и повиноваться будут им, а не русским властям. Такие же известия приходили ежедневно из губерний: Новгородской, Ярославской, Смоленской и даже с Волги. Так, в письме к графу А. К. Разумовскому Поздеев жалуется, что волжские «мужики, по вкорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию, ожидают какой-то вольности; хотя и видят разорение совершенное, но очаровательное слово вольности кружит их, ибо мало смыслящих». Картины крестьянских бунтов во всей их мстительной необузданности описаны и в «Сожженной Москве» Данилевского, и в романах Загоскина и Мордовцева, и в «Записках декабриста» Д. Завалишина, и в «Воине и Мире», и у многих французских авторов.

Прошло лето. Наступили зимние месяцы. Крестьяне шли в ополчение, устраивали партизанские набеги, проявляли много мужества и находчивости в борьбе с неприятелем. Но грабить помещиков не переставали и упрямо отказывались повиноваться приказчикам и старостам.

И. Якушкин в своих «Записках» так высказывается по этому поводу:

«Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни... Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов, если бы народ попрежнему остался в оцепенении. Не по распоряжению начальства жители при приближении французов удалялись в леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение. Не по распоряжению начальства выступило все население Москвы вместе с армией из древней столицы. По рязанской дороге, направо и налево, поле было покрыто пестрой толпой, и мне теперь еще помнятся слова шедшего около меня солдата: «Ну, слава богу, вся Россия в поход пошла!»

И, как поясняет далее автор «Записок», каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле, и это впервые вселило крепостному мужику сознание своей силы и достоинства. И мужик забунтовал. В этом бунте простая правда Платона Каратаева впервые предстала перед потревоженной совестью русского дворянина. И устами А. Грибоедова русская литература произнесла свой решительный приговор. Я имею в виду его незаконченную драму или, точнее, план его драмы «1812 год», героем которой является мужик-ополченец, прославившийся своими подвигами во время отечественной обороны и вынужденный потом возвратиться под палку своего господина. Герой-ополченец не может вынести унижения и кончает самоубийством.

* * *

1812-й год был поединком двух миров: феодального и промышленного. Наполеон, вышедший помятым и физически побежденным из медвежьих объятий крепостного мужика, оставил последнему в наследие — в виде жгучего революционного жала в его пробудившейся душе — ненависть к царскому кнуту и тоску по «радищевской заразе». Отступление поколоченной наполеоновской армии послужило прологом к раскрепощению мужика. Из-под пепла сожженного Кремля вместе с окрепшей волей к жизни всего народа высунулась голова «четвертованного» Пугачева и замученного Радищева — «бунтов-

щика хуже Пугачева». Оздоровление народного хозяйства и социальные толчки к раскрепощению мужика послужили толчком к богатейшему расцвету русской общественной мысли и русского искусства. От пугачевской стихии через Радищева и Пнина к Пестелю и Пушкину, с именем которого навеки связана вся революционная поэзия возрожденной России.

Путь Льва Толстого другой.

* * *

Меняются религии, убеждения, задачи каждой эпохи, но нетронутой остается эта твердая вера в вечность. Что бы ни строили будущие поколения, они начнут строить с того места, на котором остановились предшественники; и их неоконченный жизненный труд сольется, — мы знаем, — с историей всего человечества.

Единую вечность мы хотим подчинить единой причине: вера, наука, история производственных отношений, классовые интересы, классовая борьба... И каждая из них рождает новые мысли, новые чувства.

Но, как справедливо указывает Жорес, «нет такой человеческой личности, которая совершенно перестала бы быть человеком, чтобы стать исключительно представителем известного класса. К действиям, обусловленным экономическими интересами, в бесчисленных центрах сознательной энергии примешивается не поддающаяся определению биологическая основа человечности».

Огромная заслуга Толстого в том и заключается, что, подчеркнув стихийно-неуловимые причины исторических событий, или то, что марксисты называют экономическим фактором, Толстой подробнейшим образом анализирует далее действие и проявления «биологической основы», т. е. психологию коллективных движений. И с удивительным мастерством он шаг за шагом вскрывает индивидуальную беспомощность Наполеона, который почти бессознательно и мимовольно движется к своей великой задаче. Как и вся великая армия, он не понимает событий. Он идет за общим течением, подхваченный энтузиазмом своих солдат.

И по мере того, как подвигалась армия, крепла ее коллективная уверенность, и героизм ее принимал все более грандиозные размеры. Люди бросались при переходе через Неман в самую стремнину, цеплялись друг за друга, зябли, захлебывались, тонули, несмотря на то, что за полверсты была переправа; и все это делалось для того, чтобы дать исход своей удали, своему стремлению к подвигам, к жертве. Наполеон был весь под обаянием этой коллективной воли. Не армия повиновалась Наполеону, а Наполеон был голосом своей армии, выражением ее победоносных стремлений. Не Наполеон создавал свои рискованные планы, а армия диктовала их Наполеону, и, бессознательно толкаемый ее героической решимостью, он выработывал проекты, один воинственнее другого. Вот почему он действовал вопреки всем дипломатическим соображениям, вопреки своим собственным решениям. Он сам понимал это и еще до перехода через Неман неоднократно говорил:

«Война разыграется вопреки мне, вопреки Александру, вопреки интересам Франции и России... Нас обоих неотразимо несет судьба к неведомому будущему».

В роли этой «судьбы» Толстой все время рисует а р м и ю. Ею навязан своему вождю каждый шаг Наполеона, и вся эта грозная военная эпопея изображается не как драма Наполеона, а как драма великой армии. «В исторических событиях, — говорит Толстой, — так называемые великие люди суть я р л ы к и, дающие наименование событию, которые так же, как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием». Поток всеобщей воинственности увлекал Наполеона, и тот же поток обеспечивал ему торжество. Та же коллективная воля, которая сделала его консулом и императором, подняла его на щит и провозгласила.

То, что делало Наполеона таким опасным в начале, то же сделало его таким бессильным в конце. Не мороз победил его. Он превосходно знал, какие ужасы в этом смысле ожидают его по ту сторону Немана. Его фургоны нагромождены были теплой одеждой, которой ему даже не пришлось еще пользоваться, когда отдан был приказ отступить. И, как и при переходе через Неман, это случилось вопреки всем расчетам Наполеона.

«Мое предприятие, — говорил он в беседе с Меттернихом, — одно из тех, которые разрешаются терпением. Я открою кампанию переходом через Неман. Она кончится в Смоленске и в Минске...

— Но если занятие Литвы не заставит врага вступить в переговоры?

— Тогда я на следующий год проникну в центр империи и буду терпелив в 1813 году, как и в 1812».

Почему же он так круто изменил свои планы и без оглядки из-под Смоленска двинулся на Москву? Потому что в те дни его армия еще пылала отвагой, и солдаты, как праздника, ждали боя. Но движение в глубь страны поставило Наполеона лицом к лицу уже не с напуганной и растерянной армией, а с народом. И мощь французской армии была сломлена моментально. Энтузиазм отлетел от нее. Она утратила свою коллективную душу и перед всем миром разоблачила тайну Наполеона.

Стараясь оправдаться в глазах Европы, он налгал на себя. Не морозы и не неподготовленность победили его, а тот внутренний холод, который вдруг расплыл всю великую армию, превратив ее в сборище «двунадесяти языков». И как только порвались эти духовные скрепы, рухнула триумфальная арка наполеоновских побед.

* * *

Те сближения с современностью, которые сами собою напрашиваются и вытекают из сопоставления Пушкина и Толстого, в краткой форме могут быть выражены так: Пушкин, живший раньше Толстого, был весь на стороне революции (декабристов), а Толстой тщательно обходил эту тему, превращая всеми силами своей философской мысли и гениального пера столь волновавшую Пушкина, Герцена и Чернышевского тему о революции в тему о мире. Вместо «Войны и Революции» он умышленно навязывал своему творческому воображению «Войну и Мир».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ТОЛСТОМ

1. П. Е. ЩЕГОЛЕВ. Встречи с Толстым. — 2. П. ПЕРЦОВ. Поездка к Толстому

1. ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

П. Щеголев

В 1894 году жил я в Воронеже, учился в местной классической гимназии, был уже в седьмом классе, давал уроки или, как тогда говорили, репетировал. Мой самый приятный «урок» был в семье Русановых, где я состоял репетитором 12-летнего мальчика из второго или третьего класса. 1 апреля явился я в обычное время — часов в 6 — к Русановым, начал урок и сразу же заметил, что мой Коля находится в необычайно возбужденном состоянии: он все время ерзал, был рассеян, порывался что-то сказать, что-то открыть, но с большим трудом удерживался. Все-таки проговорился, сначала едва-едва, общё: «а вам будет сюрприз, если останетесь пить чай», а затем под большим секретом, взяв слово, что сделаю вид, будто ничего не знаю, сказал: «приехал к нам Лев Николаевич Толстой, сейчас пошел гулять, а к чаю вернется». После такого сообщения трудно было вести «репетицию»: и учитель, и ученик сидели, как на иголках, поджидая, когда кончится назначенный для занятий час и нас позовут к чаю. И теперь мне памятно то волнение, которое переживал семнадцатилетний гимназист при мысли, что вот сейчас, через несколько минут он увидит Льва Толстого, самого Льва Толстого...

В то время обаяние имени Толстого было необычайно. Очарование его художественного гения было беспредельно, а борьба, поднятая им против церкви и царизма, против православия и самодержавия, покрыла его деятельность революционным ореолом. В эпоху политического безвременья разрушительная толстовская критика устоев жизни давала толчок, питала революционные настроения в слоях, далеких от толстовства. Конечно, я сразу и навсегда был покорен художником, и Толстой стал для меня великим человеком. С философским и этическим учением Толстого я начал знакомиться позднее, с класса четвертого, пятого гимназии, — значит с 1892 года. Теперь не припоминаю хода моих чтений Толстого. Все эти сочинения Л. Н. были в то время запретными, нелегальными; ходили в изданиях гектографированных или заграничных. В гимназические годы нелегальная, революционная литература доходила до нас, правда, в ничтожном количестве, но, несомненно, ни одно т. н. нелегальное произведение не производило на меня такого впечатления, как сочинения Л. Н. — «Исповедь», «В чем моя вера», «Так что же нам делать», «Церковь и государство», «Тулон и Кронштадт». Последняя вещь и до сих пор кажется мне первоклассным памфлетом. Интерес к Толстому поддерживала во мне и снабжала книгами семья Гаврилы Андреевича Русанова, восторженного и убежденного почитателя Льва Николаевича, состоявшего с ним в переписке и лично знакомого с ним. В этой семье было 5 человек детей—все сыновья. Все дети в то время находились под влиянием идей Л. Н., которые были знакомы из книг и из

рассказов родителей. В этом доме становилась известной всякая новая строка Толстого. Я помню то нетерпение, с каким ожидалось получение нового рассказа, нового письма Л. Н. Произведения Л. Н., запрещенные в России, были известны здесь по большей части в тщательно переписанных и выправленных текстах.

Несомненно, что революционные настроения создаются в значительной мере критикой политического строя; нравоучительные сочинения Толстого были дальше той цели, в которую метил автор. Подрывание основ строя у нас в России было выполнено Толстым с замечательной силой и блеском. Эффект получался неожиданный в сторону под'ема революционного настроения.

Наконец, нас позвали к чаю. За столом сидела вся семья. Было как-то наряднее и светлее, чем обыкновенно; видно было, что кого-то ждали. Глава семьи не без лукавства поглядывал на меня. Послышался шум в передней, все насторожились. Вошел Толстой.

Поздоровался, меня представили. Волнуясь, комкая слова, еле слышно я назвал свою фамилию. Совершенно неожиданно Лев Николаевич, вглядываясь пристально, переспросил: «Как ваша фамилия?». Глубокий, пронизательный взгляд. Первое впечатление: показалось, о чем бы ни спросил этот человек, на все ответил бы, не умолчал, не скрыл, не солгал.

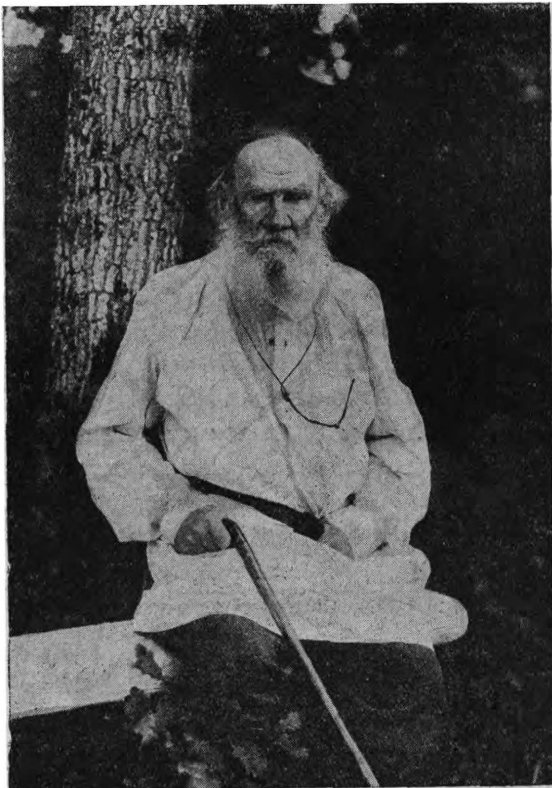
Разговор шел общий, главным образом на литературные темы. Лев Николаевич интересовался, что читаем мы, подрастающее поколение. Читали мы все много, я в особенности. Некоторое время Льву Николаевичу не удавалось назвать ни одного произведения, которое было бы нам не известно. Но на Диккенсе мы были пойманы: мы читали, понятно, все популярные вещи, но вынуждены были дать отрицательные ответы на вопросы: «а читали роман «Наш общий друг»?», ну, а «Большие ожидания»? — Ну, я вам завидую, — сказал Лев Николаевич, — какое вам предстоит удовольствие, а я уже прочел.

Разговор перешел на критику, и много читавший гимназист седьмого класса длительно занял внимание Льва Николаевича пересказом только что прочитанной и недостаточно усвоенной книги Геннекена «Опыт построения научной эстетики». Лев Николаевич терпеливо слушал, задавал вопросы и убеждался, что гимназист не очень разбирался в дебрях эстетологии, но хотел показать свою ученость, хотел поразить его, Льва Николаевича, именами и мнениями авторов, названиями книг. Толстой не ценил мнений критиков, не высоко ставил и наших знаменитых вождей. Шутливо сказал о Белинском: «Я признаюсь, только никому об этом не рассказывайте: я хотел прочесть всего Белинского, начинал читать, но на шестом томе бросил, дальше не мог». Когда на другой день Лев Николаевич уезжал, мы, школьники, приступили к нему с просьбой написать «на память». Он исполнил просьбу и много читавшему гимназисту написал на клочке бумаги: «Желаю вам думать самому. Лев Толстой». Это наставление оказало на меня значительное влияние.

Первая встреча с Толстым оставила сильнейшее впечатление и вызвала интерес и увлечение и чисто толстовскими идеями. Их влияние продолжалось в гимназические годы и первые годы студенческой жизни, пока

не уступило места влиянию революционных идей того времени (1897—1899 в Петербурге). Толстой некоторое время был учителем жизни.

Прошло полтора года со времени первой встречи с Толстым, и зимой 1895 года, проезжая Москву по дороге из С.-Петербурга в Воронеж, после многих колебаний и сомнений я решил навестить Толстого и побеседовать с ним по вопросам его этического учения. Я не знал, примет ли он меня, узнает ли. И вот я стою в прихожей Хамовнического дома Льва Николаевича, спрашиваю робко у лакея, дома ли Лев Николаевич и принимает ли он. Лакей собирается ответить отрицательно, но в этот момент на лестнице с верхнего этажа вниз в прихожую показывается Лев Николаевич.



Л. Н. Толстой

«Да вот их сиятельство сами!». Тут меня поразила память Льва Николаевича. Он вспомнил не только меня, но и мою фамилию, сказал: «А, Щеголев, здравствуйте! Ну, пойдёмте». Лев Николаевич вернулся вместе со мной в свой кабинет. Помимо беседы о морали, был разговор и о литературе. Повод к разговору дали книги, лежавшие на столе. Среди них были самые необычайные авторы. Мне запомнилась книжка московского «символиста» Емельянова-Коханского «Кровь растерзанного сердца». Символист был большим шарлатаном, и стихи его были шарлатанским издевательством над здравым смыслом. И на этой книге красовалась надпись Толстому: «Твоя от твоих тебе приносяще».

Лев Николаевич говорил о скудости современной литературы, о современных писателях, говорил о том, что у нас никто не выдвигается и не обещает многого. Это было зимой 1896—1897 года. Из уст Льва Николаевича я услышал классическое суждение:

— Что вы говорите о русской литературе! Кто же у нас? Ну, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тургенев, я, — вот и вся литература.

Не ручаюсь за то, что Лев Николаевич назвал эти имена в таком порядке, но самое перечисление со включением самого себя резко запечатлелось в моей памяти, — да и, понятно, не могло не запечатлеться.

В 1899 году мне пришлось навестить Л. Н. по особому поводу. Мне пришлось принять самое близкое участие в историческом университетском движении, когда впервые было применено новое средство протеста — забастовка, в качестве члена комитета, организовавшего студенческое движение. Одной из задач организаторов было привлечь внимание и симпатии «общественных» кругов к делу студентов и воздействовать на «общественное» мнение. Первые же дни было решено отправить специального посла к Л. Н. Толстому. Посол должен был рассказать Л. Н. причины и историю движения, выяснить мирный характер студенческого протеста и просить его высказаться за студентов. Делегатом, как любили тогда выражаться, был выбран С. Н. Салтыков, позднее член 2-й Государственной Думы, по процессу социал-демократической фракции осужденный на 6 лет каторжных работ. С. Н. Салтыков нашел в семье Л. Н. самый радушный прием, а у Л. Н. встретил самое живое сочувствие движению. Л. Н. был особенно заинтересован той формой, в которую вылилось движение, и студенческая забастовка представлялась ему одной из форм «непротivления злу насилieм». Беседа С. Н. Салтыкова с Л. Н. дала материал для следующей заметки, появившейся в гектографированном «Бюллетене 7-го дня по закрытии университета» от 16 февраля 1899 года:

«Л. Н. Толстой, по собственным его словам, присоединяется всей душой к нашему движению. Он шлет нам свое полное одобрение, называет средство, избранное нами, самым целесообразным и обещает в скором времени дать гласный отзыв о нашем движении. По мнению Л. Н., настоящее движение открывает новую эпоху в истории студенческих движений, становящихся на разумную общественную почву».

Так в измененной и сгущенной окраске сообщил студенческий агитационный листок о сочувствии Л. Н.

Когда, после назначения комиссии П. С. Ванновского, была начата новая забастовка, симпатии «общества» к студентам раскололись. Стали говорить, что движение уже принесло практический результат и что продолжение его означало бы просто беспринципные беспорядки. Те, кто раньше были в числе сочувствующих, стали порицателями. Для того, чтобы вновь повернуть «общественное» мнение в сторону студенчества, организационный комитет поручил мне (С. Н. Салтыков был в это время уже арестован) посетить Л. Н. Толстого и вновь выяснить его взгляды.

Я пришел к Л. Н. с одним московским студентом из группы, руководившей движением. Мы изложили Л. Н. все происшедшее в Петербурге и Москве, выяснили причины, которые заставили нас агитировать не за прекращение, а за возобновление и продолжение забастовки. Л. Н. очень поражажся организованностью движения и той связью, которая установилась между учебными заведениями различных городов. Ему нравилось чувство товарищества, которое побуждало к протесту, по крайней мере, до возвращения в университет высланных и арестованных товарищей. И на этот раз Л. Н. отнесся сочувственно к движению, о котором подробно рассказал ему я и мой московский товарищ. Понятно, сочувствие было выражено в общей

форме, и вряд ли было понято и верно освещено в следующем сообщении «Бюллетеня 23 дня от 19 марта»:

«Какое впечатление произвело на всех честных людей наше действие, видно из слов Толстого, переданных нам сегодня одним из посетивших его товарищей... Л. Н. говорил, что факт солидарности всех наших учебных заведений настолько замечателен, что мы должны им дорожить, и теперь студенты не имели права прекратить движение, не считаясь с провинциальными товарищами. Необходимо было узнать мнение учебных заведений всей России и только тогда принимать то или другое окончательное решение. Затем он возмущен административными высылками и считает нашей обязанностью протестовать против них всеми силами».

Конечно, в этом сообщении надо отделить сообщение о факте сочувствия Л. Н. от толкования, которое было продиктовано агитационными целями.

Беседа с Л. Н. происходила наверху, в кабинете Льва Николаевича, наедине. Когда я и мой московский товарищ кончили свой доклад Л. Н., вошел слуга и доложил о Борисе Николаевиче Чичерине. Л. Н. сделал досадливое движение плечами, выражавшее как-будто нежелание видеть Чичерина. Вошел Чичерин, крепкий старик, убеленный сединами.

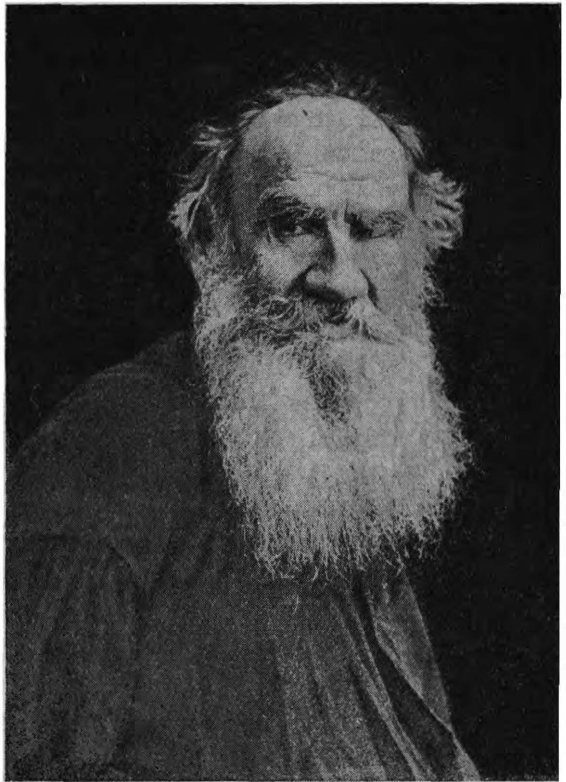
— Здравствуй, Лев. Как живешь? — спросил Чичерин.

Л. Н. отвечал односложно, не желая втягиваться в разговор. Но Чичерин настойчиво желал разговора.

— Что пишешь теперь? — спрашивал Чичерин, но Л. Н., уклоняясь от беседы, сказал Чичерину:

— Нет, ты послушай, что делается в петербургском университете. Пожалуйста, расскажите еще раз все, что говорили мне,—обратился ко мне Л. Н.

Я должен был повторить свой рассказ. Чичерин слушал его с видимой неохотой, и лишь только я кончил, как он вновь обратился к Л. Н. с тем же вопросом.



Л. Н. Толстой

— А что же ты теперь ешь?

И Л. Н., опять уклоняясь от ответа, перебил вопрос Чичерина:

— А что делается в московском университете! Это очень интересно. Ты послушай. Расскажите, — сказал Л. Н. моему московскому товарищу.

И московский студент во второй раз рассказал о происшествиях в московском университете Чичерину, которому это было совершенно неинтересно.

Не знаю, как вышел бы из положения Л. Н., когда рассказ был бы окончен, и Б. Н. Чичерин снова спросил бы Л. Н. о его работах. Но в это время пригласили всех, бывших наверху, вниз к чаю...

Внизу мы еще раз послужили Льву Николаевичу тараном против наступления на него Чичерина и рассказали еще раз об университетских событиях в Петербурге и Москве. Чичерин завязал беседу с Софьей Андреевной. Софья Андреевна рассказывала о своей поездке в Петербург, о разговоре с Победоносцевым, о запрещении сочинений Толстого. У нее вырвалась фраза: «Ведь это же крупный убыток!». Льву Николаевичу стало неприятно, он досадливо сказал: «Вечно ты о деньгах!».

В 1905 году я напечатал работу о Грибоедове и декабристах. Она была издана А. С. Сувориным, и к изданию было приложено необычайно тщательно выполненное факсимиле хранившегося в государственном архиве дела о Грибоедове, производившегося в следственной комиссии по делу декабристов. О точности факсимиле можно судить по следующему инциденту. Директор архива С. М. Горяинов, получив от меня книгу с факсимиле, вызвал чиновника архива, в ведении которого были дела декабристов, и, показывая ему факсимиле, сделал ему выговор за небрежное хранение, за то, что «дело» оказалось не на месте, а в его, директора, кабинете, и приказал положить «дело» на место. Чиновник (милейший А. А. Привалов) был ошарашен, вертел в руках факсимиле, ничего не мог привести в оправдание и, очевидно, мучимый угрызениями совести, удалился из кабинета его превосходительства. Не прошло двух минут, как он, нарушая правила субординации, без доклада ворвался снова в начальственный кабинет и, потрясая факсимиле, восклицал: «Ваше превосходительство, подлинник дела на месте, а это копия».

Зная, что Толстой интересуется и занимается декабристами, я послал ему свою книгу вместе с факсимиле. В ответ я получил от него следующее письмо:

«Очень благодарен вам, Павел Елисеевич, за присланное прекрасное издание о Грибоедове и за обещание (если я верно понял) прислать «Русскую правду» Рылеева.

Если декабристы и не интересуют меня, как прежде, как материал работы, они всегда интересны и вызывают самые серьезные мысли и чувства.

В вашей присылке есть «Дело о Грибоедове». Благодарю за него. Что с ним делать?

Еще раз благодарю вас за ваш подарок, остаюсь уважающий и помнящий вас Лев Толстой. 8 июня 1908 г.».

И Лев Николаевич был обманут воспроизведением «дела» и принял его за подлинник.

2. ПОЕЗДКА К ТОЛСТОМУ

Из старых воспоминаний

П. Перцов

I

В те годы, — конец прошлого столетия, — это было почти всеобщей мечтой — съездить к Толстому. Его имя было у всех на устах; все взоры были обращены на Ясную Поляну; присутствие Льва Толстого чувствовалось в духовной жизни страны ежеминутно. Недавно еще обошла весь мир «Крейцера соната», всюду возбуждая волнение и споры; так же волновали его богословские и политические сочинения, тогда непрерывно появлявшиеся и легко преодолевавшие бессильные цензурные запреты. Повсюду читались гектографические и рукописные копии, исходившие из Ясной Поляны, и все, так или иначе, притягивал ее магнит...

Разумеется, мечтал и я, — тогда 26-летний юноша, незадолго только кончивший университет: «Если бы увидеть Толстого!» «Война и Мир» и «Анна Каренина» и тогда уже казались сверхчеловеческими созданиями, и неправдоподобно было, что творец их еще живет, что можно его видеть, говорить с ним. Жутко и притягательно...

И внезапно обстоятельства повернулись так, что это сделалось возможным и осуществимым, — можно ехать в Ясную Поляну и быть у Толстого, не впадая в излишнюю назойливость. В далекой Казани, где я тогда жил, нашлась хорошая знакомая Марья Александровны Шмидт, — той «опростившейся» толстовки, которая жила вблизи Ясной Поляны и имя которой известно каждому, изучавшему биографию Толстого последних десятилетий. Более того: моя казанская знакомая скоро едет к ней, переговорит и напишет... И несколько недель спустя, в начале июня 1894 года я уже ехал в Москву и дальше по Курской на ту «Козлову Засеку», которую знала тогда вся Россия, как станцию Ясной Поляны. В трех верстах от нее, направо от полотна железной дороги, за густым лиственным лесом скрывалась знаменитая усадьба. Хорошая, широкая дорога вела туда...

Но прежде, чем направиться в Ясную, я должен был идти в противоположную сторону. М. А. Шмидт жила в небольшой деревушке около версты от станции, в маленьком домике — вполне «по-толстовски». Огород при домике составлял ее занятие и подспорье, а жила она скромнее скромного. Для Льва Николаевича она была одним из самых близких друзей; у Софьи Андреевны, наоборот, она не пользовалась симпатиями, — именно как правверная толстовка.

С запиской от Марьи Александровны и с бьющимся сердцем я направился снова через станцию и по дороге в Ясную... Через несколько времени справа показались две толстые белые караулки-башенки, столь известные теперь по снимкам. Они обозначали в'езд в усадьбу Ясной Поляны — начало длинной березовой аллеи, приводившей к пруду ^кк дому. Вот и пруд; вот дальше и дом — двухэтажный флигель прежнего большого, тогда уже давно проданного и перенесенного отсюда усадебного дома. Но и этот флигель стоит целого дома и в другой усадьбе был бы домом. Во всей Ясной Поляне виден был широкий масштаб большой барской усадьбы: ведь это и было имение князей Волконских — приданое матери Льва Николаевича.

Но хозяин этого имения живет как-то странно: меня вводят даже не в просто скромную комнату, а в какое-то полуподвальное помещение со сводами и очень толстыми стенами, в которых высоко пробито окно. Это был тот самый рабочий кабинет Льва Николаевича, — бывшая кладовая, — который изображен на известной картине Репина.

Я остался один. Вот сейчас он выйдет... Страшновато... Сердце так и стучит.

И вот слева у дверей выходит среднего роста, очень пропорционального сложения бодрый старик с довольно длинной седой бородой, с темными еще отчасти волосами вокруг лысеющей головы, с таким хорошо знакомым лицом. Это — он!

«Война и Мир», «Анна Каренина», «Крейцера соната», «Детство», которое я знал чуть не наизусть, — все это проносится смутно в голове. Это все написал он — только что вошедший?.. Неправдоподобно и невероятно. Но нужно постараться запомнить...

Помню, я прежде всего постарался запомнить его рост. Он не был высок, как я думал (ведь ожидалось — до облаков). И я мысленно с ним смеялся: мы оказались приблизительно одинакового роста. И теперь мне всегда легко представить себе его фигуру—два аршина с небольшим, и весь совсем не крупный, хотя плотный и крепкий. А написал «Войну и Мир»...

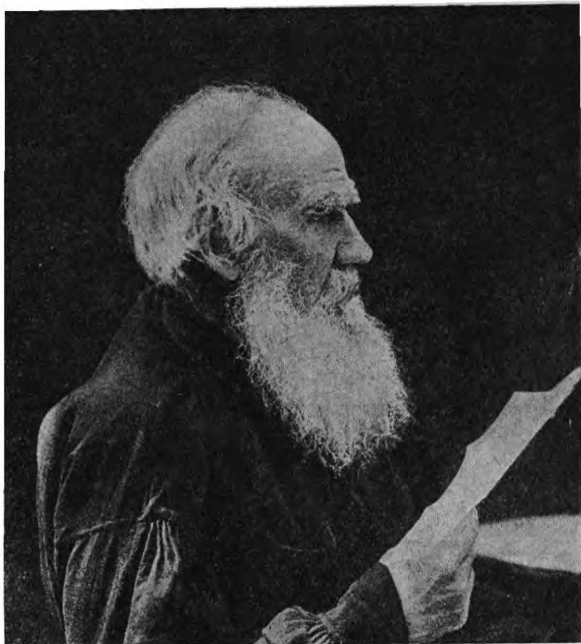
Тем временем он на меня смотрел. Нет, это неверно: он меня с в е р л и л своим взглядом. Маленькие серо-голубые, очень глубоко сидящие под насупившимися бровями глаза, и сверлят, как два буравчика. Никогда ни раньше, ни после, ни у кого я не видал такого взгляда. Бывали часто глаза более красивые, изредка даже более значительные (у Владимира Соловьева, например), но таких испытующих больше не было. Вот «психологический анализ». Пожалуй, понятно, что он писал «Анну Каренину».

II

Заговорили. Он с первых слов стал спрашивать, что я делаю. Так как я уже литераторствовал, то разговор естественно сошел на литературу. Когда я вспоминаю теперь, меня поражает простота и естественность этого разговора. Ни малейшего не только «генеральства», но какого бы то ни было «авторитета», какой-нибудь «поучительности». Он говорил так, точно ему

и в самом деле было интересно беседовать с желторотым юношей из Казани и он мог что-нибудь вынести из этой беседы. Огромная привычка к людям и огромная тренировка себя во внимании к ним...

В качестве литератора, да еще провинциального, я, конечно, стал жаловаться на тогдашнюю цензуру, особо свирепую (последние годы Александра III). Но Лев Николаевич взял дело со своей точки зрения. «Если вы будете писать то, что нужно людям, никакая цензура вам не может помешать. Тогда люди будут сами искать



Л. Н. Толстой

ваших писаний; станут переписывать, это распространится по всей России, как распространилось в свое время «Горе от ума». Ведь оно было запрещено, не могло попасть в печать, а его знала вся Россия. Грибоедов сказал нужное людям, и это нельзя было уничтожить. А теперь в газетах пишут совсем ненужное, и если запрещают, то это никого не трогает». Так, приблизительно, говорил он, несколько раз сославшись на «Горе от ума», но имея в виду, конечно, и другой, более близкий пример. Его самого запрещали, как Грибоедова, и он всем оказывался нужен. Никакие возражения и указания на некоторую разницу в положении не производили на него впечатления. Свой ригоризм он распространял широко. «Ведь есть целые писатели», — начал было он и вдруг приостановился. «Вы как? — спросил он, — намерены опубликовать нашу беседу?» Я поспешил уверить его, что все останется между нами (и только сейчас нарушаю это обещание). «Так вот, есть целые писатели, которые шумели в свое время, а замечательны только тем, что умели обходить цензуру. Возьмите, например, Щедрина. (Салтыков тогда был известен больше под своим псевдонимом.) Как он шумел! А что у него есть? Его «эзоповский язык» был нужен только как уловка против цензуры, а писал он все пустые вещи. Возьмите «Дневник провинциала в Петербурге» — разве это можно читать? Кому это нужно? И вот он уже забыт, хотя так много печатался в свое время».

Через тридцать с лишним лет я воспроизвожу слова, конечно, лишь местами с буквальной точностью, но за точность мысли ручаюсь.

Все это говорилось с большим оживлением и даже с жаром, как-будто тема почему-то затрагивала говорившего. «Нужно бы уничтожить гонорар, —

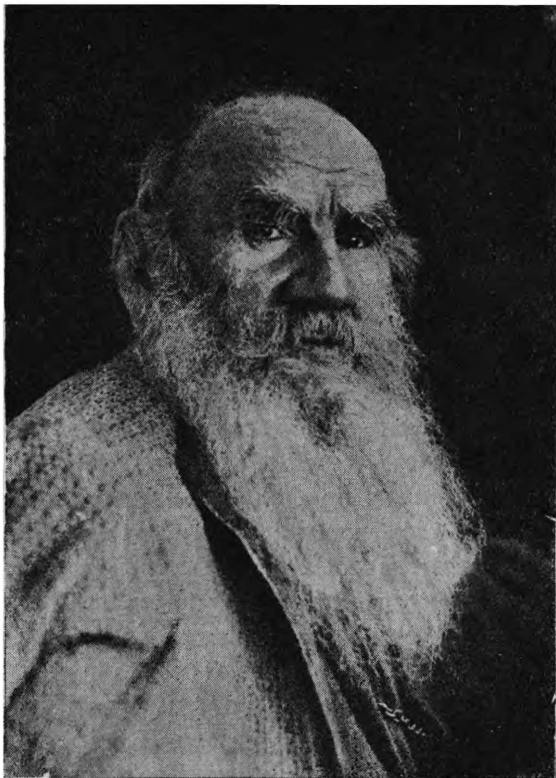
резюмировал он, — тогда люди писали бы только то, что им действительно нужно сказать, и тогда не писалось бы пустяков. А теперь ради денег пишут, что придет в голову. Прежде, когда не было печати, было гораздо лучше: писали немного, но только ценное. А теперь это какой-то промысел».

Я упомянул о так называемых «направлениях» наших 60-х и 70-х годов. «Что это за направления? — возстал Л. Н. — Я не понимаю, что разумеют под этим словом. Я сам пережил все эти 60-е и 70-е годы, и хорошо их помню и могу вас уверить, что никаких таких особенных направлений тогда не было. То же было, что и в другое время». — «Но как же, Лев Николаевич, а Писарев, Чернышевский?..» — «Что такое Писарев и Чернышевский? Были они, но были рядом и другие. Почему же 60-е годы непременно Чернышевский, а не другие?» — «Но как же, Лев Николаевич...» — «Да и что такое этот Чернышевский? Ведь он все брал из иностранных книжек и сам сознавался в этом. Вот это ужасно, что у нас все берут из вторых рук! Молодежь читала Чернышевского, вот теперь читает Михайловского, изучает по нему Спенсера, а надо самого Спенсера читать. Изложение никогда не может заменить... Вот я в молодые годы увлекался Руссо. Так я не стал читать его изложение, а читал его самого. Зато это и было впечатление: он бесподобно пишет. «Эмиль»... Ну, какое же может быть изложение «Эмиля»? Вы знаете, я так им увлекался, что вставил портрет Руссо в медальон и носил вместо креста. Такое впечатление остается... А теперешняя молодежь в сущности ничего не знает. Как можно тратить время на Михайловского? На что же мне, как он излагает? В наше время мы были гораздо требовательнее. Нужно читать только немного и непременно в подлиннике. Только подлинник может научить. Там вы переживаете вместе с писателем его мысль, а в изложении вы все получаете из чужих рук и смотрите чужими глазами».

III

Довольно скоро он встал с места, сказал: «Я в это время всегда гуляю: хотите пойти? Мы еще успеем до обеда». И мы пошли парком, а после по дороге на Засеку. В своей «толстовской» блузе, подпоясанной ремешком (в то время костюм только мастеровых и уже никак не графов), со своим таким крестьянским лицом Лев Николаевич выглядел весьма демократично: принять его за писателя, вообще за «интеллигента», — не говорю уже — знаменитость, — встретив где-нибудь на дороге, не было никакой возможности. Ходил он бодро, скоро, совсем не по возрасту (ему в это лето шел 66-й год), и я не помню, чтобы мне приходилось замедлять шаг и согласоваться с ним, как это обыкновенно бывает при такой разнице лет. Когда под конец прогулки он, увлекшись разговором, сбился с дороги и заблудился в кустах (в своей Ясной Поляне!), — отчего нам пришлось спускаться в какие-то овраги и перелезть через какие-то изгороды, — он проделывал все это с юношеской легкостью.

Разговор шел, конечно, все о литературе. Я очень любил еще мало признанного тогда Чехова («Чехонте», как его еще обыкновенно называли) и предпочитал его тогдашнему «премьеру» русской беллетристики Короленке. И вот оказалось, что Лев Николаевич вполне разделяет эту оценку. Он даже не допускал параллели между Короленкой и Чеховым, Чехова он хотел сравнивать только с Мопассаном, отдавая, впрочем, предпочтение последнему по глубине и содержательности. В те годы он еще не знал лично Чехова, но его симпатии уже принадлежали ему почти всецело. Оговариваюсь: «почти», потому что как раз в тот момент Львом Николаевичем владело еще одно литературное увлечение. Тогда только что была напечатана



Л. Н. Толстой

в «Северном Вестнике» довольно большая повесть «Зарницы» В. Микулич (псевдоним писательницы Л. Веселитской). Написанная свежо и ярко эта повесть выделялась среди обычной серенькой журнальной беллетристики. Еще года за два до того тот же автор заставил много говорить о себе своими рассказами «Мимочка на водах» и «Мимочка отравилась» — талантливой сатирой на великосветский мир совершенно в духе Толстого. Поэтому понятно было его предрасположение в пользу этого автора, но «Зарницы» его просто пленили. Когда, говоря о Чехове, я поставил его на первое место среди русских беллетристов, а на второе Микулич, он меня перебил: «А я бы с вами поспорил, что она на первом, а Чехов только на втором». Видимо, он возлагал на автора «Зарниц» большие надежды в связи со своими моральными требованиями от искусства. Микулич оправдала эти ожидания лишь наполовину: впоследствии она еще ближе подошла к толстовству, но не дала уже ничего на уровне своих первых вещей.

Зато совсем не жаловал Лев Николаевич так называемых «беллетристов-народников», тогда еще весьма популярных и, казалось бы, ему близких. Когда я упомянул Глеба Успенского, он только мотнул головой. «Ну, этот тоже из тех, недоговаривающих» — бросил он памятное словцо.

Так же не встретило у него приветия имя Герцена, которым я тогда зачитывался. «Да, я знал его за границей» — как-то рассеянно-холодно отвечал он.

Впрочем, никогда нельзя было угадать наверное, где найдутся его симпатии. Помня его дружбу с Фетом, я был уверен, что «Вечерние огни» для него близкая книга. Но почти насмешливо он кинул: «Ну, под старость Фет писал плохо; гораздо лучше его молодые стихи».

С уважением и явной симпатией он упомянул Владимира Соловьева. «Он очень даровит» — несколько раз повторил он. На мои слова, что у Соловьева особенно хороши стихи (тогда еще мало известные), Толстой с каким-то удивлением заметил: «А он всегда говорил о них, как о чем-то незначущем».

Понемногу разговор опять свернул на наши бывшие «направления» и особую общественную окраску разных десятилетий. И опять Лев Николаевич протестовал против этих нивелирующих определений. Они явно отталкивали его именно своей определительностью. Ему хотелось отстоять свободу личного начала или зависимость этого начала от каких-то других, менее поддающихся сознательной квалификации сил. После нескольких, все менее ясных и все более обращенных точно к самому себе фраз, он вдруг перебил себя с внезапно вспыхнувшим воодушевлением: «Это я все хожу вокруг да около. А я хочу сказать, что человек никогда не знает сам по-настоящему, что собственно он делает. Мы все, — как Моисей на горе Хориве, когда он только издали видел землю обетованную, куда шел и вел других, но сам в нее не вступил. Только вдаль видел, в тумане... Так и мы, идем куда-то, что-то нас толкает, и нужно что-то делать, а какая этому цена, это мы только потом узнаем». Он сказал эти слова с необыкновенным волнением, путаясь в кустах (вот тогда мы и сбились) и колотя изо всех сил своей палкой по окружающей высокой траве. Сказал, видимо, забыв о собеседнике, — как внезапно вырвавшееся для самого себя признание... Потом круто замолчал, стал искать дорогу и молчал до самого дома.

И когда впоследствии не раз доходили до меня вести, что Лев Николаевич справляется, сдержу ли я данное ему слово — не передавать нашей беседы в печати, мне всегда казалось, что беседа эта запомнилась ему, и вопрос этот вызывался именно благодаря этой минуте.

IV

Домой мы пришли к обеду, и нас скоро позвали на террасу, где была вся семья, поскольку ее представители жили тогда в Ясной. Графиня встретила меня сперва немного кисло: несомненно вследствие моего появления через М. А. Шмидт. Она, видимо, приняла меня за одного из «темных» (ее термин для толстовцев), и лишь постепенно все «образовалось». Она сама производила вполне определенное впечатление светской дамы, которая и в деревне «держит тон». Зато впечатление от семьи было очень разнообразно или, точнее, семья эта как бы распадалась на две противоположные группы. Одна состояла из взрослого уже третьего сына, Льва Львовича, известного впоследствии своей оппозицией отцу, а тогда еще яркого толстовца, и второй дочери, Марьи Львовны (впоследствии за Оболенским). Это была сторона Льва Николаевича. Другой «лагерь» группировался вокруг Софьи Андреевны и состоял, собственно, из малолетних: младшей, 12-лет-

ней дочери Александры Львовны и двух младших сыновей, Михаила и Андрея. Тогда еще жив был также последний 6-летний сын Ванечка, вскоре после того так тяжело поразивший родителей своей кончиною. Эта вторая группа находилась «под крылом» матери, заметно охранявшей ее от вредного влияния, исходившего от противоположного конца стола. Обе группы и сидели так — на разных концах, что вызывалось, впрочем, уже кулинарными соображениями, ибо обе обедали по совершенно различному меню. На конце Софьи Андреевны обед был не только хороший, но для деревни даже изысканный (на жаркое, напр., цыплята под белым соусом); подавали лакеи в белых нитяных перчатках. Словом, это был обед в графской усадьбе. Зато на противоположном конце ели что-то неопределенное и сомнительное, — какую-то овсяную похлебку вместо супа и какую-то кашу вместо цыплят. После, за чаем дуализм выступил еще резче: все вообще пили чай, но вокруг Льва Николаевича, и сам он, пили просто кипяток, при чем вместо сахара употреблялся изюм.

Среднее, примиряющее положение между обеими группами занимала тогда старшая из дочерей, Татьяна Львовна, также еще незамужняя. Заметно, во многом симпатизировала она толстовской группе, но не могла, подобно младшей сестре, вполне отрешиться и от мирских соблазнов, представляемых другой группой. Это выражалось даже во внешности обеих сестер: костюм старшей был не лишен некоторой светскости, и она не чуждалась обычных женских украшений; платье младшей было совсем простенькое, и она не носила никаких «ненужностей». И как-то естественно гармонировала с этой внешностью Марья Львовны — с загорелым деревенским лицом и по-деревенски шершавыми руками — ее жалоба на усталость: «Потому что пришлось сегодня встать в три часа, чтобы успеть выстирать все белье...».

За обедом разговор носил общий характер. Узнав, что я из Казани, Лев Николаевич вспоминал свои студенческие там годы, свою тетку Юшкову, кое-кого из оставшихся еще в живых знакомых, — в том числе моего отца и наш дом, где он бывал. После обеда пошли прогуляться в парк возле дома, и в это время со своего хутора подошел Чертков, тогда еще почти молодой, красивый, с английского типа лицом. Он только что, подходя к дому, обулся, а всю дорогу «шел босиком, потому что легче итти». Теперь никого у нас этим не удивишь, но тогда такие черточки «опрощения» еще очень поражали. «Как посравнить век нынешний и век минувший», — бросается в глаза незаметная обыкновенно, постепенно нарастающая перемена в нравах и быте...

Во время прогулки оказалось, что одну из лужаек возле дома «надо выкосить сегодня». Чертков и принялся было за дело, но Лев Николаевич нашел, что он не вполне еще овладел искусством косьбы. Для примера он взял у него косу и мастерски, с полной легкостью и чистотой выкосил всю небольшую лужайку. Видно было, что для него это была давно знакомая работа, и Чертков в самом деле учился, глядя на него.

Когда теперь я передаю все эти мелкие подробности яснополянского быта, я чувствую, что читатель неизбежно воспринимает их не так, как воспринимались они там, на месте. Потому что «со стороны» никогда нельзя забыть, что речь идет о Толстом, — и весь интерес сосредоточен

на парадоксальности факта, что «великий писатель земли русской» косит сено, а его дочери сами стирают белье и т. п. Между тем именно такой парадоксальности не ощущалось совсем в Ясной Поляне. Весь строй жизни там сложился уже давно и (в толстовской половине семьи) так определенно, что все эти подробности вытекали сами собой из этого склада. Просто было ясно, что в самом деле нужно выкосить такую-то лужайку, и почему же не сделать этого вот этому бодрому, крепкому старику, так свободно владевшему косой? Совершенно забывалось, кто был этот старик, и даже как-то не верилось, если вдруг вспоминалось... Оттого так фальшивы в сущности все эти яснополянские этюды, в которых особенно упражнялся Репин: «Лев Толстой за сохой», «Лев Толстой босиком» и т. д. В Ясной Поляне все было гораздо проще, естественнее и вполне искренне.

V

Скоро после обеда я ушел обратно к М. А. Шмидт. На другой день я уезжал и уже не рассчитывал более увидеть Толстого. Но незадолго до того, как мне отправляться на поезд, в передней домика Шмидт раздался какой-то шум: оказалось, что это пришел Лев Николаевич. Как раз в тот момент мы с Марьей Александровной жестоко спорили о «Крейцеровой сонате»: нужно ли понимать ее противобрачную тенденцию в абсолютном смысле, или же Толстой допускает исключение в пользу нормальных, так сказать, браков — искренних и подходящих по возрасту? Я отстаивал первую точку зрения: мне казалось, что автор «Сонаты» не отделяется от Позднышева в его бесповоротном осуждении всякого брачного «обмана»; Марья Александровна (сама незамужняя) склонялась, может быть, как женщина, к смягченному толкованию. В эту самую минуту входит Толстой. «Что же может быть лучше этого? — поспешил я воспользоваться обстоятельствами. — Спросим у самого автора, как он смотрит». Марья Александровна передала ему сущность спора, резюмировав ее в вопросе: «Можно ли сказать, что всякий брак есть падение?».

Толстой в этот день был не такой, как накануне. Его оживление пропало; устал ли он с дороги или был чем-то расстроен, но он сидел у стола какой-то хмурый, и живая ртуть его глаз потускнела. Так, сидя в этой поникшей позе и выслушав вопрос, каким-то недовольным и почти сердитым голосом он дал ответ в пользу абсолютного толкования: «Да, брак есть падение». — «Но неужели же всякий брак, Лев Николаевич?» — не сдавалась Марья Александровна. — «Ведь есть же исключение...». Но, все глядя куда-то вниз, в пол, с мрачным упорством произнес он решающее слово: «Да, в с я к и й брак есть падение...». Спор оборвался поневоле.

Мне пора было идти к поезду, и Лев Николаевич проводил меня до Козловой Засеки. Расставаясь на платформе, он протянул мне руку с прощальными словами: «Ну, гора с горой не сходятся, а человек с человеком сходятся! Еще, может быть, встретимся...». Однако не сбылось. Я больше никогда не видал Толстого.

Японский империализм и Китай

И. ТАЙГИН

(Окончание ¹)

V. Японские „интересы“ в Китае

В самом деле, в чем состоят эти пресловутые «интересы?» Приступая к ответу на поставленный вопрос, я прежде всего должен отметить, что японские «интересы» в Китае подразделяются на две основные группы: первая группа — это японские «интересы» в Манчжурии, в особенности в Южной Манчжурии и Восточной Монголии; вторая группа — это японские «интересы» во всем остальном или внутреннем Китае. Для того, чтобы составить себе правильное представление как о нынешнем положении вещей, так и об открывающихся здесь перспективах, необходимо рассмотреть обе группы названных «интересов» отдельно.

ЭЖ

а) «Интересы» в Манчжурии

Существует широко распространенное мнение, что Манчжурия нужна Японии прежде всего как резервуар для своего избыточного населения. Это большая ошибка. Достаточно привести хотя бы следующие цифры: за период 1905—27 гг. на территорию Манчжурии, включая Квантунгскую область, переселилось не больше 200 тыс. японцев. Несколько скромный результат для 23-летних усилий! Если принять во внимание, что население Японии ежегодно увеличивается на 700—800 тысяч человек, — манчжурская колонизация, как средство разрядки человеческой тесноты в метрополии, окажется лишь каплей в море. Причины данного явления довольно сложны, но главных из них все-таки две: во-первых, японцев пугает манчжурский климат (особенно в Северной Манчжурии), и, во-вторых, их не меньше пугает конкуренция дешевого китайского труда. Действительные, подлинные мотивы их чрезвычайной заинтересованности в Манчжурии кроются совсем в другом месте. Мотивы эти чисто империалистического характера.

¹) См. «Новый Мир», кн. 8 с. г.

В самом деле, становым хребтом всей японской экспансии в Манчжурии является знаменитая Южно-Манчжурская жел. дорога, уступленная царским правительством Японии по Портсмутскому договору. Эта дорога в течение последних 20 лет была любимым детищем токийского правительства и в настоящее время представляет собою чрезвычайно крупное и мощное предприятие. Ее оплаченный основной капитал определяется в 380 миллионов иен¹⁾, из которых 220 миллионов принадлежат государству. Весь же актив ЮМЖД, включая сюда все ее подсобные и связанные с ней учреждения и предприятия, 31 марта 1927 г. исчислялся в 889 млн. иен. Длина принадлежащих ЮМЖД рельсовых путей составляет 694 мили (1.100 километров), обслуживающий персонал исчисляется в 45.000 человек, а чистая прибыль дороги за период 1922—27 гг. в среднем составляла около 35 млн. иен в год. Дорога, как общее правило, выплачивает 10% дивиденда (вместо гарантированных правительством 6%) частным лицам и около 4% государству.

Указанным далеко не исчерпывается экономическое значение ЮМЖД. За последние два десятилетия она обросла колоссальным количеством всякого рода иных предприятий, которые в огромной степени повышают ее хозяйственную мощь. Перечислю важнейшие из этих предприятий.

Прежде всего необходимо назвать несколько обслуживаемых ЮМЖД морских портов, главным из которых является, несомненно, Дайрен (бывш. Дальний), насчитывающий в настоящее время 231 тыс. жителей. Дайренская гавань оборудована по последнему слову техники. В ней одновременно могут грузиться 27 пароходов, с общей водоизместимостью в 170 тыс. тонн. Самая погрузка сильно механизирована, так что в сутки может быть погружено до 16½ тыс. тонн. Дайрен служит исходным пунктом прямого пароходного сообщения с Японией и Китаем. Пароходные линии, поддерживающие это сообщение, либо принадлежат ЮМЖД, либо ею субсидируются. Общая стоимость судов и портовых сооружений ЮМЖД оценивается приблизительно в 50 млн. иен.

Далее, ЮМЖД в Дайрене, Чанчуне, Антунге и других городах имеет большое количество электрических станций с общей мощностью 20 млн. киловатт-часов в год. Ей же принадлежат большие газовые заводы, несколько мельниц, предприятия по производству стекла и цемента. ЮМЖД содержит в Манчжурии и Корее целый ряд первоклассных отелей. Она же располагает дачами и курортами поблизости от Дайрена, а также большим количеством земельных участков и торговых помещений, эксплуатируемых ею с большой прибылью. С ЮМЖД связана целая сеть экспортных, импортных, комиссионных и транспортных контор, которые монополизировали в своих руках дело бобового экспорта из Южной Манчжурии.

Как ни важны только что перечисленные предприятия, они все-таки совершенно бледнеют по своему значению перед тремя другими отраслями хозяйственной работы ЮМЖД, на которые японский империализм в последние годы обращает особенно крупное внимание. Эти три отрасли — уголь, железо и нефть.

¹⁾ Иена=93 коп.

Запасы угля в самой Японии не очень велики. Наиболее оптимистические исчисления определяют эти запасы в 9 миллиардов тонн, более осторожные выкладки принимают, что количество пригодного для промышленной разработки угля не превышает 2 миллиардов тонн. При этом коксующегося угля, столь необходимого для развития металлургии, в Японии встречается сравнительно мало (главным образом, на северном острове Хоккайдо). Корея и Формоза углем чрезвычайно бедны, о Южном Сахалине пока ничего точно неизвестно. Между тем, в Южной Манчжурии, главным образом в районе Фушуна и Ентая, имеются весьма значительные запасы хорошего угля, пригодного для целей коксования. Эти запасы, по весьма осторожным исчислениям, колеблются между 1—1½ миллиарда тонн. Вполне понятно, что южно-манчжурский уголь представляет большую ценность для японского империализма. Добыча угля в Южной Манчжурии в последние годы быстро возрастает, и в 1926 г. она составила около 6 миллионов тонн, т.-е., примерно, $\frac{1}{5}$ того количества (31 миллион тонн), которое в том году было добыто в самой Японии. ЮМЖД вложено в угольные предприятия 128 миллионов иен.

Еще большее значение имеет для Японии Манчжурия как источник железа. Сама Япония железом чрезвычайно бедна. Ее более или менее реальные железо-рудные запасы не превышают 5 миллионов тонн. Правда, в стране имеется большое количество железистого песку, на который японские империалисты возлагают довольно радужные надежды. Однако проделанные до сих пор опыты не оправдывают этого оптимизма, и промышленное значение железистого песку пока остается весьма гадательным. В Корее и на Формозе имеются довольно значительные запасы железной руды (до 50 миллионов тонн), но невысокого качества (ниже 40%). Между тем в Южной Манчжурии находятся весьма обширные залежи железной руды, исчисляемые в 200—300 миллионов тонн. Руда эта в большинстве своем низкосортная (33—35%), — тем не менее, 80 млн. тонн считаются вполне пригодными для промышленной разработки. Нетрудно понять, что японские империалисты придают совершенно исключительное значение железным запасам Южной Манчжурии. И, действительно, за последние годы роль Южной Манчжурии в японской металлургии все больше возрастает. Среднее годовое потребление железной руды в Японии за пятилетие с 1922—26 гг. составляло 1.118 тыс. тонн, из которых:

добыто было в Японии	79.000 тонн (7%)
» » » Корее	316.000 » (27%)
» » » Южной Манчжурии	270.000 » (24%)
	<hr/>
	665.000 тонн (58%)
ввезено из других стран	453.000 » (42%)
	<hr/>
Итого	1.118.000 тонн (100%)

Как видим, в течение последнего пятилетия Южная Манчжурия покрывала четверть потребности Японии в железной руде. При этом

заслуживает особенного внимания тот факт, что добыча железной руды в Манчжурии стремительно возрастала год от году.

На ряду с добычей железной руды ЮМЖД обращает большое внимание и на выплавку чугуна. Среднее годовое потребление чугуна в Японии за то же пятилетие 1922—26 г. составляло 1.105 тыс. тонн, из которых:

было добыто в Японии	657.000 тонн (59%)
» » » Кореи	100.000 » (9%)
» » » Южной Манчжурии. . .	88.000 » (8%)
	<hr/>
	845.000 тонн (76%)
было ввезено из других стран. . .	260.000 » (24%)
	<hr/>
Итого.	1.105.000 тонн (100%)

Как явствует из приведенных цифр, роль Южной Манчжурии в снабжении Японии чугуном пока еще довольно незначительна, но она быстро увеличивается. Действительно, в 1919 г. в Южной Манчжурии было выплавлено всего лишь 32 тыс. тонн чугуна, а в 1926 г. уже 200 тыс. ЮМЖД, вложившая в свои металлургические предприятия 46 млн. иен, рассчитывает в ближайшие годы довести выплавку чугуна до 500 тыс. тонн в год, и в этих расчетах точно так же нет ничего фантастического.

Наконец, вопрос о нефти. Запасы нефти в самой Японии совершенно ничтожны и к тому же быстро истощаются. По крайней мере, $\frac{4}{5}$ потребности страны в нефти, определяемой в настоящее время в 1—1,5 млн. тонн в год, покрываются ввозом из-за границы, главным образом из Северной Америки и Голландской Индии. При таких условиях нисколько не удивительно, что японский империализм перманентно находится в состоянии лихорадочной погони за нефтью. Нефтяная концессия на Сахалине, обещающая дать в 1928 г. 120 тыс. тонн жидкого топлива, может лишь отчасти смягчить нефтяной голод Японии. Вот почему «нефтяные перспективы», открывающиеся в Южной Манчжурии, привлекают к себе величайшее внимание со стороны токийского правительства. Правда, нефти в чистом виде в Манчжурии до сих пор не обнаружено, но зато в районе Фушуна (там, где находится крупнейшее угольное предприятие ЮМЖД) открыты громадные залежи нефтеносных сланцев, запасы которых исчисляются приблизительно в 4—5 миллиардов тонн.

Сказанным, однако, не исчерпывается все значение Манчжурии и Восточной Монголии для японского империализма. Этот район дает Японии довольно большое и все увеличивающееся количество продовольственных продуктов, главным образом бобов. Токийское правительство рассчитывает также, что в дальнейшем, с ростом корейской эмиграции в Манчжурию, оно сможет получать оттуда также значительные количества риса. В этом районе имеется также кое-какая обрабатывающая промышленность, принадлежащая японцам, в частности три текстильных фабрики, ряд маслособойных заводов, кое-какие механические предприятия и т. д. Этот район, насчитывающий в настоящее время до 30 миллионов населения, представляет собою также значительный рынок для

продуктов японской индустрии (торговля с Манчжурией и Квантунгской областью составляет около 25—30% всей японской торговли с Китаем). В дальнейшем, в связи с быстрым заселением Манчжурии иммигрантами из внутреннего Китая, число которых в последнее время составляет 600—800 тыс. в год, торговые перспективы в этом районе обещают стать еще более благоприятными. Нельзя забывать также и про богатые лесные массивы, имеющиеся в Южной Манчжурии, особенно по течению реки Ялу (общая площадь их составляет 13 тыс. кв. миль). Сейчас они, правда, японцами почти не эксплуатируются, но в будущем могут иметь для них очень большое значение, так как лесные запасы самой Японии невелики и весьма хищнически истребляются. Наконец, необходимо упомянуть также о том, что в Манчжурии встречаются в разных местах залежи меди, золота, свинца и других металлов, однако, до сих пор точно неизвестны ни размеры, ни ценность названных месторождений. Как, однако, ни важны и ни многообещающи только что перечисленные экономические возможности, они все-таки играют здесь совершенно второстепенную роль. Для японского империализма в настоящее время Манчжурия прежде всего — сырьевая база, дающая уже сейчас и обещающая в дальнейшем давать еще больше угля, железа и нефти.

Основной метод освоения и использования Манчжурии японским империализмом был и остается один и тот же — железнодорожное строительство. Мы знаем уже, что становым хребтом японской экспансии в этом районе является ЮМЖД. Однако на этом далеко не кончаются аппетиты японских империалистов. С 1905 года они неустанно планируют постройку целой сети подсобных рельсовых путей, которые постепенно должны охватить своими щупальцами Манчжурию и Восточную Монголию и явиться крепкой базой японской гегемонии в трех восточных провинциях.

В самые последние годы на путях японского империализма выросло новое и весьма серьезное препятствие, — это железнодорожное строительство самих китайцев. Не кто иной, как Чжан Цзо-лин, нанес два весьма чувствительных удара Японии. Во-первых, не считаясь с соглашением 1922—23 гг., он построил на китайские деньги линию Мукден—Хайлунь (движение открыто в 1927 г.) и приступил к постройке линии Хайлунь—Гирич, тем самым сводя на нет японский план о постройке линии Гирич—Хайлунь—Хаюань. Во-вторых, точно так же не считаясь с секретным соглашением 1905 г., Чжан Цзо-лин с помощью англичан построил линию Тунляо—Дахошань, идущую параллельно ЮМЖД и выходящую на Пекин—Мукденскую жел. дор. (английскую). Все протесты японцев ни к чему не привели. Мало того, Чжан Цзо-лин начал также переговоры с англичанами о постройке оборудованного порта в бухте Ляньшань, который должен явиться конкурентом Дайрену. И есть все основания полагать, что рост китайского железнодорожного строительства в Манчжурии (хотя бы и с известной помощью «третих держав») будет продолжаться.

В какой части Манчжурии лежит главный центр японских «интересов?».

Ответ на этот вопрос не подлежит ни малейшему сомнению. Главный центр японских интересов лежит в Южной Манчжурии.

В ином положении находится дело с Северной Манчжурией, по которой пролегает КВЖД. Здесь японский империализм пока еще не имеет особенно серьезных «интересов». Здесь встречаются японские банки, японские магазины, мастерские, фабрики и т. п. Здесь кое-какую деятельность развивает японский торговый капитал, в последние годы принимающий довольно усиленное участие в бобовом экспорте по линии Харбин — Владивосток. Но здесь нет ни японских копей, ни японских металлургических заводов. Северная Манчжурия даже с империалистической точки зрения не представляет собою «жизненной необходимости» для Японии. Это пока не столько сфера «интересов», сколько сфера вождений японского империализма.

Чтобы покончить с манчжурскими «интересами» японского империализма, я должен отметить еще то значение, которое придают этому району военные круги Японии. Для них Манчжурия не только сырьевая база (как в мирное, так и в военное время), но и чрезвычайно важный военно-стратегический плацдарм на случай вооруженного столкновения с Китаем и с СССР. Для японского генерального штаба важна поэтому не только Южная, но и Северная Манчжурия. Неудивительно поэтому, что движущей силой японской экспансии в Северную Манчжурию в настоящее время является не столько индустриально-финансовый капитал, сколько руководящая верхушка армии.

б) Интересы во внутреннем Китае

Если отвлечься от частных и деталей, то интересы японского империализма во внутреннем Китае в основном распадаются на четыре категории:

- а) интересы тяжелой индустрии (металлургии),
- б) интересы легкой индустрии (текстиля),
- в) интересы транспорта (морского, речного и железнодорожного),
- г) интересы торговли.

Ознакомимся вкратце со всеми этими «интересами».

Интересы тяжелой индустрии группируются около знаменитого Ханepingского предприятия, занимавшего, как мы знаем, весьма видное место в программе «21 требования» 1915 г. Предприятие это расположено около Ханькоу, в непосредственной близости от района Тайе, содержащего громадные количества (до 700 миллионов тонн) железной руды чрезвычайно высокого качества (67%). Ценность этого месторождения повышается еще благодаря тому обстоятельству, что недалеко от Тайе расположены крупные угольные месторождения (в Пинсянге), запасы которых определяются приблизительно в 500 млн. тонн. Крупное достоинство Ханepingского предприятия составляет также удобство и дешевизна транспорта по многоводной реке Янцзы, соединяющей его с Шанхаем.

Ханепингское предприятие, как чисто китайское предприятие, возникло еще в 1891 г., но с 1915 г. оно было преобразовано в японо-китайское и в течение целых десяти лет фактически управлялось японцами, вложившими в него до 45 млн. иен. Ханепингское предприятие добывает руду и выплавляет чугун (в 1919—21 гг. оно изготовляло также небольшие количества стали, в среднем около 30 тыс. тонн в год, но затем производство стали прекратилось). Что касается добычи железной руды, то она сильно колебалась год от году, о чем могут свидетельствовать следующие данные. Было добыто (в тысячах тонн):

1920 г. — 834	1923 г. — 487
1921 г. — 384	1924 г. — 469
1922 г. — 346	1925 г. — 242 ¹⁾ .

В 1920—27 гг. в связи с событиями китайской революции работа на Ханепингских рудниках сильно сократилась и только с начала 1928 г. стала несколько поправляться. В настоящее время в районе Тайе работает около 2.000 человек, добывающих около 40 тыс. тонн руды в месяц.

Выплавка чугуна Ханепингским предприятием производилась в гораздо более скромных размерах. В 1919 г. она составила 163 тыс. тонн в год, в последующие годы выплавка систематически падала, дойдя в 1924 г. до 27 тыс. тонн. Сейчас положение несколько поправилось, но все еще сильно отстает от 1919 г.

Ханепингское предприятие снабжало своей рудой крупнейший металлургический завод в Японии — Явата, на острове Кюсю, принадлежащий государству и дающий около половины всего железа, выплавляемого в Японии. Сейчас этот завод оказался в чрезвычайно тяжелом положении, ибо нанкинское правительство решило Ханепингское предприятие прибрать к рукам и вновь превратить его в чисто китайское.

Кроме Ханепингского предприятия, японцев еще очень интересуют крупные месторождения железной руды (до 80 млн. тонн), находящиеся около Циндао в Шаньдуни и в прежнее время разрабатывавшиеся немцами. Уже с переходом этих месторождений в японские руки добыча железной руды здесь временами достигала довольно значительной высоты (в 1920 г. — 128 тыс. тонн), однако, в дальнейшем в силу целого ряда неблагоприятных обстоятельств добывание руды под Циндао было прекращено. Сейчас рудники бездействуют, и, когда вновь начнется их эксплуатация, никто в точности сказать не может.

Интересы легкой индустрии ограничиваются почти исключительно текстилем. В Китае насчитывается 1.500 тыс. веретен, принадлежащих японцам, что составляет около 40% всего числа веретен, работающих в настоящее время в пределах Китайской республики. Главные центры японской хлопчатобумажной промышленности — Шанхай (953 тыс. веретен) и Циндао (244 тыс. веретен). Капитал, вложенный в японскую текстильную промышленность в Китае, исчисляется в настоящее время в

¹⁾ China Year Book на 1928 г., стр. 82.

230 млн. иен. Район сбыта производимых ею продуктов --- Центральный и Северный Китай, а также Манчжурия.

Интересы транспорта хорошо иллюстрируются следующей характерной таблицей, указывающей на роль отдельных наций в морских перевозках Китая:

	1916 г. в млн. тонн.	1925 г. в млн. тонн.
Англия	35,8 (40,7%)	42,9 (33,5%)
Япония	24,2 (27,5%)	35,0 (27,4%)
Китай	23,4 (26,6%)	33,0 (25,7%)
Прочие	4,5 (5,7%)	17,3 (13,4%)
	88,0 (100%)	128,2 (100%)

Как видим, на долю Японии приходится свыше 27% всех китайских перевозок. При этом весьма характерно, что японцы сумели за последние 10 лет сохранить свои позиции в целости, в то время как, напр., англичане понесли значительный урон.

Кроме морских перевозок, японцы осуществляют и значительную часть перевозок по китайским рекам, в частности по реке Янцзы. Их речной флот состоит из 30—40 пароходов.

Далее необходимо отметить, что японцы сильно заинтересованы и в некоторых железнодорожных линиях внутреннего Китая, в частности в Циндао—Цинаньской железной дороге, принадлежавшей прежде Германии, но после 1914 г. перешедшей к Японии.

Наконец, интересы торговые. Они чрезвычайно велики. За десятилетие 1918—26 гг. средний годового оборот японо-китайской торговли выражался в следующих цифрах:

Экспорт Японии (весь)	1.811 млн. иен. —100%
в том числе в Китай	480 » » — 27%
Импорт Японии (весь)	2.010 » » —100%
в том числе из Китая.	355 » » — 17%
Вся торговля Японии в целом.	3.821 млн. иен — 100%
В том числе с Китаем.	835 » » — 22%

Итак, торговля с Китаем составляет 22% всей японской внешней торговли, при чем экспорт в Китай достигает даже 27% всего японского экспорта. Это очень крупная величина. Японо-китайская торговля по своим размерам уступает только японо-американской. Экспортируются в Китай главным образом текстильные продукты (свыше половины всего экспорта), сахар, бумага, уголь, продукты рыболовства и т. д. Импортятся из Китая хлопок, бобы, рис, лен, конопля, лес, железо и т. д. Конечно, в приведенных цифрах японской торговли с Китаем включены также и цифры японской торговли с Манчжурией, но все-таки подавляющая масса японо-китайского торгового оборота идет именно с внутренним Китаем, а не с районом трех восточных провинций.

К этим основным линиям японских «интересов» во внутреннем Китае нужно прибавить еще кое-какие второстепенные моменты. Так, Япония располагает во внутреннем Китае шестью территориальными «концессиями» (в Тяньцзине, Ханькоу, Ханчжоу, Сучжоу, Чункинге и Амое). Она имеет также сравнительно широко распространенную здесь сеть кредитных учреждений (33 банка или, точнее, филиалов крупнейших банков Японии), обслуживающих, главным образом, интересы японо-китайской торговли и японских предприятий как во внутреннем Китае, так и в Манчжурии. Необходимо упомянуть также о значительном количестве японцев, занимающих различные посты на китайской административной, хозяйственной и военной службе.

Каково количество вложенного в Китае японского капитала?

Ответить на этот вопрос с достаточной точностью в высшей степени трудно. Различные источники дают сильно разнящиеся цифры. По данным «Японо-китайской ассоциации деловых людей» в Шанхае, которые можно считать в общем правильными, в Манчжурии Японией вложено около 1.200 млн. иен, во внутреннем Китае около 500 млн. иен и, сверх того, около 700 млн. иен дано в форме займов как различным китайским правительствам, так и отдельным лицам и местным самоуправлениям (из общей суммы займов лишь около 100 млн. иен относятся к категории займов, «обеспеченных» доходами с таможен, соляной монополии и т. д.). Всего, таким образом, Японией затрачено на свои китайские предприятия (экономические и политические) около 2½ миллиардов иен¹⁾.

Суммируя все сказанное выше о японских «интересах» в Китае, мы можем сделать следующее заключение. Эти интересы не во всех частях Китая одинаковы и, в основном, могут быть подразделены на две группы, которые для краткости можно обозначить как «манчжурские интересы» и «внутренне-китайские интересы».

«Манчжурские интересы» — это в первую очередь интересы финансового капитала и тяжелой индустрии (железнодорожное строительство, уголь, железо, нефть). С ними тесно связаны интересы военного порядка. Пред мощной комбинацией перечисленных интересов бледнеют и стусеваются интересы торговли, легкой промышленности, водного транспорта.

«Внутренне-китайские интересы», наоборот, являются в первую очередь интересами торговли, легкой индустрии и судоходства. По сравнению с ними отступают уже на задний план интересы тяжелой промышленности и финансового капитала.

Эту разницу между «манчжурскими» и «внутренне-китайскими» интересами японского империализма никогда не следует упускать из виду. Как увидим ниже, она находит свое отражение не только в сфере экономической, но также и в сфере политических отношений. Только исходя из нее, можно объяснить некоторые своеобразные изгибы в «китайской политике» современной Японии.

¹⁾ См. „Japan Advertiser“ от 29 мая 1928 г.

VI. Выводы и перспективы

Два основных вывода естественно вытекают из всего сказанного выше.

Первый вывод состоит в том, что в «китайской политике» японского империализма имеются две различные линии, соответствующие двум основным группам его «интересов» в Китае, две линии, которые далеко не всегда и не во всем совпадают и которые на протяжении последних лет не раз приходили между собою в конфликт.

«Внутренне-китайские» интересы японского империализма требуют, как своей предпосылки, наличия «добрых отношений» с широкими массами китайского народа. Ибо только при наличии таких отношений возможно вести успешную торговлю на безграничных пространствах Срединной республики, только при наличии таких отношений можно получать хорошие доходы с перевозки китайских грузов на японских судах, с работы японских текстильных фабрик в Шанхае и в Циндао.

Отсюда стремление тех элементов японского империализма, которые связаны с его «внутренне-китайскими интересами», поддерживать добрые отношения с Китаем и их готовность пойти на известный компромисс с требованиями национального движения, жертвуя ради этой цели даже значительной долей своих былых привилегий. В сфере экономической опорой этой линии являются, главным образом, текстиль и судоходство, в сфере политической — оппозиционная партия минсейто, в сфере государственных учреждений — министерство иностранных дел, хорошо учитывающее значение добрых отношений с Китаем в деле укрепления международной позиции Японии.

Наоборот, «манчжурские интересы» японского империализма диктуют ему несколько иную линию поведения. Конечно, и для эксплуатации ЮМЖД и для добывания угля, железа и нефти в Южной Манчжурии добрые отношения с китайским народом, в частности с населением Манчжурии, представляют большую ценность, особенно если подходить к этим вопросам под углом зрения более отдаленных перспектив. Но все-таки эти добрые отношения не составляют здесь такой повелительной предпосылки всякого успеха, как это имеет место во внутреннем Китае. В конце концов, уголь и железо можно вывозить из Южной Манчжурии даже и при не совсем гладких отношениях с китайским народом. Отсюда гораздо меньшая склонность тех элементов японского империализма, которые связаны с «манчжурскими интересами», к уступчивости в отношении национального движения в Китае. В сфере экономической опорой этой линии является тяжелая индустрия, в сфере политической — ныне господствующая партия сейюкай, в сфере государственных учреждений — военное министерство, хорошо помнящее, как в прошлом каждый крупный успех японского империализма добывался вооруженной рукой.

Обе указанные линии «китайской политики» Японии имеют в настоящее время два чрезвычайно ярких персональных воплощения: это — Сиде-хара и Танака.

В программной речи, произнесенной в январе 1927 г. в парламенте, Сидехара, бывший тогда министром иностранных дел, заявил, что в основу его «китайской политики» положены следующие четыре принципа:

- 1) Суверенитет и территориальная целостность Китая, абсолютное невмешательство в его внутренние дела.
- 2) Экономическая кооперация между обеими нациями по правилу «живи и жить давай другим».
- 3) Полная симпатия и сочувствие разумным стремлениям китайского народа и помощь ему в достижении этих целей.
- 4) Терпение и великодушие в отношении нынешнего состояния китайского народа, однако, при условии защиты разумными методами важных и справедливых интересов Японии¹⁾.

Представим теперь слово другой стороне и приведем некоторые цитаты из статьи нынешнего министра железных дорог Огава, напечатанной в апреле тек. года в японском журнале «Дипломатическое Обозрение». Беру Огава, а не Танаку только потому, что Танака ни в какой мере не идеолог, не любит и не умеет делать никаких политических обобщений. Исповедуемый им символ веры гораздо лучше умеет выражать Огава. И вот что пишет этот яркий представитель «манчжурской» линии японского империализма:

«Нынешний Китай находится в таком состоянии, что нет никакой надежды на улучшение положения, если китайцы будут предоставлены самим себе... Факт тот, что в Китае сейчас господствуют те элементы, которые способны только разрушать его благосостояние и губить его международную репутацию. В этом корень всех затруднений Японии. Барон Сидехара утверждает, что всякая нация, пытающаяся силой навязать Китаю свою собственную политическую или социальную систему, должна неизбежно потерпеть неудачу. Это неверно. История Китая есть, в сущности, история господства чужих наций и рас в этой стране. Можно утверждать даже, что история Китая есть история подчинения его народа системам и планам, принесенным иностранцами... Долг каждой нации в Китае состоит вовсе не в том, чтобы пассивно наблюдать события, разыгрывающиеся в этой стране, и рисовать при этом картины того, что случится через несколько десятков или сотен лет. Долг каждой нации состоит в том, чтобы защищать свои права и интересы такими способами, какие вызываются обстоятельствами».

И чтобы ни у кого не могло быть сомнения в том, о каких мерах он думает, Огава несколько дальше вполне откровенно заявляет:

«Разумная и твердая позиция иностранных государств в отношении Китая будет охлаждать возбуждение китайцев и даст им возможность трезво подумать над своим поведением. Посылка иностранных войск в один район Китая будет иметь хороший эффект в других частях страны, успокоительно действуя на местное население. От этого могут выиграть только порядок и торговля».

¹⁾ См. „Tokyo Nichi-Nichi“ от 10 апреля 1928 г.

Приведенные цитаты едва ли требуют комментариев. Из их рамки ярко смотрятся «внутренне-китайская» и «манчжурская» линии японского империализма.

Эти линии заявляют о своем существовании, однако, не только в речах и декларациях. Они совершенно явственно выступают в истории японо-китайских отношений последних лет, придавая ей характер зигзагообразной линии. Конечно, при этом приходится учитывать и роль международно-политического момента, но все-таки в основе данной зигзагообразности лежит борьба двух групп внутри японского империализма.

Второй вывод, который логически дополняет и корректирует первый и который естественно вытекает из самой сущности империализма, сводится к тому, что, как ни характерна разница между «манчжурскими» и «внутренне-китайскими» интересами, в ней нет ничего глубокого, ничего принципиального. Мы не можем эту разницу игнорировать, но мы не должны преувеличивать ее реального значения.

Сравните, в самом деле, вышеприведенные цитаты Сидехары и Огавы. На первый взгляд кажется, что их разделяет целая пропасть. Но вчитайтесь в них несколько внимательнее, и вы тотчас же заметите, что оба министра, по существу, стоят на одной и той же почве. Ведь и Сидехара тоже признает, что «важные и справедливые интересы Японии» в Китае должны находить себе полную защиту. Правда, он прибавляет, что эта защита должна осуществляться «разумными методами». Но что такое «разумные методы»? Кто сможет точнее определить смысл этого загадочного изречения? Почему при известном стечении обстоятельств под «разумными методами» нельзя понимать применение вооруженной силы? Разве сам Сидехара не двинул штыки против Го Сун-лина, когда почувствовал, что «важные и справедливые интересы» японского империализма в Манчжурии находятся в опасности?

При этом следует отметить, что чем дальше, тем больше ослабевает противоречие интересов между обеими группами японского империализма, ибо сейчас в порядок дня «китайской политики» во весь свой рост становится таможенный вопрос. Японская торговля нуждается в низких ввозных пошлинах в Китае; наоборот, Китай, с 1 января 1929 г. переходящий к тарифной автономии, собирается проводить протекционистскую политику. Компромисс по этому вопросу весьма затруднителен, — стало быть, в запасе остается только аргумент силы. Сидехаре, таким образом, приходится протянуть руку Танаке.

Из только что сказанного, естественно, вытекают и открывающиеся на ближайшее будущее перспективы. Совершенно очевидно, что японский империализм будет стараться как-то сбалансировать свои «манчжурские» и «внутренне-китайские» интересы. Но точно так же совершенно очевидно, что он будет зубами держаться за Южную Манчжурию, не останавливаясь даже перед вооруженной защитой имеющихся у него там прав и привилегий.

Июль, 1928.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

1. А. СТАРЧАКОВ. Неизданный Толстой. — 2. Е. РАММ. Рекордная книга. — 3. ЯК. БЕННИ. О романах Т. Дрейзера. — 4. Г. САНДОМИРСКИЙ. Старик из Дронеро. — 5. И. СТРЕШНЕВ. Обмен любезностями.

НЕИЗДАННЫЙ ТОЛСТОЙ 1)

А. Старчаков

Осенью 1863 года, обвенчавшись в Кремле, в придворной церкви с С. А. Берс, 35-летний Л. Н. Толстой уехал в Ясную Поляну. Дни холостой жизни, в которой минуты творчества перемежались с цыганскими попойками и тревожными закарточным столом, миновали навсегда. Больше не нужно было метаться в поисках денег, продавать Каткову за бесценок «на корню» неоконченную повесть, чтобы уплатить долг чести, — тысячи рублей, проигранных на китайском билларде какому-то армейскому шантану.

На смену холостой неразберихе пришла «семейное счастье». В дневнике писателя под датой 5 января 1864 года есть запись: «Счастье семейное поглощает меня».

Правда, радужный спектр семейного счастья время от времени пересекали черные линии ревности и домашних размолвок. Уже через 10 дней после этой записи мы читаем: «Последний раздор оставил маленькие следы... Каждый такой раздор как ни ничтожен есть надрыв любви». Но основная тональность тех дней все та же — «мне так хорошо, так хорошо», ибо «я так люблю ее».

Дух беспощадного самоанализа, никогда не покидавший Л. Н. Толстого, был если не вовсе убит, то во всяком случае на короткое время обезоружен.

Однако за этой семейной идиллией, за увлечениями хозяйством и «отъезжим полем» шла непрерывная сокровенная работа. Шла глубокая пахота того поля, на котором должна была заключиться грандиозная эпопея из эпохи наполеоновских войн. — «Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять», — писал Л. Н. Толстой спустя некоторое время Фету.

Среди этих приступов к первым главам «Войны и Мира» по какому-то непостижимому творческому капризу возникла первая комедия Л. Н. Толстого «Зараженное семейство», комедия, ни в какой мере не связанная с той периферийной темой, которая занимала тогда писателя.

В то же время «Зараженное семейство» является еще одним свидетельством, что между писателем и эпохой живут крепчайшие связи, что связи эти не может упразднить даже самая глубокая и самая своеобразная индивидуальность.

«Зараженное семейство» — отклик на острую тему тех лет, на тему, не умч-

1) Л. Н. Толстой. Неизданные произведения. «Федерация». Москва. 1928 г.

рающую и поныне. Первоначальный заголовок комедии «Старое и новое» показывает, что в центре внимания стоит вопрос о взаимоотношениях между поколениями. Эта тема носилась в воздухе.

За год до написания комедии в «Русском Вестнике» появился роман И. С. Тургенева «Отцы и Дети». Как мы знаем, тургеневский роман вызвал самые разноречивые толки. Д. Писарев приветствовал в нем изображение нового человека, «мыслящего реалиста». Но часть молодежи увидела в романе карикатуру на себя. Зато ликовали «реаки», как называл мракобесов А. Герцен. Какой-то бравый крымский генерал, отставленный за ненадобностью после позорной кампании, приветствовал роман И. С. Тургенева в такой лапидарной форме:

— Молодец сочинитель! Если встречу где-нибудь, то расцелую его. Молодец! Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх. Придумал же им название — нигилисты! Просту ведь это означает глист... Молодец!

Комедия «Зараженное семейство» и «Отцы и Дети» стоят в тесной тематической связи. Недаром сын помещика Прпбышева из комедии Л. Н. Толстого, собираясь в город, в «коммуну», именуется своего родителя — Кирсановым, по фамилии «отца» из тургеневского романа. «Если ты не Кирсанов и самодур, прпшли мне средства к жизни», — говорит молодой Прибышев.

Точку зрения крымского бурбона на «лохматых господчиков» разделял и А. Писемский, в том же году ошельмовавший молодежь в своем пасквильном романе «Взбаламученное море». И в 1863 же году Н. Г. Чернышевский передал Н. А. Некрасову из Алексеевского равелина Петропавловской крепости «вою рукопись «Что делать», к слову «сказать потерянную Н. А. Некрасовым по дороге домой и найденную мелким чиновником. Роман «Что делать» стал евангелием социалистической молодежи 60-х годов.

Итак «Что делать» и «Зараженное семейство» — однолетки. На чьей же стороне в этом споре двух поколений был молодой Л. Н. Толстой? Несомненно,

если бы комедия Л. Н. Толстого увидела свет, она вызвала бы целую бурю справедливого негодования среди молодежи.

В споре между «отцами и детьми» Л. Н. Толстой если и не становился открыто на сторону «отцов», то во всяком случае со всей решительностью обрушивался на «детей».

С радикализмом 60-х годов Л. Н. Толстой познакомился в редакции «Современника». Вернувшись из Севастополя в 1855 году, Л. Н. Толстой был принят в кружок литераторов и писателей, группировавшихся вокруг «Современника». — «Двадцати семи лет я приехал в Петербург после войны и сошелся с писателями. Меня приняли, как своего, льстили мне», — рассказывал впоследствии об этом периоде Л. Н. Толстой.

В «Современнике» появились его «Детство и отрочество», его «Набег».

И. Панаев ездил по домам и без устали читал вслух в гостиных молодого Толстого. Ф. Достоевский, познакомившись в книжках «Современника» с повестями Л. Толстого, спрашивал из Семипалатинска, где он находился тогда в ссылке по делу петрашевцев. — кто этот таинственный Л. Н.?

Однако радикальное направление «Современника» было не по духу Л. Н. Толстому. «Здесь не ваше знание», — кричал ему во время споров либерал И. С. Тургенев, тогда еще видевший в «Современнике» знамя и сотрудничавший с Н. А. Некрасовым.

Д. В. Григорович в своих литературных воспоминаниях рассказывает об одном обеде в редакции «Современника», испорченном выступлением Л. Н. Толстого. Упрямо молчавший весь обед Л. Н. Толстой к концу счел нужным высказаться против тех «кумиров» и тех идей, которым поклонялись литераторы из «Современника». Д. В. Григорович еще до обеда просит его не касаться некоторых вопросов и удерживаться от нападок на Жюль Занд, ибо «перед нею фактически преклонялись в то время многие из редакции».

— Обед прошел благополучно. Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу

новому роману Жорж Занд, — рассказывает Д. Григорович, — он резко объявил себя ее несправедливым, прибавив, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы ради наказания привязать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам.

Как мы знаем, вся вина Жорж Занд и ее героинь заключалась в проповеди «женского равноправия», «эмансипации женщин», как говорили в те годы. Приговор по адресу освобождающейся женщины был суров. Недаром в устах помещика Прибышева из «Зараженного семейства» слова «эмансипация стриженная» звучат, как брань. Эмансипация женщины, трудовые коммуны, — весь комплекс нигилистических идей тех лет встретил в молодом Л. Н. Толстом своего противника.

Но было ли это выражением законченного реакционного мировоззрения?

В те годы Л. Н. Толстой находился в оппозиции не только к нигилистам. — «Какое бы мнение ни высказывалось, и чем авторитетнее казался его собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное», — рассказывает Д. Григорович о Л. Н. Толстом в тот период его жизни.

Этот офицер, числившийся за ракетной батареей генерала Константина, пронизывал собеседника серыми и глубоко запрятанными глазами и, прощически сжимая губы, высказывал, как правило, диаметрально противоположное суждение, которое должно было озадачить и сразить своей неожиданностью. Достаточно было кому-нибудь заговорить о Шекспире, — и Л. Толстой обрушивался на английский драматурга. Эта неприязнь к Шекспиру впоследствии, как известно, вылилась в целую книгу, нытающуюся развенчать драматурга.

Молодой Л. Н. Толстой входит в гостиницу, где собравшиеся заняты чтением вслух нового произведения А. Герцена.

— Тихо став за креслом чтеца, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такой горячностью и смелостью папал на Герцена и на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такой искренностью и доказатель-

ностью что в этом семействе я уже не встречал изданий Герцена, — рассказывает Г. Даннлевский.

Достаточно было Н. С. Тургеневу высказать ту или иную «красную» мысль, чтобы Л. Н. Толстой начал «резаться с ним на словах». А так как в спорах он доходил до крайности, то нередко беседа с Н. С. Тургеневым оканчивалась размолвкой.

— Тургенев нищиг, нищит, зажмет рукой горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «не могу больше, у меня бронхит», и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. — «Бронхит, — ворчит Толстой вслед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит — это металл».

Попытка предотвратить размолвку вызывает новый взрыв. Толстой, надувшись, лежит в средней проходной комнате, на сафьяновом диване. Тургенев, раздвинув полы короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, нервно ходит взад и вперед по комнатам. Очевидец одной из таких сцен — Фот берет на себя миссию помирить спорящих.

— Голубчик Толстой, не волнуйтесь, вы не знаете, как он вас ценит и любит.

— Я не позволю, — говорит, с раздувающимися ноздрями Толстой, — делать мне на зло. Это вот он нарочно ходит взад и вперед мимо меня и влияет своими демократическими ляжками.

Однако было бы ошибкой видеть в неприязни молодого Толстого к демократии 60-х годов только задор и жажду противоречия. В ней было, конечно, нечто большее. Классовое, помещичье-дворянское предубеждение Толстого, несомненно, сыграло роль в оценке нигилизма. Одесский архиепископ Никанор всерьез попрекал российского дворянина тем, что он ненавидит семинариста, — это была классовая неприязнь дворянина к разночинцу. Семинарист Твердынской, один из персонажей комедии «заражающий», по мысли Л. Н. Толстого, нигилизмом помещичью семью, очень близок к насквилю.

— Мужики пашут с 4 часов, а тут до 12 чай пьют, — этими словами в сущности нечерныбаются вина семинариста.

Но дворянская неприязнь к демократу четко звучит в «Зараженном семей-

стве». Л. Н. Толстой заставляет говорить своего Твердынского на каком-то невозможном жаргоне, он не жалеет красок, чтобы очернить семинариста. Попутно Л. Н. Толстой сводит счеты с «акцидным либералишкой» Венеровским. Возможно, что в изображении Венеровского, самовлюбленного либерала, слышится отголосок того раздражения, которое осталось в Л. Н. Толстом после его столкновений с либералом Н. С. Тургеневым.

Мы, современники, можем, пожалуй, радоваться, что комедия в свое время не увидела света; ее чисто литературные достоинства не велики, — обличительная тенденция «с'сла» комедии. Появившись в свое время, комедия подогрела бы реакционный патос на молодежь. Мы по-прежнему воспринимаем комедию Л. Н. Толстого.

Каждая эпоха и каждый класс имеют свое мерило вещей, свое представление о должном. Симпатии Л. Н. Толстого отдавал старухе-няне, бесталанной Любочке, отчасти отцу-помещику. Но патри симпатии на стороне демократа Твердынского. Больше не вызовет проницательной улыбки «стриженная иманциация». Нам не кажутся смешными мечты девушки, пытающейся уйти в город из деревенской глуши. — «Я буду свободна и независима», — заявляет племянница помещика Прибышева. Эта тирада молодой женщины, «зараженной инглизмом», должна была прозвучать в комедии, как пасквиль. Но, конечно, совсем по-иному звучат эти слова для наших современников. Спор между помещиком Прибышевым и молодым поколением историча решился не в пользу помещика.

Л. Н. Толстой был увлечен своей комедией. В 1864 году он повез ее в Москву, желая поставить ее на казенном театре. Но сезон уже подходил к концу, и комедии ему не удалось увидеть на сцене. Вскоре работа над «Войной и Миром» заслонила комедию. Наш читатель познакомился с нею с опозданием в 65 лет.

* : *

Впервые публикуемый парижский дневник Л. Н. Толстого относится к несколько более ранней эпохе, чем «За-

раженное семейство». Это — ума холодные наблюдения и горестные заметы сердца, относившиеся к первому выезду писателя за границу. 29 января 1857 года Л. Н. Толстой выехал в почтовой карете из Москвы в Варшаву и оттуда в поезде в Париж. Дневник, представляющий собою короткие отрывочные записки, говорит о том глубоко проницательном душевном состоянии, в котором находился тогда Л. Н. Толстой.

Меньше всего парижские впечатления могли успокоить взволнованный дух писателя. Париж Наполеона III входил в полосу той предпринимательской горячки и биржевого ажиотажа, которые были позже отражены с таким блеском в социальных романах Золя.

«Великая паника заводчиков», — как злобно называл французскую буржуазию Бальзак, увидела в Наполеоне III укротителя революционной стихии. Потрясения 48 года остались позади. Буржуазия спокойно кошила ценности и наслаждалась. Быть может, здесь, в Париже, возникло то отвращение к буржуазной цивилизации, которое уже никогда не покидало Л. Н. Толстого. Образ Наполеона III, вождя и кумира французских рапуге, вызывает чувство ненависти в молодом Толстом. «Биржа — ужас», — записывает Л. Толстой. Но вместе с неприязнью к бирже приехавший из русского захолустья писатель высказывает и неприязнь к новой, неведомой ему индустриальной технике. Л. Н. Толстой сравнивает железные дороги с публичным домом. «Железная дорога к путешествию — то же, что публичный дом к любви. Так же удобно, так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно», — говорит он впоследствии Тургеневу.

В Париже, 6 апреля 1857 года, Л. Н. Толстой присутствовал при гильотировании повара Рыше, обвиненного в двойном убийстве. В письме к Боткину, написанном в тот же день, Толстой говорил:

«Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь... И это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь».

Много лет спустя, вспоминая об этом дне, Толстой напишет в «Исповеди»:

«Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то и другое врозь застучало в ящике, я понял не умом, а всем существом, что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка».

В том же дневнике мы находим мысль, как бы суммирующую впечатления тех дней:

«Все правительства равны по мере зла и добра, лучший идеал — анархия».

Быть может, под влиянием этой же казни находился Л. Н. Толстой и в 1866 году, когда он горячо взял на себя защиту рядового Шибунина, которому угрожал расстрел за нанесение побоев командиру. Л. Н. Толстой проиграл дело своего подзащитного: Шибунин был казнен.

Среди прочих впервые публикуемых материалов привлекает внимание отпоясанный к кавказскому периоду отрывок «Тревога», комедия «Нигилист», примыкающая к «Зараженному семейству», и «Как гибнет любовь», песторни первой «чистой» любви, смятой соблазнами чувственности.

Издаваемый впервые материал расширяет читательское представление о Л. Н. Толстом новыми яркими подробностями, характерными для того сложного и противоречивого творческого пути, которым шел Л. Н. Толстой.

Не иконописный, «перукотворный» лик, но подлинное земное лицо писателя связывает за этими литературными фрагментами, отделенными от нас длинным рядом десятилетий.

2. РЕКОРДНАЯ КНИГА ¹⁾

Е. Рамм

Литературная жизнь для каждого уважающего себя участника таит много опасностей. Немало бумаги исписано о схематизме, штампах, о «переоценках и недооценках повобуржуазной опасности». Меньше всего писали о возможности мещанской опасности. Правда, нельзя было не учитывать роли мещанина, как потребителя, по ориентирующуюся на него продукцию мы спокойно относили к «издержкам производства», не придавая ей серьезного значения.

Однако же бешено рекламируемый ГИЗом роман Васильченко заставляет нас выдвинуть вопрос о новой «недооценке». Перед нами вполне отчетливая попытка мещанина активно вмешаться в литературу, превратиться из потребителя в поставщика, да еще под флагом «стопроцентной» идеологии. Все эти моменты и принуждают нас подвергнуть анализу данную книгу, вне этого заслуживающую лишь умолчания.

Сержантом романа служат злоключения жены пропавшего без вести бело-гвардейца, «прекрасной» Любы. Как во всяком добропорядочном бульварном

романе, дело не обходится без «злодея», некоего Придорова, преследующего героиню еще задолго до начала повествования. Но тогда, заявляет автор, «...молодой женщине удалось временно отгородиться от низменных ухаживаний. Она была беременна... В романе же автор, благоразумно лишив героиню единственных, по его мнению, возможностей самозащиты, бросил ее (для заязвки) в объятия злодея. Последний, добросовестно выполняя свою роль, вечно мучает героиню, а еще больше советскую власть различными вредительскими действиями. С той же немолчаливой закономерностью появляется «третий» — благородный покровитель, неизменный «бульварный граф», функцию которого, как и следовало ожидать, выполняет ответработник-коммунист Стебун (ничего не поделаешь, — разница эпох!). Последний срочно влюбляется в нашу героиню и не менее срочно устраивает ее на службу. Люба на второй же день становится незаменимым работником, к тому же весьма коммунистически настроенной. Правда, и до службы «что-то коммунистическое» в ней было. Так, она, напр., питала определенную ненависть к пизцу. Автор рассказывает, что однажды она в одном эпизоде «присела передохнуть и

¹⁾ Васильченко, «Не той стороной». М. ГИЗ, 1928 г. Стр. 508. Ц. 3 р. 50 к. Тир. 5,000.

пробежать неуловимым взглядом по каждой из наиболее эффектных прелестниц сквера, мысленно сравнивая их с собой. Скентически усмехнулась. Дешевка. Льола не знала, что этот примитив нарядов и манер создан людьми зна, но чувствовала, что это не то, что дала ей самой тренировка ее собственного вкуса к парядам и к уходу за своей наружностью.

К концу романа она чуть было не выходит замуж за Стебуна, чему помешало лишь появление первого мужа, до этого скрывавшегося под чужой фамилией и успешно поднимавшего «индустриализацию страны». Стебун, как добавляет «благородному графу», ретируется и оказывает содействие в легализации мужа, после чего немедленно умирает от разрыва сердца.

Не менее решительно, чем с героями, расправляется автор и с языком. Мы отнюдь не протестуем против общей банальности стиля Васильченко, вполне соответствующей его установке. Конечно, злодей должен разговаривать с героиней тоном повелителя («Долго вы думаете так прожить?—повторил Придоров тоном повелителя»). Мы хотели бы лишь указать на некоторые злоупотребления авторским правом. Так, каковы бы у людей ни были скверные помыслы, все же не подобает им «впиваться», а тем более «вспухать». Придоров же, предложив Льоле стать его женой, при этом «вопросительно внился в Льолу и весь вспух от значительности своего замечания». Мы также примиряемся с тем, что Стебун—«скоба из железа». В самом деле, не обладать же ему, по примеру своих литературных образцов, тонкой фигурой, бледным лицом и темными продолговатыми глазами. Недаром же он большевик. Но нам кажется, все же лишним, что он обладает «шомпольной стегучестью», кроме того, «семижилен» и еще «заведен на рабочий лад» («шомпольная стегучесть семижильного и заведенного на рабочий лад Стебуна...»). Так же, если «скоба из железа» должна скрипеть, то все же до известных пределов. А Стебун даже синину сгибает со скрипящим стоном.

Правда, у него умирает ребенок, но недостаточно ли, что он «стоил и хватал себя за горло, чтоб не кричать от боли, от звериной злобы на жизнь»... Вообще же у Стебуна странные бывают реакции. Так, например, когда он увидел Льолу, «его будто шевельнуло, и он с интересом посмотрел на молодую женщину». Не менее непонятно, для чего автор демократизирует язык вполне светской женщины: «Живут не так, как хочется. Если хотите за это ткнуть в меня пальцем, то можете». Но, в общем, надо отдать справедливость автору,—все это совсем не диссонирует с общим тоном романа, и не претендующим на особую культурность. Претензии его гораздо меньшего размера, простираются лишь, по авторитетному заявлению ГИЗ¹⁾, на разрешение проблем современности. И, конечно, проблемы эти, попавшие в бульварную копструцию, весьма своеобразно выглядят.

Если мешаешь и хочешь разрешать проблемы (не все же шутаться любовью), то, во всяком случае, полегче и побыстрее. В этом отношении бульварный жанр максимально удобен для такого рода «облегчений». И, действительно, в свободное время все герои Васильченко так или иначе «строят социализм», и все же особой загруженности не ощущается. А происходит это потому, что не успевает какой-нибудь герой приехать на завод, как последний бурно начинает восстанавливаться. Уж очень большим рвением обладают они. Вот как, например, говорит автор об одном из своих героев: «Он готов был вымахать из себя семижильное рвение, лишь бы это помогло найти в жизни то место, надежды на отыскание которого не заглохли в нем до последнего издыхания».

Так же успешно демонстрируются в романе и другие злободневные вопросы: нэпманы, боящиеся лишь правого уклона и с сокрушенным сердцем шествующие в Дом Союзов поклониться телу Ленина; пионердвижение, возник-

¹⁾ См. рекламу в «Бюллетене ГИЗа», № 24—25: Васильченко, «Не той стороной»,—социально-политический роман, посвященный проблемам современности.

шее из-за того, что некоему комсомольцу Ковалеву нужно было стать во что бы то ни стало деятелем ¹⁾, и, наконец, кулак в деревне, успешно наказываемый автором за жадность тем, что по ошибке убивает дочь. Но и этого мало. Если вопросы мирового масштаба, то и героев надо соответствующих, во всяком случае, «чтоб не ниже полковника». И Васильченко действительно потрудился. Вождь на вожде сидит. И все заправские, настоящие, — их и распознать-то легко. Кстати этим разрешается и одна из основных литературных задач бульварного жанра — необходимость сенсаций. Конечно, пикантно, если, напр., ответственный работник воспитывает в жене классовую ненависть, издеваясь над «буржуазной» женщиной, ставшей проституткой. Но все это чересчур старо. Выполняя функцию приспособления бульварщины к честолюбивым помыслам мещанина, Васильченко весьма изобретательно «возвышает» сенсацию. Такой высокой сенсацией является уже упомянутая выше спекуляция на распознавании (грузинский акцент и т. п.), весьма импонирующая обывательскому любопытству, и, наконец, не менее пикантны партийные разногласия, если они происходят из-за того, что «не поделено имущество». Между Тарасом (один из видных чекистов. — **Е. Р.** и Стебунов (упомяну-

тый благородный покровитель, он же один из будущих лидеров оппозиции. — **Е. Р.**) установились неискренние отношения еще со времени, когда оба они оспаривали первенство на руководство партийной организацией в одном из крупных областных центров. Стебунов тем пристрастнее относился к своему сопернику, что Тараса в центре скоро оценили, и тот взят был для работы в Москву». И апогея в изобретении сенсации достигает автор, когда превращает руководителей партии в сатрапов, разделивших между собой страну. «Примите во внимание, что на Урале товарищ Герман и те, которые на золотом пере его ручки поклялись сообща выдвигать его в вожди. На юго-востоке — товарищ Зарембо, который блокируется с Тарасом... (цитата эта была приведена еще в рецензии, помещенной в «Правде»).

Во всяком случае, если роман этот и социально-политический, как утверждает ГИЗ, то весьма своеобразного типа. Мы думаем, что было бы ближе к истине назвать его бульварным романом, пытающимся обмануть читателя своей идеологической гримировкой. На этом можно было бы закончить анализ покушения мещанина на литературу и с удовлетворением констатировать, что покушение не удалось. Появление этого романа ставит вопрос о «выдержанности» художественной продукции ГИЗ'а. Мы по простоте душевной относили гизовских Никоновых к «ошибкам аппарата»; но эти ошибки как будто начинают возводиться в принцип. Мало того: ни одно из других изданий ГИЗ'а, сравнительно различных, не было с такой помпой продвинуто в читательскую среду, как эта мещанская подделка под «социально-политический» роман. Над этой «случайностью» руководителям ГИЗ'а следует серьезно подумать.

¹⁾ «Всякий комсомолец уже сделался за это время деятелем (ждутся будущий организатор пионердвижения Стебуну.—**Е. Р.**): один прославился сочинением стихов, другой провел кампанию за броню подростков, один я—как пришлепка какая-то.—«Я думал об одной, вот какой работе (отвечает Стебун.—**Е. Р.**): надо организовать детей рабочих предкомсомольского возраста... Учите ребят преданности пролетариату и ленинизму. Если это вам удастся, губком и партия благословят вас и переведут все это дело на настоящий путь,— вот вы и отличитесь».

3. О РОМАНАХ ТЕОДОРА ДРЕЙЗЕРА¹⁾.

Як. Бенни

(Заметка).

Девятитомное собрание сочинений Теодора Дрейзера, выпускаемое ЗИФ'ом, — значительный этап в большом и пужном деле систематического ознакомления современного нашего читателя с подлинной западноевропейской и американской литературой. И подчеркнул слово «подлинной», ибо все (за очень небольшими исключениями), что выдается в свет многочисленными издательствами переводной беллетристики под заманившими этикетками «новостей», «новинок», «сенсационных романов» и т. под., — не более, нежели литературные отбросы, ложь-литература, макулатура буржуазного художественного рынка.

Отрадно поэтому отметить качества настоящего издания: хорошие переводы, дельные предисловия, послесловия, обильный справочный материал, «сводки отзывов иностранной критики, приложенные к каждому тому. Культурная тщательность издания даст возможность даже читателю, мало знакомому с американской литературой, освоиться с крупнейшим представителем современного американского романа, ориентироваться в его творчестве, понять, хотя бы в общих чертах, общественную и литературную среду, в которой протекает его писательская деятельность, уловить динамику отношений между писателем и современным ему обществом!..

Давно бы так! — вместо того, чтобы издавать разрозненные томики бездарных «развлекателей» и юмористов

с широковежательными анонимными предисловиями.

Из числа виднейших мастеров современной англо-саксонской литературы, ставших благодаря переводам доступными широким кругам русских читателей, — я говорю о Джозефе Копрэде, Синклере Льюисе, В. Вудворде, Теодоре Дрейзере, — последний заслуживает особенного внимания.

Дрейзер широко раскрыл перед современным миром врата пресловутого «американизма». С огромным, замечательно вышколенным напряжением, удивительно трезвый и стойкий, он ведет своих соотечественников и современников по действительности, которая, по общему предубеждению, на девять десятых состоит лишь из металлического блеска вертящихся спиц и электрической тяги. Никто до него не имел необходимого мужества прокричать американистскому мгновию: «Остановись!..». Поэтическая формула Гете во второй четверти XX столетия в капиталистической стране обернулась к смельчаку «Американской трагедией». Да и как могло быть иначе? Его книги и особенно центральная из них — «Американская трагедия» — призваны были с неумолимой правдивостью показать американистскому обществу его падеж, неотвратимое гниение в самых истоках его сил, роковой путь «сынов» этого общества — прообраз разрушения всей общественной системы.. Тем страшней показалось обличение, что обличитель никак не мог и не может быть отнесенным к числу «социалистических безумцев», «опасных врагов общества» и т. д.

Дрейзер — буржуазный писатель. Больше того, он весь мир — и историческую действительность, и общественную судьбу — органически воспринимает только в рамках капитализма. Он позитивен, как агрессивный буржуа; он — индивидуалист, упрямый художник личности-волка, почти шицпеанец, как подобает писателю воинствующего

¹⁾ Теодор Дрейзер, Собрание сочинений под общ. ред. С. С. Динамова. Т. II. «Финансист», роман. Полн. перевод с англ. М. Левиной. Предисл. и примеч. С. Динамова. Т. III. «Титан», роман. Предисл. С. Динамова. После-словие С. Сайгеля. Т. IV. «Гений», роман. Предисловие С. Динамова. Т. VI. «Американская трагедия», роман. Перевод с англ. Э. А. Вершининой. Предисл. С. Динамова. Т. VII. «Цепи», рассказы. Перевод с англ. В. Барбашевой. Предисл. Рут Кеннел. Из-во «Земля и Фабрика». М. — Л. 1928. Тир. каждого тома 5.000 экз.

капитализма. В чем же дело? Что заставило зоркого мастера, неутомимого наблюдателя, ни на минуту не порывающего с генеральными силами буржуазного общества, повернуться лицом к серийному американцу, властно остановить его и, стиснув зубы, сумрачно, с потрясающей, поистине медицинкой тщательностью на протяжении почти всей писательской деятельности вскрывать под кипучей внешностью американского благополучия предвестия величайших бед, зародыши бурь? Мы знаем несколько типов писателей, социальной функцией которых является сигнализация опасностей, стерегущих класс и общество, к которому эти писатели принадлежат; деятельность, например, большинства гуманистов эпохи позднего капитализма является ничем иным, как огромным сигналом, обращенным к «хозяевам жизни», каким-то грандиозным SOS в ледяной ночи надвигающихся войн и общественных катастроф.

Но Дрейзер не гуманист. Его герои скорее сродни «белокурой бестии» Ницше! Он всматривается в историю стремительного роста классического американца со второй половины XIX века, т. е. с первых проявлений капиталистического бешенства! Стоило лишь остановить «американское мгновение», т. е. прервать на секунду ослепительный бег машин, финансовых трансмиссий и зеркальных вертушек контор, банков, отелей, чтобы в тысячах отражений возник перед Дрейзером оскаленный образ погибающего от перенапряжения современного американца; изуродованная судьба человека, созревающего для нового социального уклада, поработанного, раздвоенного укладом нынешним,—вот тема Дрейзера. Он не устает следить за трагической маской своего героя. К нему он обращается, на его силы тщетно надеется опереться в грядущей катастрофе. Его романы не выкрик, не памфлет, не неожиданное открытие, не догадка. Его романы—система. Идет ли речь о трехтомной эпопее американского рва-

ча—Купервуда («Финансист», «Титан», «Гений»), либо о книге трагических рассказов «Цепи», или о самой «Американской трагедии», Дрейзер остается верен себе... Он монументален, внешне спокоен, точен, логичен и бесконечно, непередаваемо внимателен: вот главная линия существования, вот побочная, какие-то едва уследимые тропинки, мосты, перепутья, привалы, «случайности», калейдоскопическая смена пейзажей и—снова остановка, и снова целые озера скрупулезных деталей. Огромные полотна его — биография Купервуда, построенная на материале исторических фактов, и история преступления Клойда Гриффитса («Америк. трагедия»), также непосредственно связанная с реальными событиями,—поражают ни с чем несравнимым богатством красок, оттенков, изгибов в рисунке внешней человеческой биографии. Писатель как бы обходит верным и непрерывным дозором своих героев, он глядит на них и снизу, и сверху, и вровень, он вращается вместо со всей солнечной системой своих образов, видит их и доутру на заре и в пламенный полдень,—все дорого ему, все важно: человеческая работа, человеческая надежда, черная тень и неясный и страшный контур потаенной ночной жизни.

Его реализм стихийно и превосходно организован. На краях, на перевалах его романов сгущаются подробности, и иной раз от утомительной метели их слепнет читатель. Но, если последовать за Дрейзером, терпеливо доверяясь ему,—убеждаешься, что Дрейзер прав, что закономерна и благородна его требовательная писательская манера, идущая мимо интересов случайного читателя...

Его дело серьезно. Он создал эпопею американской действительности; теперь он обходит последние тропинки буржуазного индивидуализма, за которыми либо молчание, либо обращение к иным социальным силам.

Мы заканчиваем нашу заметку пожеланием скорейшего завершения издания.

4. СТАРИК ИЗ ДРОНЕРО ¹⁾

(Джиованни Джолитти. 1843—1928 г.г.).

Г. Сандомирский

«... Мне удалось вновь упрятать Маркса в мансарду».

(Из парламент. речи Джолитти 9 апр. 1911 г.)

О некоторых выдающихся государственных деятелях можно сказать, что если они родились не во-время, то зато сумели во-время умереть... Бывают такие политические биографии, которые — при объективном подходе к ним — мы можем рассматривать не только, как определенные вехи в истории современников, но и как целые глыбы определенной исторической эпохи, с шумом и треском отваливающиеся от нее. Чтобы признать это, нет никакой надобности преувеличивать значение отдельных, хотя бы и выдающихся личностей в нарастании исторических событий, нужно только признать, что такие личности сумели лучше и ярче других современников воплотить в своей жизни и деятельности данную историческую эпоху. Словом, бывают жизни и смерти, символическое значение которых для переживаемого отрезка истории ни в ком не может вызвать сомнений.

Семидесятипятилетний югославский премьер Никола Пашич, умерший в прошлом году, разве не символизировал в себе длиннейшую и интереснейшую эпоху мучительного формирования новейших государственных образований на Балканах? И разве его жизнь не была такой глыбой, отвалившейся от общей истории Балкан? Личное политическое ренегатство Николя Пашича, начавшего с серьезного увлечения идеями Бакунина и Чернышевского и кончившего возглавлением полуфашистской радикальной партии, — разве не типично для многих представителей его поколения, начинавших с братабля с самоотверженными русскими революционерами того времени и кончавших тем, что становились оплотом мрачайшей реакции на Балканах? Такие примеры далеко не единичны. Такие жизни, символизирующие идейную и политическую эволюцию ряда

поколений, встречаются чуть ли не в каждой стране: Венизелос — в Греции, Клемансо — во Франции и мн. др. Все это весьма нелестные символы духовной и политической эволюции тех, кого в свое время рассматривали, как сливки европейской интеллигенции, как «властителей дум», сумевших заиграть сердца любовью к «прогрессу», «человечеству» и прочим внеклассовым «деликатесам», умевших увлекать за собой на подвиги и кончивших свое «служение угнетенным», по большей части, черным ренегатством. Смерть Джованни Джолитти не могла не вызывать в нас этих реминисценций о целом ряде погибших политических репутаций всех этих бывлых «властителей дум», часто сгинувших значительно раньше, чем они, подобно каменным глыбам, отваливались от падевшей исторической эпохи.

Поскольку, однако, речь идет о Джолитти, необходимо сделать ряд оговорок. Следует напомнить, что, в противоположность Николе Пашичу, он никогда не объявлял себя «народником» и никогда не принимал участия в террористических замыслах против своего короля; в противоположность Жоржу Клемансо, не высказывал своих симпатий анархическому индивидуализму и никогда не писал, вместе с Аристидом Брианом, брошюр о преимущественном значении всеобщей стачки, как метода подготовки социальной революции. Мало того, он никогда даже не состоял в рядах социалистической партии вместе с Бенито Муссолини, тем самым, который своими репрессиями обрек его под конец жизни на полную политическую бездеятельность. Конечно, Джолитти, в эпоху борьбы за объединение Италии бывший сформировавшимся уже человеком, не мог не отдать дань политической риторике того времени, но во всю свою жизнь он оставался человеком, не выходящим

¹⁾ Загородная вилла Джолитти.

за рамки определенного политического мирозерцания. Конечно, Джолитти был одним из величайших «мастеров» политического компромисса и одним из величайших «государственных» плутов нашего времени в области внутренней и внешней политики, но его идеология никогда не знала таких катаклизмов, которые могли бы его привести к ренегатству. Его мировоззрение укладывалось в весьма несложную формулу: служение капиталу. Либерализм, печальным рыцарем которого официально оставался и в эпоху фашистской диктатуры, ему представлялся лишь лучшей и наиболее надежной формой буржуазного господства. С этой стороны следует определенно установить, что Джолитти никогда не «обманывал» итальянского пролетариата, ибо никогда не скрывал от него своей социально-политической физиономии. Это был открытый классовый враг, и те либеральные побрякушки, которыми он любил время от времени нарядиваться, могли обманывать только дураков. Ими могли также пользоваться сознательные предатели рабочего класса в роде тех соглашателей, которые, зная истинную цену им, все же не раз призывали рабочих «верить старику». А между тем, нет ли одной другой страны в Европе, в которой эти либеральные побрякушки имели так мало значения, как в Италии. Если в Англии, например, тяжба между копсерваторами и либералами ведется на протяжении веков, то в Италии, напротив, настоящего разграничения между либеральной и копсервативной партиями никогда и не было. Джолитти попеременно бывал лидером то либерального крыла копсервативной партии, то копсервативного крыла либералов. То, что в других европейских странах представляло всегда предмет ожесточенной борьбы, в Италии сводилось к различию в оттенках и охотно смягчалось при помощи всяких «личных» комбинаций.

Однако при всех оттенках и при всех комбинациях Джолитти оставался резко выраженным классовым врагом пролетариата, не скрывавшим своих конечных целей. Человек, в условиях насквозь пропитанного лицемерием и цинизмом

буржуазно-парламентского строя Италии семь раз возглавлявший кабинет, не мог не обманывать рабочих, но это было обманом врага, скорее неизбежным тактическим его приемом в непримиримой борьбе. А в таких условиях итальянский пролетариат и особенно его вожди могли быть обманываемы «коварным стариком» только тогда, когда сами этого хотели...

Возможно, что Джолитти отдал такую слабую дань пышной фразеологии своей эпохи еще и потому, что он начал делать свою политическую карьеру уже в зрелом возрасте. Но сделал ее все же с молниеносной быстротой. Сначала он служил маленьким чиновником в финансовом ведомстве и стоял далеко от всякой политики, хотя сумел обратить внимание правительства на свои проекты и докладные записки. Впервые он прошел депутатом в Монтенотрино (тогда самый итальянский парламент, который впоследствии, вплоть до самой его смерти, пельзани было в свое время отставить Ломоносова от Российской Академии) в 1882 году, а через семь лет уже был министром финансов. Но затем он изменил своему основному призванию и семь раз был премьером, уделяя особое внимание министерствам внутренних и иностранных дел.

Но Джолитти был сыном своего времени. Оставаясь всегда верным стражем капитала, он никогда не был «дайхардом», и английские твердолобые, давно отдавшие свои симпатии Муссолини, вряд ли оплакивают сейчас его смерть. Это был «просвещенный буржуа» третьей и четвертой четвертей истекшего столетия, считавший нужным облачать фактическую диктатуру капитала в пышные ризы либеральной идеологии. Прежде всего, он не любил церкви, был далек от религии и верил, что пролетариат можно держать в узде, не прибегая к помощи господ-бога. Не он один жил не в ладу с Ватиканом: все, что только было передового в итальянском обществе того времени, ненавидело религию и ее слуг. Энрико Малапестра только несколькими годами моложе Джолитти, и

он рассказал пишущему эти строки любопытный факт из времен своей далекой юности. В неаполитанском университете, где он слушал лекции, на несколько тысяч студентов было всего... два верующих студента, посещавших церковь, и они, в конце концов, были исключены из университета постановлением своих товарищей. Вот каков был в ту эпоху этот юг Италии, во времена фашистского владычества вновь вернувшийся под черное крыло церкви! Джолитти был типичным представителем той «просвещенной» буржуазии, для которой либерализм и атеизм были основными элементами их личного мировоззрения, несколько не пренебрегая им предаваться самой ожесточенной эксплуатации рабочих и крестьян. Если взбунтовавшиеся «рабы» отказывались повинаться, не видя для себя никакой разницы в том, что их эксплуатирует не верующий католик, а безбожник или франк-масон: если буржуазный парламент оказывался недостаточной отдушиной для выхода накопившегося недовольства,—либерал Джолитти умел находить — и помимо господ-бога и его заместника на земле — достаточно убедительные средства «успокоения» для недовольных. Иногда случалось, что в применении этих средств Джолитти заходил так далеко, что ставил под удар свою карьеру. Но это только казалось другим. Джолитти так хорошо изучил хитрую механику буржуазного парламентаризма, что всегда мог рассчитывать на безнаказанность, — нужно только умело сочетать по отношению к рабочему классу и околпачивающим его социалистам политику «киута и пряника»,—и все великолепно сойдет с рук. И он, действительно, оставался всегда безнаказанным, ибо никто не превзошел его в искусном применении этой политики. Джолитти обходился с рабочим классом так, как в добрые старые времена обращались родители со своими «детьми»: где нужно—возьмут лаской, где нужно—пуют в ход розгу. Так, в 1905 году он поставил на карту свою карьеру суровой расправой с рабочими, участвовавшими в волнениях; ему пришлось уступить свой премьерский портфель другому. Но уже в 1906

году он вернулся на министерский пост, на котором оставался 4 года. В 1911 г. он в 4-й раз образует министерство, а в 1912 г. он приобретает популярность проведением реформы, значительно расширившей круг избирателей в парламент, хотя и вынужден он был ее провести под сильным нажимом широких масс.

В конце концов, к Джолитти привыкли, как привыкают к болезни, но его не любили в стране. Его огромная тень нависла над Италией, и каждый лояльный итальянец в конце концов начинал думать, что мрачная тень «Vecchio» должна сопровождать весь его жизненный путь от рождения до могилы. Его не любили даже те, верным прислужником которых он оставался до последнего издыхания. Это был прекрасный, остроумный собеседник, неплохой оратор, но черствый, сухой эгоист. Но главное «качество» Джованни Джолитти заключалось в том, что он сумел сделать себя необходимым Италии и—в особенности — Савойскому дому. Самые важные дела король, не столько любивший, сколько боявшийся своего почти бессменного премьера, решал, только посоветовавшись с ним. Если «старик» в критическую для Италии минуту находился за границей, решение дела откладывалось до его приезда; в крайнем случае, его срочно вызывали в Рим. Джолитти приезжал, «наводил порядок» и затем опять уезжал. Мрачнейшая сторона репутации Джолитти заключается в том, что без его прямого участия не происходило ни одно усмиренье рабочих волнений или забастовок.

Когда в августе—сентябре 1914 года англо-французская дипломатия начала склонять Италию к выступлению на стороне Антанты, самым сильным препятствием, на которое она натолкнулась, был «нейтрализм»¹⁾ Джолитти, ибо по «старика» равнялась вся страна, и только французское золото, которым было куплено содействие интервенционистов и торжество фашизма, оказалось сильнее его...

¹⁾ «Нейтралистами» называли в Италии тех, кто был против вмешательства в войну; «интервенционистами» — стоявших за участие в войне.

Когда ровно 6 годами позже на севере Италии вспыхнуло революционное движение, приведшее к захвату фабрик, а в некоторых местностях и к разделу помещичьих латифундий, от Джолитти ждали спасения не только все благонамеренно-имущие элементы, но и сбита с толку мелкая буржуазия и интеллигенция, которым, казалось бы, терять, как и пролетариату, было нечего. Но так велик и прочен был престиж Джолитти, что нужного «жеста» страна ждала только от него. И надо отдать ему справедливость:— вряд ли в истории Европы за последнее столетие можно было бы найти более искусного и вероломного усмирителя, чем Джолитти, всегда клявшегося возвышенными либеральными принципами. Кавеньяк, Галлифа, румынский Авереску, уложивший 11 тысяч крестьян во время восстания 1907 г., наши Треповы и ротмистры Трещенки, расстреливавшие на Лене и в других углах России сотни и тысячи рабочих, современный нам Носке, соц.-демократ, за которым во всем мире укрепилась кличка «кровавой собаки», — все это даже не собаки, а щенки по сравнению с Джолитти. «Работа» их была грубая, топорная: они просто расстреливали пачками рабочих и на красном месиве из человеческих тел топорно строили свои карьеры. Как далеки их приемы от полувосточного, полувенетического вероломства Джолитти: сам Макиавелли мог бы встать из гроба, чтобы порадоваться успехам своего ученика.

Однако, чтобы понять основную причину его успехов в 1920 году, необходимо несколько вернуться вспять, к моменту возникновения империалистской войны.

Итальянский народ в целом ненавидел войну. Перспектива выступления в рядах одной из воюющих коалиций пугала и внушала отвращение не только трудящимся массам, не только подавляющей части мелкой, но и крупной буржуазии. Все помнили еще печальные результаты триполитанской и прочих колониальных авантур. Разочарование в этих авантюрах толкнуло внимание молодой буржуазии объединенного королевства на развитие ита-

янской промышленности, которой с давних пор приходилось преодолевать огромные препятствия, вследствие отсутствия угля, руды и ряда других неблагоприятных условий. Один из ярых противников войны, вместе с Джолитти заплативший за эту позицию своей политической карьерой, Франческо Нитти пишет по этому поводу в своей книге «Неумиротворенная Европа» следующее:

«Все эти, казалось, непреодолимые препятствия... устранялись путем применения разных технических мероприятий, по большей части осуществлявшихся по германским образцам и с германской настойчивостью».

Далее Нитти говорит о тех «неоценимых услугах, которые в течение 33-летнего периода до войны были оказаны Италии Тройственным Союзом».

Нужно помнить, что в эту эпоху германский капитал стремился к необычайной экспансии и, обратив свое внимание на итальянскую промышленность, в короткое время приобрел в Италии значительное влияние. С ним были связаны крупнейшие предприятия, не говоря уже о проникновении германского финансового капитала, проводившего свое влияние в Италию главным образом через «Banco Commerciale». Итак, если итальянскому пролетариату одинаково ненавистна была перспектива выступления в рядах той или иной воюющей коалиции, то тем кругам крупной буржуазии, которые были связаны с германским капиталом, была особенно ненавистна возможность выступления в защиту англо-французского капитала. Джолитти принадлежал именно к этим кругам. Всю свою изворотливость, всю свою нечеловеческую энергию он употребил на то, чтобы не допустить выступления Италии на стороне Антанты. Но французское золото, мобилизованное интервенционистов и первых фашистов, выступивших под знаменем патриотизма и ирредентизма в союзе с той частью промышленников, которые тяготели к военным заказам и поставкам, оказалось сильнее.

Италия «ввязалась» в войну и, хотя сами фашистские вожди до сих пор продолжают вопить на всех перекрест-

ках о том, что война ничего не дала Италии, эти горе-патриоты до сих пор не прощают Джолитти его изменнического нейтралитета. Но в трудящихся массах выступления Джолитти против ненавистной войны, конечно, были истолкованы в его пользу и не могли не укрепить его престижа. При свойственном итальянцам сентиментализме и «персонализме» его нейтралитет был истолкован как нежелание итти на поводу у союзников и в угоду им проливать итальянскую кровь. Массы, за исключением наиболее передовых верха, не были в состоянии разобраться в истинных мотивах борьбы нейтралитетов; они не понимали, что речь шла о борьбе германского и аптантовского золота.

Истинную цену «народолюбия» Джолитти им пришлось узнать в 1920 г.

Армандо Борги — известный итальянский анархист-эмигрант, на выдаче которого из САСШ как раз сейчас настаивает правительство Муссолини, выпустил любопытнейшую книгу «Италия между двумя Кризисами»¹⁾, в которой наиболее ценными являются документальные данные, разоблачающие закулисную сторону фашистской победы. Достаточно ярко освещены и детали поражения известного движения металлистов в 1920 году. Прекрасно очерчена роль Джолитти в эти решающие дни. Можно признать, что если Венизелос заслужил в свое время от буржуазной Греции титул «отца отечества», то в неменьшей мере буржуазно-монархическая Италия того периода обязана своим спасением Джованни Джолитти.

Одни из объективных очевидцев и участников знаменитого движения, заставившего всех друзей пролетариата с радостным трепетом ожидать в Италии повторения Октября, так характеризует его темп и размеры:

«Железнодорожники уже без всяких директив подвозили сырье к фабрикам, управлявшимся рабочими. Трудно перечислить все те города, в которых за-

хват фабрик и заводов стал совершившимся фактом. Достаточно сказать, что не было ни одного местечка, даже с небольшими мастерскими, которое не примкнуло бы к движению, на всем протяжении Италии, включая Сицилию».

Это движение должен был раздавить «старик», которому были вручены для этого все полномочия буржуазией и королем. «Старик» учитывал прекрасно и эту предательскую роль, которую к тому времени уже играли социаллисты в рабочем движении Италии. Он знал, что и их требования не идут дальше пресловутого «контроля» над фабриками, и если они шли дальше, то только подхлестываемые революционным подъемом среди масс. Какое место это оружие реформистского предательства занимало в арсенале «старика», видно из заявления, сделанного Джолитти несколькими неделями позже в Сенате в ответ на нападки, вызванные в известных кругах буржуазии его «мирной» тактикой:

— Если бы я пустил в ход силу, — сказал хитрый «старик», — произошли бы убийства. Кроме того, если бы я применил полицейскую силу для освобождения захваченных фабрик, кто мог бы поручиться мне за поддержание общественного порядка и спокойствия? Я питал доверие к Конфедерации труда (возглавлявшей ее реформистами.—Г. С.), и последующие события показали, что она заслужила это доверие.

(Каким огненным клеймом предательства по отношению к рабочему классу горят эти слова Джолитти на лбу Даррагоны и прочих Иуды!)

У Джолитти были антагонисты в некоторых кругах итальянской буржуазии, не пожелавшие признать его заслуг в деле подавления августовско-сентябрьской революции 1920 г. Эти враги хотели в свою честь подавления движения приписать только Иудам, вышедшим из недр рабочего движения. Так, 29 сентября, когда итальянская буржуазия свободно вздохнула от «красного кошмара», газета «Corriere» писала довольно ядовито по адресу общепризнанного спасителя:

«Италия счастливо избежала опасности взлететь на воздух... Революция не

¹⁾ Armando Borghi «L'Italia tra due Crispi», Parigi, 1924.

произошла не оттого, что среди нас нашелся человек, который сумел бы воспрепятствовать ее шествию, а только потому, что этого не хотела Конфедерация».

Конечно, это — величайшая несправедливость по отношению к Джолитти, и такую неблагодарность к нему буржуазный орган мог проявить лишь в минуту раздражения. Истина, как это часто бывает, лежит посредине: «старик» спас буржуазный строй в Италии, используя предателей-реформистов. Однако все коварство, все изощренное вероломство, вся поистине византийская хитрость, пущенные в ход для его спасения, неотъемлемы от личности Джолитти. Самый беглый обзор событий того времени покажет правильность нашего утверждения.

...Движение уже достигло своего апогея, а Джолитти еще находился в отпуску, который он совмещал с дипломатическими переговорами. И только, когда стало ясно, что буржуазное «отечество» поставлено на карту, спасителя спешно выписали в Рим.

Первое правительственное сообщение, с которым Джолитти обратился к «взбунтовавшимся рабам», должно быть занесено золотыми буквами на скрижали истории... буржуазного гнета и издевательства над пролетариатом всего мира. В этом «коммюнике» хитрый старик, которому нужно было выиграть прежде всего время, писал:

«Захват фабрик вызван ясными экономическими мотивами, и правительством будут приняты все меры к улажению вопроса».

А еще через три дня (15 сентября), в результате сговора с предателями-реформистами, обязавшимися сорвать движение, Джолитти обнародовал уже свой исторический декрет, намечавший порядок организации паритетных комиссий, при помощи которых рабочие смогут осуществить свое участие в контроле над промышленностью. Декрет заканчивался лаконично:

«Рабочие должны вернуться на свои места».

Эти слова подводили траурную кайму под всем движением. Джолитти торжествовал свою «бескровную» по-

беду. Он знал, что все остальное в декрете, за исключением этих слов, — сплошная б у ф ф о п а д а. Хитрый старик потирал руки при мысли, что рабочий класс Италии можно было поддеть на эту нехитрую удочку, а рабочие уже через несколько дней почувствовали, что в руках у них очутилась сломанная игрушка...

Мы не хотим применить к Джолитти того изречения, которое гласит, что «хитрость — это ум дураков». Однако события, развернувшиеся вскоре, показали, что его победа была на самом деле «Пирровой победой». Во время августовско-сентябрьского движения фашисты, организовавшиеся в партию еще в марте 1919 года, но скрывавшие свою истинную классовую сущность под маской «внеклассового» патриотизма, занимали по отношению к движению металлистов нейтральную позицию. В одной из своих напыщенных речей того времени Муссолини даже заявил, что движение в пользу захвата фабрик «отображает величие итальянского национального духа» и не вызовет отпора со стороны фашистов. Это, конечно, тоже было хитрым приемом со стороны фашистов, уже точивших тот острый нож, который они собирались вонзить в спину рабочего класса Италии. Покуда не был известен исход движения, правительство и фашисты наперебой старались своими демагогически - безответственными заявлениями снискать себе симпатии рабочих.

Победа «старика» развязала руки чернорубашечникам, которые поняли, что разгромленный рабочий класс им выдал с головой, с одной стороны, Джолитти, — с другой, — реформистами. Стихия была развязана. Вскоре вся Италия была залита кровью...

Джолитти, оставшийся при всяких правительственных комбинациях главным слугой и главным советчиком итальянской буржуазии, продолжал способствовать «развязыванию стихии». Он все еще опасался того, что взбунтовавшиеся рабы могут вновь стать господами положения. Призрак революции еще реял над головой итальянской буржуазии и в том числе

над его собственной. Почему же не помогать тем, кто взял на себя задачу раздавить «красную гадину»? Конечно, принципы либерализма—и, в особенности, итальянского—остаются неизблемы. Такой выдающийся лидер его, как Джованни Джолитти, не может перестать клясться ими. Он остается верным королю и... конституции. Но зачем ставить палки в колеса тем, кто, хотя и не проявляя особой верности и уважения к конституции, поставил своей задачей искоренить крамольников и восстановить уважение к «священной собственности»? Либеральная партия, возглавлявшаяся Джолитти по самый день его смерти, не отличалась единогласием в этом вопросе. По отношению к фашизму в ней образовались три крыла: правое, возглавлявшееся Саландрой, никогда не скрывавшее своих глубоких симпатий к фашизму; умеренное, не афишировавшее этих симпатий, но, несомненно, расположенное к нему, и, наконец, левое,—самое слабое, пытавшееся отмежеваться от фашизма «во имя нетленных принципов либерализма». Как лидер либеральной партии, Джолитти примыкал к золотой середине, время от времени фрондируя против фашизма. Но, в качестве главы правительства, в 1921 г., когда фашисты открыто стали готовиться к захвату власти, Джолитти, еще не оправившийся от страха перед революцией 1920 г., всемерно способствовал их победе. Перед его глазами маячили два страшных призрака—черный и красный, и он своими старческими руками потянулся к черному. В той же книге Армандо Борги мы находим поразительные документальные разоблачения насчет того негласного блока, который существовал между правительством Джолитти и фашистскими лидерами. Этот блок способствовал тому, что против разгромленного рабочего класса Италии в то время ковались ковы одновременно и теми, кто в парламенте жаловался на «попрание» фашистами священных принципов либерализма и клялся своей неизблемой верностью «Статуту» (конституции), и теми, кто уже безнаказанно посылал карательные экспедиции против «бунтующих» го-

родов и деревень. Так, один из опубликованных секретных документов того времени представляет собой приказ, обращенный к командному составу регулярной итальянской армии, содействовать формированию и обучению черной фашистской милиции. Даже ребенку ясно, в какой фарс превращается при таких условиях знаменитый «поход на Рим» в 1922 г., совершенный Муссолини в... спальном вагоне. Тогдашний премьер Факта, один из бесцветнейших учеников «старика», свято выполнявший его волю, руками либерального правительства подготовил эту маргаритовую «победу». Эксперимент этот, однако, обошелся итальянским либералам гораздо дороже, чем они предполагали.

Случилось так, что едипственный раз в жизни старый маг и волшебник из Дронеро не рассчитал, как следует, и этот раз оказался роковым для него. Старик не сумел предугадать размеров, которые при его прямом содействии примет фашистское движение. Он, очевидно, понял это, когда было уже слишком поздно. Он пытался договориться с победителями, но они отказались видеть в нем вчерашнего союзника в борьбе с пролетариатом и разговаривали с ним, как с побежденным врагом. Они припомнили теперь все его давнишние грехи; его нейтралитет 1914 года, его презрительное отношение к интервенционизму; ему, раздавившему революционное движение 1920 года, ставили теперь в вину заигрывание с рабочим классом и систематическое расшатывание государственного аппарата, доведшее Италию до разгрома; ему, наконец, приписывали поражение Италии в дипломатических переговорах и принижение ее внешнего престижа. Старик из Дронеро, некогда хваставший тем, что ему удалось водворить Маркса обратно в мансарду, должен был бы радоваться теперь, видя, что Маркс загнан одним из его недавних учеников—кровавым ренегатом Муссолини—в подполье, по... ему было не до радости: он очутился в роли волка на псарне. Его нетленные принципы конституционализма и либерализма

оказались ровно никому ненужными. За эту труху никто не намеревался сражаться. Разбитый блоком фашистов и либералов, рабочий класс Италии отступил, затаив в себе жажду классового мщения и новых боев до лучших времен, но неужели он стал бы выступать на защиту того, кто воплотил в себе всю жестокость и все вероломство буржуазного господства? Джолитти сделал все зависящее от него, чтобы договориться с фашистами на равных началах, он заявил во всеуслышание, что готов работать с каждым правительством «порядка», но уже всем было ясно, что маг из Дронеро очутился в положении того мага, который, вызвав злых духов, был бессилён загнать их обратно. И лучше всего это понимали сами фашисты, которые требовали от него полной капитуляции. Они развили бешеную агитацию против него, не пощадив даже его личности. Все в нем — даже его старость — было подвергнуто осмеянию. Еще накануне победы, которая в них не вызвала сомнений, фашисты писали: «Мы не хотим иметь больше премьером разлагающийся труп, который скоро станут приносить в Монтечиторно на носилках, нам нужен юный премьер, который будет прилетать в парламент на аэроплане, управляемом им самим» (намек на военно-спортивные доблести Муссолини).

Это противопоставление престарелого Джолитти и 39-летнего Муссолини, вообще сыграло не последнюю роль в фашистской агитации того времени. Джолитти стал символом одряхлевшего либерализма, Муссолини — восходящей зарей «великой Италии».

Фактически эти утверждения насчет безнадежной дряхлости Джолитти были далеки от истины. Маг и кудесник в политике, он проявлял свои колдовские способности и в отношении своего физического существа, как бы заколдовав себя от смерти. До последнего года, уже после того, как он вступил в полосу заката своей политической славы, старик продолжал совершать пешком свои ежедневные прогулки, из загородной виллы в Монтечиторно, в 10—15 километров.

Но, конечно, он мог быть символом политического заката итальянского либерализма. Его оппортунизм закатных дней уже не был, как прежде, признаком силы и живучести, а символом банкротства и разложения. Вся длинная жизнь, полная всяких комбинаций, интриг и предательства, оказалась под конец сплошным блефом. Казалось, судьба назначила ему быть живой иллюстрацией нашей народной поговорки: «Обманом всю жизнь пройдешь, назад не вернешься». Итальянский либерализм, давно обанкротившийся в глазах пролетариата, на другой день после фашистской победы предстал перед всем миром в образе нгрушечного паяца с выпотрошенным брюхом из деревянных стружек. Увы, он был бессилён теперь соблазнить даже ребенка...

Но залах правительственного пирога не переставал дразнить обоняния старика до последнего издыхания, и в этом была предсмертная трагедия Джолитти. Его старческий слух ласкали слова приближенных льстецов, нашептывавших ему, что пусть фашизм победил на время, но единственным возможным его наследником в Италии все же остается Джолитти. И у него нехватило смелости, после того как раздел власти с фашистами оказался невозможным, разделить участь Франческо Нитти, обрекшего себя на прозябанье в эмиграции и теперь, по указу Муссолини, даже лишённого прав итальянского гражданства. Его тактика в отношении фашистского кабинета — образец трусливой половинчатости, совсем не похожей на широкий размах его прежних «combinazioni» периода политической славы. Тот факт, что он оставался в Италии, не раз использовался Муссолини за границей, как доказательство сотрудничества с фашизмом благомыслящих элементов. Он не связал своей судьбы с «Авентинской» оппозицией после убийства Джакомо Маттеоти. Террористическая тактика распоясавшихся чернорубашечных бандитов встречала его полуробкое осуждение только в газетных интервью. Оставаясь до последнего момента одним из немногочисленных депутатов парламентской оппозиции, он почти не

пользовался трибуной Монтечиторио для разоблачения правящей клики. Умный старик из Дронеро прекрасно понимал, что итальянский парламент отжил свой век, но он не хотел лишиться этого мостика на тот случай, если опять зайдет речь о разделе правительственного пирога. До последнего момента он не переставал думать, что «его позовут»...

И только в прошлом году, когда Муссолини, выдвинув пресловутую «корпоративную» реформу, поставил на голосование в парламенте вопрос об упразднении Монтечиторио, — того самого, который был колыбелью, а теперь стал саркофагом политической карьеры старика из Дронеро, Джолитти в последний раз выпрямил свою спину перед фашистами и голосовал против «корпоративной реформы», мотивируя тем, что она нарушает «Lo Statuto»

(конституцию), эту священную альфу и омегу итальянского либерализма.

Увы, это было последним жестом старика из Дронеро, воплотившим в себе все бессилие одряхлевшего и обанкротившегося итальянского либерализма. Следующим символическим жестом была уже его смерть. Он не замедлил выполнить его на 86 году жизни...

Итальянский пролетариат, перешагнув через символическую смерть своего непримиримого и наиболее изворотливого врага, каким являлся итальянский либерализм, станет ближе к своему освобождению. Революционеры еще выйдут не только из мансард и подполья, — они вернутся с пустынных островов и из эмиграции и уготовят фашизму еще более бесславную смерть; чем та, которой кончил его тайный союзник — железный старик из Дронеро.

5. ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

(Из истории культурных взаимоотношений Америки и Англии)

И. Стрешнев

Горький устами Сатина заявил когда-то: «Человек — это звучит гордо». И не устает повторять эту мысль в своей деятельности.

Однако, при всем сочувствии к гордой мысли о всечеловеке, приходится вносить в нее некоторую грамматическую поправку: «Человек — это будет звучать гордо», когда осуществляются его мечты о всечеловеческом союзе свободных людей. А пока что история говорила иное. Вместо простого и четкого наименования — человек она наклеивала на людей дробные и неравноценные ярлычки. Были и есть слова, которые, пристав к человеку, безвинно лишали его всех человеческих прав. Эти слова всем знакомы. Варвар или христианин — для древнего мира, еретик — в средние века, инородец — в царской России, дикарь — в колониальных империях... Как ни разное звучали они на разных языках и в разные времена, смысл их всегда одинаков: бесправие, гонения, обнищание, часто смерть.

А с другой стороны, были и есть слова, которые, складываясь в сакрамен-

тальную формулу, давали человеку право богатеть, угнетать, грабить, а, следовательно, еще богатеть. Такие слова ограждают произносящего их надежнее всякого оружия. Для их носителя они крепче брони, они страшнее грозы для обидчика. В древности так звучало гордое заявление: «Civis Romanus sum» («Я — римлянин»). Еще вчера, когда не расплзалась по всем швам мировая Британская империя, «Я — британец. Правь, Британия! Британия, правь волнами!», звучало не менее гордо. Араб или китаец, случайно задевший англичанина, рисковал, что на завтра его сотрет с лица земли гостинец с английского бомбовоза или залп с английского крейсера. По отношению к бледнолицым «обидчикам» не менее действительным средством были: консул, нота, ультиматум, справедливое возмещение.

Бирс в своем «Словаре Сатаны»¹⁾ так определяет богатство: «Богатство —

¹⁾ «Словарь Сатаны», см. в № 2 «Вестн. Иностр. Литературы» за 1928 год.

безнаказанность», а ярлычок британца был поручкой безнаказанности, обогатившей любого колониального грабителя. На попытке заставить гордо звучать формулу: «Я — немец! Германия превыше всего!» на наших глазах сломала себе шею молодая германская империя. Но, переломив германский булат, английское злато покорилося золоту заморскому, и по всему миру все явственней стал звучать приценивающийся вопрос: «Я — американец. Что стоит?».

Правда, есть еще три слова, которые сейчас объединяют обе группы человеческих наименований. Для одних они звучат гордо, со стороны других — вызывают подозрения и ненависть. Есть много мест, где произнесемому их они приносят много неприятного, но зато они объединяют обитателей одной шестой земного шара, они порождают надежду у многих обитателей прочих шестых. Как знать, не эти ли слова будут «звучать гордо» в той же Америке или Англии. Вы их знаете, эти слова. Но не о них сейчас речь.

Такова уж судьба граждан мировых империй, что произнесший гордо: «Я — американец», цедит с пренебрежением: «Эти, эмигранты». Сознание своего превосходства и пренебрежение к иноземному и пнакомыслящему стало непременной принадлежностью истинного, стопроцентного американца, основа его символа веры. И это в стране, которая уже много столетий заселяется гражданами всех стран, которая имеет себя «Страной Свобод» (Land of the Free), величайшей демократией мира.

Кое-кто из американцев сознает опасность таких противоречий. Вот что пишет, например, Майльс Боутоу, много лет проживший в Европе и излечившийся там от национальной близорукости стопроцентных, в журнале «Гражданин» (Freeman), недолго просуществовавшем на средства одного либерально настроенного миллионера.

«Лет двадцать тому назад учебники географии «этой страны» приводили в пример отсталой расы китайцев, указывая на их обычай давать всем иностранцам общую кличку «заморских дьяволов». И никому не бросалось и не

бросается при этом в глаза, что у нас нет иного имени для итальянцев, как «макаропник», что еврей непременно — «жид», китаец — «ходя», или «китаеза», француз — «лягушатник», ирландец — «рыжий пэдди», японец — «макака», немец, в пору войны, — «проклятый колбасник», не говоря уже о «черпорылом» и о том, что все вместе они попросту «гнусные ишоземцы» (dirty foreigners).

Всякий обратит внимание, что в этом перечислении не нашлось места для англичанина. Если и услышишь иногда в Америке кличку «Джон Буль», то ведь это прозвище, которым не гнушаются и в самой Англии, и от него далеко до пренебрежительного «макаропник» или «макака».

В чем дело? Да дело в том, что многоплеменная, по единопозыкая «english speaking country» — Соединенные Штаты — стала второй из англо-саксонских мировых империй. Англо-саксонские воля, инициатива и деловитость или, другими словами, — пуританизм, ипошерство и «бизнес» крепко спаяли плавильный котел (melting pot) десятков национальностей крепкими англо-саксонскими обручами. Несмотря на все исключения, стопроцентный американец — это прежде всего англосакс. Тут-то и сказывается вся несостоятельность обобщающих ярлыков: я — римлянин, я — американец. Невольно возникает вопрос: ну, а римлянин — раб? Американец — негр? Ответ стопроцентных слишком ясен, чтобы приводить его.

Итак, англосакс-американец, создав новую мировую империю, сам тянется в люди. Пока не особенно успешно. Правда, долларом он перешиб мощь своего заморского кузена, но еще не добился его признания. Рознь Англии и Америки — старая песня, «спор старый англичан между собою». Ведь Соединенные Штаты — бывшая колония. Колония, восставшая и выпроводившая былых хозяев, колония, экономически поглощающая Канаду, вовлекающая в свою орбиту и Австралию и Новую Зеландию. Победив на экономическом поприще, «взбунтовавшиеся колонисты» за последнее время стремятся купить и внешний лоск культурной традиции, веками накопленной в старой метропо-

лии. Иные из американцев думают достигнуть этого весьма простыми средствами: они покупают все, что ни попадает им на глаза, другие, по преимуществу из нестопроцентных интеллигентов, пытаются быть любезными и залучать к себе английских культурных варягов. В этом отношении весьма любопытен недавно опубликованный обмен письмами между немцем по рождению, т.е.—по стопроцентной терминологии — «проклятым колбасником» Освальдом Гаррисоном Виллардом (Villard), главным редактором американского радикального еженедельника «Нация» (Nation) и всем известным Бернардом Шоу, о котором известно, между прочим, и то, что он никогда не был в Соединенных Штатах:

«Дорогой мистер Шоу,—пишет Виллард,—до нас дошли слухи, что многочисленные ваши заокеанские друзья настаивают на вашем приезде в «эту страну». Едва ли надо подтверждать вам, что «Нация» рада будет видеть вас своим гостем.

Искренне ваш

Освальд Гаррисон Виллард».

На что Бернард Шоу не замедлил ответить письмом, в котором, вопреки своему обыкновению говорит непременно в разрез ходячим английским мнениям, он выразил типично английское презрение британца не только к американским головоотяпам, но и к «взбунтовавшимся колонистам», вообще презрение, еле прикрытое обычной для Шоу усмешкой.

«Дорогой мистер Виллард, — пишет Шоу.—Этот разговор для меня не новость по напрасно пытаются раскладывать силки на виду у птицы. У меня нет ни малейшего желания отправиться в тюрьму вслед за Дебсом ¹⁾, или везти свою жену в Техас, где Ку-Клукс-Клан похищает белых женщин с веранд отелей, чтобы купать их в смоле и обваливать в перьях ²⁾. Если бы я искал для утверждения своей репутации мученического венца, что по счастью вовсе не входит в мои намерения,—я отправился

бы в Ирландию. Правда, это не так опасно, но зато переезд туда дешевле и скорее.

Вы правы, что некоторые лица наставляли на моем скорейшем приезде в «эту страну». Но почему, чорт побери, называете вы их моими друзьями?

То, что в данном случае Шоу повторял, или, по крайней мере, нарядировал общераспространенные английские воззрения на американцев, подтверждает следующая характеристика, данная одним из авторитетнейших знатоков Америки профессором Кембриджского университета Диккинсоном (G. Lowes Dickinson).

«Перенесенные на новый материк все человеческие разновидности, развившиеся в Европе, возвращаются к исходному типу и проявляют себя с беспримерной яркостью и силой. Изучите среднего представителя европейских стран и вы получите американца: однородного на западе и на востоке, на севере и на юге «той страны». Он всегда одинаков: повелительный, агрессивный, эгоистичный, неразборчивый в средствах; рубаха парень, но и грубиян, добродушный, пока вы его не задели, и безжалостный в противном случае; алчный, честолюбивый, самонадеянный; активный ради самой активности; смывленный, но неинтеллигентный; наделенный умом живым, но туповатым; презирающий идеи, но высоко ценящий уловки и хитрости и выше всего — успех; признающий только реальность; человек конкретный, безразличный к психической жизни; господин метода, но раб вещей и, как следствие, завоеватель мира; человек непереубедимый и не знающий сомнений; ребенок с мускулами взрослого мужчины; европеец, лишенный своего векового лоска и проявляющийся без всяких прикрас; хищник — наивный, импульсивный и законченный до последней мелочи».

Немудрено, что заокеанские кузены, несмотря на всю их толстокожесть, несколько обижаются на такую «законченную» характеристику импульсивного и цельного чурбана, преподносимого под этикеткой цельного европейского их прародителя.

¹⁾ Евгений Дебс — известный лидер американских социалистов.

²⁾ Обычное внушение женщине, замеченной в невиннейшем флирте.

Книжное обозрение

К. С. ЕРЕМЕЕВ. „Пламя“. А. Дивильковского. — 2. Д. КРУТИКОВ. „Люди конные“. П. Алгасова. — 3. МАРИЯ КОМИССАРОВА. „Первопукот“. И. Поступальского. — 4. „РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ в 1917 году“. В. Невского. — 5. Н. М. ФЕДОРОВСКИЙ (СТЕПАН). „Борьба за Свеаборг в 1906 году“. М. Клевенского.

К. С. Еремеев. — «Пламя». Эпизоды Октябрьских дней. Изд. «Федерация». М. 1928. Стр. 231. Тир. 5.000 экз. Ц. 2 р.

Автор, называя свою книгу «Пламенем», желал подчеркнуть значение Октября, как яркого взрыва событий, подготовленного «искрою» всех предыдущих, мало заметных обычному глазу, усилий.

Яркости событий вполне соответствует и яркость их изображения в книге.

Поэтому не только для широкого читателя, который вполне будет удовлетворен повествованием автора, но и для историка Октября книга будет иметь немалую цену. Достаточно указать, что автор, как член (кооптированный) Военно-Революционного Комитета, по поручению последнего был одним из двух командующих отрядами, бравшими Зимний дворец, — именно отрядом л.-гв. Павловского полка, — вместе с красно-гвардейцами.

Осведомленность автора об октябрьских боях совершенно исключительная. Это особенно ярко выражено в рассказе о заседании В.-Р. Комитета, планировавшем все дело захвата Зимнего дворца и Временного правительства.

Вообще запас непосредственных крупнейших переживаний и красочная их передача — сильнейшая сторона книги. Что же касается, собственно, исто-

рических ее достоинств, то, конечно, «центральная позиция» автора в те дни — в высшей степени благоприятное обстоятельство. Но надо признать, что использовано им это неотъемлемое преимущество далеко не полностью. И в этом смысле сама полубеллетристическая манера его письма оказывается в такой же мере ослабляющим моментом, в какой она обеспечивает интерес широкого читателя: в книге нет достаточной документальной опоры излагаемых фактов. Правда, кое-где мелькают ссылки автора на «записную книжку», но подлинных документов, например, тех же «диспозиций», нигде не приводится. Нет протоколов В.-Рев. Комитета и проч. Читатель вынужден брать на веру все то, что сообщает автор. Историк же должен будет пользоваться этими материалами только после тщательной сверки их с различными другими свидетельствами.

Поскольку рассказы автора возможно сопоставить с имеющейся громадной уже литературой Октября, — впечатление остается в пользу мемуарной добросовестности автора. Другое, однако, дело — неизбежность отдельных, хотя и невольных, субъективных частностей. Наличие их даже при беглом просмотре отрицать нельзя. Так, например, известное недоумение вызывает в «Осаде Зимнего

дворца» рассказ об окончании операции. Как мог командир штурмующего отряда в решающий момент отлучиться в казармы павловцев «за топором и ломом» для взлома ворот? Почему не послан был шоффер, красногвардеец и т. д.?

Но не надо забывать того, что некоторые факты, сообщаемые автором, останутся ценнейшим историческим источником Октябрьской революции. Нужно лишь пожелать, чтобы автор, по возможности, дополнил свою книгу теми документальными справками, какие еще можно сейчас отыскать.

Отметим непомерно дорогую цену книги.

А. Дивильковский.

Д. Крутиков.—«Люди конные». Рассказы. С предисловием **С. М. Буденного**. Издательство «Недра». Москва 1928 г. Стр. 194. Ц. 1 р. 30 коп.

Рассказы, составившие книгу, тесно связаны временем и местом действия, — штурмовыми годами гражданских битв на украинских полях.

Автор не стремится дать фактического и сколько-нибудь общего художественного отражения событий, как сделал это, например, Фурманов в «Чапаеве», — он, скорее, конструирует свои вещи по типу бабелевской «Конармии». Его, прежде всего и больше всего, занимает то удивительное, необыкновенное, восхищающее, — тот наивный и одновременно кряжистый социальный романтизм, которым были заражены «люди конные» — кавалерия революции.

Часы — подарок комэса, шпоры бандита Просолупа, добытые двумя конниками с опасностью для жизни, глаза повстречавшейся в пути тереховской бабы Поли Лебедихиной, «шикозные» коробочки с «раковыми шейками» и три подовны, чуть не сгубившие состав эскадрона, — вот те вещи и случаи, от которых отталкивается воспоминание автора. Но за ними, за этими незначительными вещами и случаями, по характеристике тов. Буденного, «встают беспримерной храбрости борцы за свободу, с боевой лихостью готовые принести свою жизнь на алтарь революции».

Борцы эти — преимущественно крестьяне-бедняки (реже рабочие), те, что оставили свои избы, промыслы и занятия и сели на эскадронных коней.

Героическое Д. Крутиков увидел в повседневном чередовании трудных дней, в шелухе походного быта и понял это не как проявление высокой и редкой индивидуальной одаренности, а как естественный, почти физический акт пробужденного социального чувства. Вчерашний бандит-взломщик Гурий Завадилов сегодня делается бесстрашным конноармейцем, любимцем эскадрона. Ливенский мужик Алексей Бутырин, служивший у Дешикина и плененный конниками, отбивает мундштук белых, которого не могла отбить сотня. И в том и в другом боевое мужество рождено силой, сделавшей героическими те классы, к которым они принадлежат.

«Рачьи шейки», «Баба», «Щипоры», «Трое», равно как и персонажи этих рассказов: — «балтийский ныряй» Турба, комэс, Лексей Иванович, Капшика-одессит, пахотный мужик Потатуев Егор, Гурий Завадилов, останутся в памяти читателя со знаком плеча. Названные работы и фигуры удачны при всех их недостатках.

Недостатки общи всей книге, в особенности последним ее рассказам («Человеческий штурм», «Федька Шулак»).

В большинстве рассказов мало внутреннего трения, противоречивого столкновения элементов; автор часто не только рассказывает, но и воснезает: он не драматизирует действие, а обволакивает и вяжет его тугими лирическими пеленками или мертвит неуклюже пригнанными формами модернизованного богатирского эпоса.

На ряду с грузной заржавевшей древностью, — «ручищи размахивали сажень верную»... и т. д., — нередко встречаются и парочито неотесанные слова и выражения, как «рыды», «рыдки» (рыдания.—И. А.), «штормяга грохотал», «судна досадливо ржали», «нашарахав носелки, кидался в горы» (про того же «штормягу».—И. А.).

Нечего говорить, что все это автор «нашарахал» не в свою пользу.

П. Алгасов.

Мария Комиссарова. — «Первопуток». Стихотворения. «Изд-во писателей в Ленинграде». 1928. Стр. 56. Ц. 70 коп.
 «Первопуток» М. Комиссаровой — книга стихов прежде всего об «уездной доле», о нашей провинции, об ее коренном быте, еще противящемся всем проявлениям нового. Хорошо сказано об этом в стихотворении «Ветер за-слонками хлопает»:

Словно с пригорка, я вижу
 Этот, совсем без прикрас,
 Быт, на корню неподвижный,
 Да леса широкий каркас.
 Да солнце, что красной медузой
 Уходит на самое дно,
 В кусты, за бревенчатый кузов,
 Встречающий окнами ночь.
 И, словно в курятне, в уезде
 Слепая стоит тишина,
 И слышит, как в зарево с'езла
 Всей ширью вступила страна...

Эта цикличность книги, естественно, делает стихи «Первопутка» несколько однообразными. Но сама по себе мысль поэтически показать современную провинцию безусловно заслуживает поощрения. В иных стихотворениях поэтесса умело подала и провинциальный пейзаж, и русскую песню, по-прежнему оглашающую отечественные захолустья, и «базара шумный стан», и «нашего флага тряпицу».

И все же исчерпывающей книгой «Первопуток» назвать нельзя. Поэтический возраст М. Комиссаровой помешал ей дать стихи вполне самобытные.

Тут есть и по-пастернаковски изысканные созвучья («листья — выстелил»), и старание обогатить ритмику («Наступление зимы»), и стремление научиться заново видеть все окружающее. Последнее обстоятельство особенно сказывается, когда М. Комиссарова пишет о том, как «с поклоном отчалит крыльцо», как «боты модные в снегу... играют кукольным румянцем» и т. д.

Легко укладываются в схему хлэбниковско-тихоновского стиха такие строки:

Но день опять, на ходу.
 Без упряжи, в поводу,
 Несет вороной бока
 Любителям напоказ.
 И длинным обводит ржаньем
 Он людный шатер базарный...

Желание М. Комиссаровой побороть трафарет, конечно, нужно приветство-

вать, но все же следует сказать, что в «Первопутке» поэтесса нередко бывает намеренно сложной и пишет иногда надуманно и внешне.

Но выразим надежду, что с работой это пройдет, и М. Комиссарова будет «дышать плантациями слова» непринужденно.

И. Поступальский.

«Рабочее движение в 1917 году». Подготовили к печати В. Л. Меллер и А. М. Панкратова. С предисл. Я. А. Яковлева. Архив Октябрьской революции. Центрархив. 1917 год в документах и материалах, Под ред. М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева. Гиз. М.—Л. 1926. Стр. 371. Тир. 3.000 экз. Ц. 4 р.

Как всякий понимает, сборники материалов по Октябрьской революции имеют огромную ценность, и приходится только приветствовать настоящее издание, равно как и благодарить и т. т. составителей и т. редактора, давшего вступительную статью.

Тов. Яковлев правильно отмечает важнейшие этапы рабочего движения и важнейшие организации рабочего класса (напр., заводские комитеты) и, что важнее всего, подчеркивает основную черту движения — завоевание крестьянства рабочей массой и партией пролетариата, важнейший фактор в победе в октябрьские дни.

Т. т. составители тщательно собрали материал, использовали самые разнообразные источники (в этом большое достоинство и вместе большой недостаток сборника): архивы, прессу и даже мемуары, довольно хорошо разделили материал по периодам, снабдили сборник важными и хорошо составленными указателями, дали нечто в роде примечаний к каждой группе документов, — словом, выпустили в свет довольно ценное собрание источников. К сожалению, то, что мы назвали чем-то в роде примечаний, не может удовлетворить читателя или вообще пользоваться книгой: часто они очень кратки и решительно ничего не поясняют, часто вкраплены среди документов так, что малоопытный читатель прямо не разберется, что это такое — документ или замечание авторов или редакторов; почти как общес-

правило не дается названия статей в газетах, откуда берутся выдержки (а это очень необходимо), часто не дается указания на автора статьи (а во многих случаях это сделать можно), никогда почти не дается страница газеты (а это очень необходимо, так как весьма трудно искать заметку или резолюцию, в особенности если они напечатаны где-нибудь в хронике да еще мелким шрифтом, да при том в тексте какой-либо статьи). Вот этого рода недостатки прямо указывают, что такой способ публикации документов неудобен, нецелесообразен, попросту ненаучен. Нужно было бы дать и характеристику тех источников, откуда извлечены документы: краткого предисловия составителей совершенно недостаточно.

В общем же, несмотря на указанные недостатки, сборник представляет собрание ценных и необходимых материалов.

В. Невский.

Н. М. Федоровский (Степан).—«**Борьба за Свеаборг в 1906 г.**». (Из воспоминаний). Гиз. М.—Л. 1928. Стр. 56. Тир. 5.000 экз. Ц. 25 к.

Н. М. Федоровский, в качестве вступления к рассказу о революционной попытке в Свеаборге, сообщает вообще

о действиях военной организации с.-д. партии в 1906 г., о выработавшемся порядке ее работы, отчасти о персональном составе военных работников в Финляндии (автор сам принадлежал к их числу). Как события, показывавшие нарастание настроения в войсках, расквартированных в Финляндии, он отмечает празднование 1 мая 1906 г. в Гельсингфорсе и демонстрацию против сейма. Попутно освещается в достаточной степени комическая фигура начальника финляндской Красной гвардии Ивана Кока. Истинная подоплека восстания в Свеаборге, — говорит автор, — лежала в быте и положении русского солдата; этому положению посвящены 2 небольших главы. В последних трех главах описываются события, развернувшиеся с 18 июля в крепости и в матросских казармах в Гельсингфорсе, и не замедлившая последовать расправа, при которой было расстреляно 7 человек, в том числе 2 офицера. Автор основывается не только на своих личных воспоминаниях, а довольно часто приводит выдержки из печатных источников, главным образом, из нелегального «Вестника казармы». Язык книжки прост. Напрасно только автор употребляет такое неуклюжее выражение, как «идея фикс».

М. Клевенский.